ЗАРУБЕЖНЫЕ **Za-Za** ЗАДВОРКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 14/ МАЙ 2015

Владимир Алейников и о нем. К 50-летию..... 3
Эльдар Ахадов. Тайна гибели Пушкина 27
Анатолий Ливри. Ритуал. Стихи 57
Ирина Чайковская. Убить Мармеладова. Повесть 61
Дмитрий Близнюк. «Бабочки Брэдбери». Стихи 127
Андрей Оболенский. Два рассказа о войне.....130
Анатолий Николин. Двое между льдинами. Эссе 145
Клавдия Смирягина. Перевал. Стихи 161
Инна Иохвидович. Пять маленьких рассказов.....166
Евгений Яночкин. Подмосковный сочельник. Стихи 177
Александр Бархавин. Выбор Роберта Ли 180
Маргарита Москвичёва. Не о том сидим… Стихи.....187
Роман Михеенков. Личная песенка. Романс. 191
Игорь Агафонов. Проза. Поэзия 203
Георгий Тарасов. «Не понял…». Рассказ 214
Юрий Влодов (1932-2009) Стихи о войне из книги «Летопись» 218
Анна Агнич. Два рассказа 233
Андрей Звонков. Один взгляд назад. Фантастический рассказ.....240

za·za PUBLISHING
Дюссельдорф
2015

Дорогие наши читатели!

Перед вами новый номер журнала "Зарубежные задворки".

Как и предыдущие, он сделан с большой любовью к вам!

И все авторы номера, достойные, хорошие писатели, поэты, эссеисты! Одно их присутствие на страницах Za-Za — это уже гарантия хорошей, качественной литературы.

Однако нам бы хотелось отныне в каждом из номеров отмечать что-то особенное, интересное самой широкой читательской аудитории. В нынешнем номере таковым, на наш взгляд, является эссе Эльдара Ахадова, переворачивающее во многом наши устоявшиеся многолетние представления о том, что нам кажется хорошо известным, о том, о чем мы много знаем, и даже точно и обстоятельно.

Это эссе об Александре Сергеевиче Пушкине, о Поэте с которого начался "Золотой век русской литературы", что был "Солнцем русской поэзии", что был её первой любовью.

"Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет".

Ф.И.Тютчев.

Нам бы очень хотелось, чтобы это эссе ни для кого не прошло незамеченным, хотелось бы знать какие чувства, какие мысли породило оно в каждом из Вас.

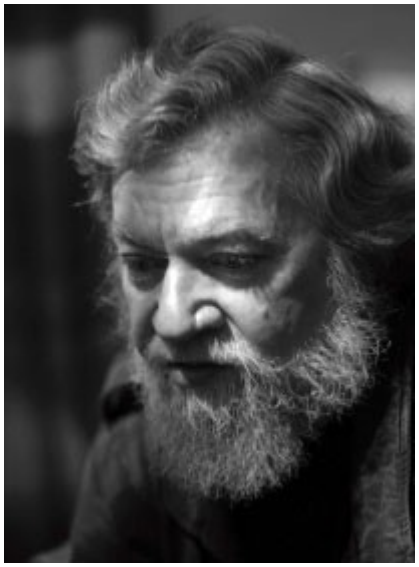
Мы приглашаем всех к дружескому, плодотворному, интересному обсуждению...

Мнение каждого из читателей для нас дорого и важно!

Делая этот журнал для читателя с хорошим литературным вкусом, незашоренного и не авторитарного, мы хотели бы иметь и обратную связь. Держать, так сказать, руку на читательском пульсе. Для этого мы планируем провести несколько опросов по уже изданным номерам журнала. Найти эти номера можно как на на нашем сайте — http://za-za-verlag.net/bumajnii_jurnal/, так и на сайте "Мегалит" (Евро-Азиатском литературном портале). Вопросы, которые редакция хотела бы задать читателям, будут опубликованы позднее.

Инна Иохвидович

Владимир Алейников и о нем. К 50-летию основания СМОГа



Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда семья переехала в апреле 1946 года. Отец — художник-акварелист, его предки — запорожские казаки. Мать — преподаватель русского языка и литературы. Стихи и прозу начал писать в школьные годы.

Занимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 гг. входил в группу молодых криворожских поэтов. В 1963 г., в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался обличению в украинской прессе. В 1964 г. поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы с основными представителями отечественного андеграунда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером.

С 1965 — публикации стихов на Западе. Весной 1965 г. Алейников был исключён из университета. В 1966 г. восстановлен в МГУ, завершил образование в 1973 году. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80–х был известен как переводчик поэзии народов СССР.

Публикации на родине начались в период перестройки. Ныне Алейников — автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН–клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле. /Википедия/

Немного от знаменитых о знаменитом. Или от тех, кто знает, как горька бывает слава, сколь разрушительна её сила, как тяжело и беспощадно бремя талантливого человека и как, по сути, он далёк от мира вокруг него. Как, порой, абсолютно неизвестен своему окружению, подчас близкому и семейному, человек, созидающий в пространстве безвременья. А именно — взгляды на Владимира Алейникова и его творчество, его жизнь.

Ирина Жураковская

«Владимир Алейников — великий русский поэт. Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую раздаём сами, — в мирской. Несвоевременность (не путать с несовременностью!) — признак большого поэта. Поэтому его — либо убить, либо замолчать. Это вполне биологическая функция общества. То есть происходит автоматически, без зазрения совести. Причина этого проста: мы не хотим отражаться в реальности и не хотим помнить.

Пришла пора издать В. Алейникова так, чтобы всякий взявший книгу в руки заподозрил, кто это. Я вижу том, в жанре «Библиотеки поэта», с предисловием, раскрывающим масштаб и уникальность его творчества, с академическим комментарием, изданный не как сумма текстов, а как единая большая книга, представляющая собою художественную ценность сама по себе. Эта книга должна попасть по адресу — в руки подлинного читателя.

Алейников — это не человек, не тело, не член общества — это облако. Облако поэзии. Надо поймать его в переплёт».

(Андрей БИТОВ)

«Владимир Алейников — классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим поэтом. Он поэт редкой группы крови. Он — патриот пространства».

(Евгений РЕЙН)

«Владимир Алейников, вне всякого сомнения, самый одарённый поэт своей плеяды, а может быть, изначально, один из самых одарённых поэтов своего времени. Когда рассеялся дым сиюминутных впечатлений, выяснилось, что уже в наше время Владимир Алейников пресуществил в своём творчестве весь тот, казалось бы вполне свободный от его влияния, культурный феномен, который связан в нашем представлении с тем, что собственно называлось СМОГом.

Я считаю Владимира Алейникова очень большим поэтом. Возникнув в момент перехода от одного безвременья к другому, поэзия Алейникова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что, в существе своём, заключает тайну единовременности всего сущего.

Энергия дарования Алейникова остаётся энергией самосозидающей, тем не менее, личностно принадлежащей ему самому. Лишь причастность к этой энергии дала Алейникову возможность противостоять трагедии, навязанной ему безвременьем. Алейников сохранил и свои стихи, и себя самого, состоявшись потому как поэтическое явление.

Среди бескрайнего безвременья гул алейниковского потока был для его современников живительно влажным. Так в пустыне обезумевшему от жажды грезится шум воды, «застенчивой воды», ею же не напьёшься. Или же этот гул воспринимался как отзвук благовеста, который ещё не прозвучал, ибо в поэзии Алейникова всегда грезится отсвет некоей благодати. Трудно сказать, откуда возникает такое ощущение. Возможно, это то свечение, которое даёт распад недореализованного, но дарованного свыше вдохновенья. То есть, строго говоря, хотя благодать и не пресуществилась в стихах Алейникова, но, возможно, на фоне нынешних времён, на фоне воинствующей безблагодатности или тщеславной имитации «боговдохновенности» нынешних поэтических изысков, гармония Алейникова, «до скончания ума» искренне стремящаяся к познанию таинства поэзии, воспринимается как реализующееся предчувствие благодати, и главное, как безотчётное стремление к ней. Такого рода константа духовных устремлений определяет целостность того явления, которое мы называем поэзией Алейникова.

… его творческая судьба была бы несовместима с житейским и бытийственным благополучием, с благополучием самосознания».

(Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ)

«Было бы очень важно издать Владимира Алейникова — самого значительного из нас всех. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы опубликовать всё, что сделал Владимир Алейников. Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как он работает не взирая на обстоятельства и окружение. Наверное, при жизни всё издать не удастся. Боюсь, что нужно умереть. Хотя бы на какое-то время. Или получить Гонкуровскую премию. О Нобелевской — не будем: она для политических игроков. Этим мы ведь никогда, слава Богу, не грешили.

Выглядят и читаются книги Владимира Алейникова чудесно. Действительно, манеру свою он изменил, стал писать прозрачнее, точней, но сколько во всём этом силы, ярости. Какое отменное зелье! В сих строках — ясно его различаю и радуюсь вдохновенности его.

Я всегда считал Владимира Алейникова лучшим русским поэтом».

(Саша СОКОЛОВ)

«Поэзия Владимира Алейникова отмечена редчайшим — по нынешним представлениям — свойством. Я назвала бы его «метафизическим оптимизмом». Может

быть, так действует киммерийский воздух на обугленный рассудок невольного маргинала и бродяги… Или аттическая трагедия чертит роковые знаки на московском асфальте… Или вырывается из-под земли — сверкающим на солнце фонтаном — горьковато-солёный минеральный источник… Бытие, насквозь проникнутое дионисийским терзанием и вакхическим восторгом, как живописное полотно, расправлено в гармонической строгости аполлоновой меры. Словно художник — по давней, несбыточной моей мечте — «каплей дрожит в каждой точке мире и держит все точки мира перед собой, как на ладони». Ведь по-другому невозможно

Оставить всё, с чем издавна срослись —
И всё вернуть отважно и упрямо, —
И на пути от логова до храма,
Шагая в глубь, уйти куда-то ввысь.

Это какой-то новый символизм. Выросший в опыте искривлявшегося, изолгавшегося, захлебнувшегося в собственной крови и мерзости, сладострастно фашиствовавшего двадцатого века. Чудом уцелевший в катастрофе, так этот опыт мог бы, наверное, трансцендировать ангел, который не судит, но любит; не карает, но прощает; не отчаивается, но смотрит за горизонт — в прошлое и в будущее, единые в переживаемом мгновении. Поэтому искусство Алейникова не может быть оценено в категориях современности — оно принципиально НЕ-современно, ибо собеседует с бессмертными тенями и ещё не родившимися потомками, нам же остаётся лишь смиренно прислушиваться к этой неспешной речи. К её розам и хризантемам, волнам и ливням, камням и пескам, эллиническим грёзам и звонкому всечеловеческому многоголосию…

Бродский — кухня, Алейников — Вселенная».

(Марина САВВИНЫХ)

«Владимир Алейников возвращает нам утраченное космическое чувство единения с миром. Его поэзия начинается там, где встречаются невозмутимо спокойные небеса с мудрой непреложностью земли. Она исполнена того высокого равновесия, где природа составляет с историей единое целое и красота не противопоставлена добру.

Поэтика Владимира Алейникова — не в малых частностях и дремлющем эвклидовом пространстве, одномерном доэнштейновском времени. Лицевые события века для поэта наполнены его собственным присутствием — это смятенный и встревоженный мир, где поколениями обжитая почва коробится и вздыхает от неслыханных потрясений, где воображаемое и действительное, обгоняя друг друга, смешиваются так, что одно невозможно отделить от другого. Это пронзительный документ времени, где терпкие шестидесятые годы, ночные разговоры на кухне за чаем и вином восстановили «слово», стёршееся профанной речью тоталитарного газетного монолога. «Слово» Алейникова, полное смыслов, перекрёсток, где встречаются Пушкин, Аполлинер, Мандельштам и Хлебников, чувствительная мембрана, которое не только фиксирует, но и рождает, зыбкое и трепетное, выходящее за свои собственные пределы, вобравшее в себя запахи полыни крымских степей, шелест переделкинского леса, щемящие мелодии украинских песен и прозрачные серенады Моцарта в стенах московской консерватории — где красота вечного и мимолётного сливаются и каждая частица пережитого не отходит в прошлое, но становится живой точкой бесконечной вселенной».

(Виталий ПАЦЮКОВ)

«Поэт, художник Владимир Алейников, географически обитающий часть календарного года в Москве, а часть — в Коктебеле, в культурном смысле внятно и несокрушимо уже несколько десятилетий представительствует в отечественной литературе за СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев), а в духовном — давно является одним из ориентиров и неотменимых авторитетов для новых и новых поколений русских стихотворцев. С удовлетворением следует подчеркнуть укоренённость В. Алейникова в консервативной версификационной традиции, с чётко организованными «столбцами» — строго образмеренным ритмом, полнозвучной рифмовкой, оформленной строфикой, с мощными гулом и гудом, катящимся по его сочинениям.

В эпоху размытости критериев и очертаний творчества, тотального релятивизма искусств и распада душ Владимир Алейников представляется нам глыбой принципа и духа.

Как и подобает мастеру, он пишет словно один грандиозный текст, занося его на небесные скрижали, — и практически не имеет значения, стихотворную или прозаическую форму он избирает для воплощения очередного замысла.

Весомость и значительность присутствия Алейникова в современной литературе позволяют с полным основанием утверждать, что русская поэзия не пресеклась, а сохраняет в мировом ландшафте свои мощные корни, стебли и плоды».

(Станислав МИНАКОВ)

«Владимир Алейников — Художник с большой буквы. Талант его многогранен и ошеломляющ. И только дивишься, как богато наградила его Мать-природа (ну или Господь Бог, если быть точнее). А ещё он великий труженик. Всё, что выходит из-под его пера или кисти — прекрасно: от глубоких, философских стихов и прозы, от которой невозможно оторваться, до оригинальных картин, которые ни с кем не спутаешь. И всё же что бы ни создавал Алейников, он остаётся Поэтом, на всём лежит печать его поэтического мира — блуждаем ли мы вместе с ним по закоулкам отечественного андеграунда (воспоминания «Неизбежность и благодать»), или зачитываемся стихами. А может, это несуетная коктебельская жизнь помогает ему, как и его знаменитому предшественнику Максимилиану Волошину, творить столь мощно и свободно»?

(Екатерина ТУРЧАНИНОВА)

«Поэт, художник, прозаик, эссеист Владимир Дмитриевич Алейников начинал в 1960-е как один из основателей легендарного СМОГа одной из самых ярких и значимых поэтических групп неподцензурного, несоветского искусства, прошёл путь от юношеского авангардизма до зрелого твёрдого стиля и продолжает свою поэтическую работу уже в качестве живого классика русской литературы второй половины XX и начала века XXI-го. Его поэзия возникла на пересечении самых актуальных устремлений нового русского поэтического слова, сразу задала высший уровень художественного напряжения (а в поэзии нужен только такой уровень) и поддерживает его по сей день, воплощая нашу эпоху в поэтической музыке, которая звучит постоянно в его стихах и источник которой остаётся чистым и незамутнённым уже более полувека. Этот источник — конечно, уникальный талант поэта, удивительный настрой его души, резонирующий со всем миром и заставляющий его звучать в наших душах, заставляющий звучать наши души. Вот истинное предназначение поэзии, и Владимир Алейников не позволял и не позволяет нам забыть об этом и в самые глухие к поэзии времена».

(Владислав КУЛАКОВ)

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗВЕЗДА ОСТРОВИТЯН

Любви земной бессмертная сестра,
Звезда моя открылась в небе ясном,
И ласкова настолько, и добра,
Насколько мы сближаемся с прекрасным.

Не надо мне чрезмерной красоты,
Жемчужному подобной ожерелью, —
Хочу, чтоб впечатленье высоты
Откликнулось не словом, так свирелью.

Тревожусь, не случилось бы чего —
Но вот оно отхлынуло невольно.
Поистине достаточно всего,
Что в памяти возникло произвольно.

И мне теперь не только прозревать
Под ливнем исцеляющим рожденья,
Но заново, пожалуй, узнавать
Насыщенность и сущность пробужденья.

Чьё сердце ощутимее взошло
Над грёзами забытого кочевья,
Тот в будущем дышал бы тяжело,
Да выручат защитники-деревья.

Когда бы не священные цветы,
Клокочущие в горле полудиком,
Ему стихий стигийские мосты
Казались бы не помыслом, а криком.

Над градом, приголубленным весной,
Видал ли ты в зеницах суеверий
Серебряные иглы под луной,
Слывущей соплеменницей мистерий?

Мысль есть звезда — на то и звездопад —
И в звёздной азбуке попробуй разберись-ка —
При чём здесь настроений перепад
И дом, где обитаешь не без риска?

Мысль есть звезда, горящая в ночи, —
Ужель, подвластная прищуренному оку,
Разыщет запредельные ключи,
Ещё немотствуя, но речь вскрывая к сроку?

Дни точно пагоды, — песчинки на устах
Неужто сахарны? — окно крестообразно –
И эхо, спрятанное в башенных часах,
Как порох съёжилось, давно огнеопасно.

Пора утеряна — и мыслимо ль собрать
Пчелиный рой в сыром калейдоскопе?
Рука опущена — там нелюдь или тать? —
И это не по нраву Каллиопе.

А ты, Орфей, свой факел смоляной
Не отдавай ни призраку, ни року,
Тотем фатальности затрагивай струной,
Кифару милую влеки к родному току.

Свети во тьме, звезда островитян!
Оправдывай скитания и пени,
Коль нет числа прощающим путям,
Дарящим песнопенья, как ступени.

Ведь зелий нет, способных укротить
Живучесть дружбы, — ей, как птице, мало
И неба этого, где до смерти бродить,
Да и того, где в жизни побывала.

Но ты, земля, так ангельски светла,
Так зову нежности подвержена без меры,
Что осязаемы хранящие крыла
В слезах росы и в розах старой эры.

Любовь не колокол, но искренность сердец,
Душе и Господу послушные начала,
Где тайна единения колец
Стволы дерев неистовых венчала.

ВОСКРЕСАЯ В ОГНЕ

I

Многих дней облака проводив,
Поначалу не дрогнет рука —
Но почудится новый мотив
И затронет, коснувшись слегка,
Чтобы в музыке зримой опять
Находить предугаданный ключ, —
А лета не умеем считать —
Весь их путь, точно солнечный луч.

II

Многих обликов помня черты,
Не рассеяньем живы сердца
Посреди мировой темноты,
Где в колодце не сыщешь лица, –
Но проклюнется слово-птенец,
Уподоблено юной звезде, —
И как эхо венчальных колец
Отзовутся венки на воде.

III

Многих взоров храня волшебство,
Мы смиреннее были не раз,
Чем теперь, осознав торжество
Осязаемых розами глаз, –
И в слезах, закипевших рекой,
Столько будет ещё доброты,
Что приди и меня успокой
Посреди роковой красоты.

IV

Многих песен постигнув залог,
До скончания века щедры,
Мы судьбе не стирали порог,
Но зажгли в неизбежном костры,

Чтобы, вещим простором дыша
У реки, что и впрямь глубока,
Пить как равные, лишь из Ковша,
Провожая на юг облака.

V

Многим звёздам подвержены въявь,
Очевидцами славными быв,
За венками не ринемся вплавь —
Кто из нас не сгорал, горделив! –
Но всегда, воскресая в огне
И в любви обретая приют,
Жил, как Ангел, в родной стороне,
Пел, как птицы пред утром поют.

ОТТЕПЕЛЬ

От крыш, и по льду, и везде —
И плач, и плеск, и клёкот ломкий,
И только льющейся воде
Призыв почудится негромкий,
И ощущенье пустоты
Меж суеверием и верой,
Стирая зримые черты,
Живёт отринутою эрой.

Но что упало вдалеке
С высот полунощных и диких,
Чтоб, дрогнув чашею в руке,
Тоске запутаться в уликах?
Как будто колокол разбит
На Севере, где снег да ели,
И воскрешение обид —
Как вопрошение капели.

Ну что же! — спрашивай опять,
Купель качая колыбелью,
Покуда дней не сосчитать
За этой тающею трелью,
За цитаделью хрусталей,
Где ходят тени-богомольцы,
Где нам колышет Водолей
Струящиеся колокольцы.

* * *

Хрусталя фасеточный глаз,
Февраля прощальная песнь, —
Извели бы горем не раз,
Но живу и радуюсь: есмь!

Измельчи ветвей филигрань,
Неуёмный ливневый гул,
Не затронь запретную грань —
От неё не первый уснул.

Ничего не видно вдали,
Где в песках оставил следы, —
И, согласно праву, внемли
Пелене кромешной воды.

А бывало, тоже знавал,
Толкователь капель ночных,
Где звериный зрят карнавал
И находят чаек степных.

Этот хмель, вестимо, прошёл,
Истомил, как вишенный цвет, —
И от всех положенных зол
Исцеленья, видимо, нет.

Что же обруч тесен причин
И широк не чаемый круг? —
Без известных, значит, кручин
Ты и впрямь воспрянешь ли, друг.

До чего ж текстологам жаль
Разбираться в дивном бреду,
Где дружна с юдолью печаль,
А начало — где-то в саду!

Размышленья помни урок,
Расставанья слушай укор —
И забьётся в горле комок,
И постигнешь Ангельский хор.

АПРЕЛЬСКИМ ВЕЧЕРОМ

Апрельским вечером, как в обморок, шагни
Туда, где трав идёт произрастанье,
Не думая, что нынешние дни
Тебе готовят испытанье, —
Ведь, сколько ни удерживай себя,
В порыве ревности иль праздности стремлений
Внимаешь разуму — и, душу не губя,
Живёшь меж новых поколений.

Ах, вот и сам он, славный вечерок, —
Тихоня благостен — бежать ему не к спеху —
И поверху летает голубок,
Окрестным птахам не помеха, —
Не брошен ты — а люди разбрелись —
В округе ропот непрерывный —
И, может быть, уже разобрались,
Где гул колеблется надрывный.

Там трогают подземную струну
В пещере града великаны,
Плечами приподнявшие весну
В такие области и страны,
Где позже предстоит нам изучать
Таблицу опытов и чисел непослушных,
Чтоб даже в похищениях воздушных
Ключи к прощению в руках перебирать.

И птица-девочка так робко и легко
С переселенцами играет,
А те в наивности грубее понимают,
Что могут оказаться далеко, —
У рек в обычае, течение храня,
В дозоре отзываться берегами —
И приближаемся неслышными шагами,
Пожалуй, к постижению огня.

ПРЕДЗИМЬЕ

У нас зима на поводу —
Но то и дело, год от года,
Избыток чар сулит погода,
С которой жертвенность в ладу.

Не потому ли каждый час
Всегда похож на круг незримый,
Где в лицах есть невыразимый
Призыв, смущающий подчас?

Всё глуше — улиц голоса,
С концертов — наигрыш вечерний,
И только снег, намечен в черни,
Подспудным светом занялся.

Чего за сумерками ждать?
Ограды в иглах — осторожны,
Прохлада — вкрадчиво-тревожна,
И невозможно угадать.

Всё выше — месяц над Москвой,
Кольчужной долькою расправлен,
В мерцанье призрачное вплавлен,
Плывёт, качаясь, по кривой.

Захлёстнут кольцами дорог,
Уже мерещится, пожалуй,
Предзимья символ небывалый —
С Архангелом единорог.

И только волосы твои
Сродни созвездию над нами,
Чьё навеваемое пламя
Теснит фонарные рои.

И только связь не разорвать,
Чей узел стянут нами снова —
И мы безумствовать готовы,
Чтоб образумиться опять.

О, прозреванья торжество!
Всё это — в речи, в обиходе.
Пора особая — в природе,
Сердец нелёгкое родство.

ГРОЗА ИЗДАЛЕКА

Покуда полдень с фонарём
Бродил, подобно Диогену,
И туча с бычьим пузырём
Вздувала муторную вену,
Ещё надежда весь сыр-бор
Гулять на цыпочках водила, —
И угораздило забор
Торчать, как челюсть крокодила.

Осок хиосская резня
Мечей точила святотатство —
И августовская стерня
Клялась за жатву рассчитаться, —
И, в жажде слёз неумолим,
Уж кто-то стаскивал перчатку
От безобидности малин
До кукурузного початка.

И обновившийся Ислам
Нарушил грёз обожествленье, —
И разломилось пополам
Недужных зол осуществленье,
И гром постылый сбросил груз
И с плеч стряхнул труху печали,
Как будто краденый арбуз
В мешке холщёвом раскачали.

И чтобы к ужасу впритык
Хозяин сдуру нализался,
Змеиный молнии язык
С надменным шипом показался —
И по-младенчески легко
Кочуя в стае камышиной,
Кормилиц выпил молоко
Из запотевшего кувшина.

Покуда в мальве с бузиной
Низин азы недозубрили,
Покуда в музыке земной
Охочи очень до кадрили,

Как в школе, балуясь звонком,
Тщета внимания ослабла —
И, кувырок за кувырком,
Пошли шнырять за каплей капля.

И повеленья полутон
Над ходом времени обратным
Оставил нас с открытым ртом
И лопотанием невнятным, —
И в уверении крутом
Уже разверзлась ширь дневная —
А где-то в ливне золотом
Ещё купается Даная.

ОБЛАКА

День ли прожит и осень близка
Или гаснут небесные дали,
Но тревожат меня облака —
Вы таких облаков не видали.

Ветер с юга едва ощутим —
И, отпущены кем-то бродяжить,
Ждут и смотрят: не мы ль защитим,
Приютить их сумев и уважить.

Нет ни сил, чтобы их удержать,
Ни надежды, что снова увидишь, —
Потому и легко провожать —
Отрешенья ничем не обидишь.

Вот, испарины легче на лбу,
Проплывают они чередою —
Не лежать им, воздушным, в гробу,
Не склоняться, как нам, над водою.

Не вместить в похоронном челне
Всё роскошество их очертаний —
Надышаться бы ими вполне,
А потом не искать испытаний.

Но трагичней, чем призрачный вес
Облаков, не затмивших сознанья,
Эта мнимая бедность небес,
Поразивших красой мирозданья.

ПОЛНОЛУНИЕ

Бледнеют в доме зеркала
И открываются провалы,
Куда луна бы завела, —
Ты скажешь: чаша миновала!

Как фосфор в пепельном окне,
Струится свет привадой сладкой, —

Ты скажешь: в дальней стороне
Охапку писем жгут украдкой.

Заворожённые часы
Бегут над бездною рысцою —
И слух ложится на весы
Цветочной сахарной пыльцою.

Сквозь сон мерещится родник,
Стволов поящий изобилье, —
И мрачен мраморный ночник —
Сова, расправившая крылья.

И тополь не вполне здоров,
Хоть это кажется причудой,
И двор заставлен до краёв
Луны фарфоровой посудой.

Горшечник встал из-под земли —
И, притяжением разбужен,
Осознаёт, что там, вдали,
Он тоже вымышлен и нужен.

Вращайся всласть, гончарный круг,
Рождай тела созданий полых,
Пока добраться недосуг
Туда, где вербы дремлют в сёлах,

Туда, где слишком нелегко
Сдержать стенания сомнамбул
О мире, ждущем высоко, —
О том, где ты едва ли сам был.

ИМЯ ЛЮБВИ

Набухли глазницы у каменных баб —
Не плачут, но будут и слёзы, —
Открыты их лица, хоть голос и слаб,
А в сердце — сплошные занозы.

Ах, женская доля! — опять ни вестей,
Ни слухов о тех, что пропали, —
Никак не спастись от незваных страстей,
Поэтому камнем и стали.

О том говорю, что не выразишь вдруг
Ни тайны — ведь нет ей предела, —
Ни силы забвенья — ему недосуг
Тревожить усталое тело.

О том говорю, что в душе прорвалось,
Чему поклоняемся ныне,
Зане прозреваем, — и вам не спалось,
И вы пробудились, богини.

Уста разомкни и его назови —
Ведь ждёт и очей не смыкает, –
Нет имени тоньше, чем имя любви, —
Так часто его не хватает.

И вот он откуда, сей давний недуг,
Собравший всю боль воедино! —
Пойдём — я с тобою, — так пусто вокруг,
Так тесно крылам лебединым.

ДЕНЬ ХЛЕБНИКОВА

Где тополь встал, как странник, над холмом.
Ужель не слышишь птичьих причитаний? —
И даль, дразня нечитанным письмом,
Забывчивых не прячет очертаний.

Когда б хоть часть душевной теплоты
Сошла сюда с желтеющей страницы,
Согрелись бы озябшие цветы
И влагою наполнились глазницы.

Ты видишь, как уходят облака? –
И солнце с зачарованной листвою,
Степной напев начав издалека,
Несут его венком над головою.

И далее холодная вода
Уносит этот символ безутешный,
Чтоб Ангелы, сошедшие сюда,
Склонились к жизни — праведной иль грешной.

Уже поняв, её не повторишь —
Ещё стоишь растерянно и прямо
Лицом к лицу — и что-то говоришь —
Но что сказать пред образом из храма?

В который раз он вынесен сюда,
Где ясный день без колокола звонок? —
И день уйдёт — как люди — навсегда —
И плачет в отдалении ребёнок.

* * *

На севере — тихо, на юге — тепло,
Промышленный гул — на востоке,
На западе — пусто, — вот солнце взошло, —
Безвременья годы жестоки.

Да помнишь ли ты, как, смеясь у реки,
Мы влагу в ладонях держали —
И ночи бывали всегда коротки,
И дни никуда не бежали?

На лодке — весло, да над лодкой — крыло,
Взлетавшие к облаку птахи, —
Так вот оно, сердце, и вот ремесло,
Забывшее вовсе о страхе!

Крыло надломилось, и лодка худа,
И облако тучи сменили —
И маску с обличья срывает беда,
И вёсла гребцы уронили.

И Дантова тень, в зеркалах отразясь
Как эхо, давно многократна —
И с веком прямая осознана связь,
И поздно вернуться обратно.

И есть упоенье в незримом бою
С исчадьями тьмы и тумана! —
У бездны алмазной на самом краю
От зрячих таиться не стану.

И так набродился я в толпах слепых,
И с горем не раз повидался, —
В разорванных нитях и в иглах тупых
Погибели зря дожидался.

Сомнения — нет, и забвения — нет,
И смерть — поворот карусели,
Но свет изначальный, мучительный свет —
Вот он и бессмертен доселе.

* * *

Вот и вышло — ушла эпоха
Тополиного пуха ночью,
В час, когда на вершок от вздоха
Дышит лёгкое узорочье.

Над столицею сень сквозная
Виснет маревом шелестящим —
И, тревожась, я сам не знаю,
Где мы — в прошлом иль в настоящем?

Может, в будущем возвратятся
Эти шорохи и касанье
Ко всему, к чему обратятся,
Невесомое нависанье.

Сеть ажурная, кружевная,
Что ты выловишь в мире этом,
Если дружишь ты, неземная,
В давней темени с белым светом?

Вспышка редкая сигаретки,
Да прохожего шаг нетвёрдый,
Да усмешка окна сквозь ветки,
Да бездомицы выбор гордый.

Хмель повыветрит на рассвете
Век — железный ли, жестяной ли,
Где-то буквами на газете
Люди сгрудятся — не за мной ли?

Смотрит букою сад усталый,
Особняк промелькнёт ампирный, —
Пух сквозь время летит, пожалуй,
Повсеместный летит, всемирный.

Вот и кончились приключенья,
Ключик выпал, — теперь не к спеху
Вспоминать, — но влечёт мученье —
Тополиного пуха эхо.

* * *

Для смутного времени — темень и хмарь,
Да с Фороса — ветер безносый, —
Опять самозванство на троне, как встарь,
Держава — у края откоса.

Поистине ржавой спирали виток
Бесовские силы замкнули, —
Мне речь уберечь бы да воли глоток,
Чтоб выжить в развале и гуле.

У бреда лица и названия нет —
Глядит осьмиглавым драконом
Из мыслимых всех и немыслимых бед,
Как язвой, пугает законом.

Никто мне не вправе указывать путь —
Дыханью не хватит ли боли?
И слово найду я, чтоб выразить суть
Эпохи своей и юдоли.

Чумацкого Шляха сивашскую соль
Не сыплет судьба надо мною —
И с тем, что живу я, считаться изволь,
Пусть всех обхожу стороною.

У нас обойтись невозможно без бурь —
Ну, кто там? — данайцы, нубийцы? —
А горлица кличет сквозь южную хмурь:
— Убийцы! Убийцы! Убийцы!

Ну, где вы, свидетели прежних обид,
Скитальцы, дельцы, остроумцы? —
А горлица плачет — и эхо летит:
— Безумцы! Безумцы! Безумцы!

Полынь собирайте гурьбой на холмах,
Зажжённые свечи несите, —
А горлица стонет — и слышно впотьмах:
— Спасите! Спасите! Спасите!

* * *

Конечно же, это всерьёз —
Поскольку разлука не в силах
Решить неизбежный вопрос
О жизни, бушующей в жилах,
Поскольку страданью дано
Упрямиться слишком наивно,
Хоть прихоть известна давно
И горечь его неизбывна.

Конечно же, это для вас —
Дождя назревающий выдох
И вход в эту хмарь без прикрас,
И память о прежних обидах,
И холод из лет под хмельком,
Привычно скребущий по коже,
И всё, что застыло молчком,
Само на себе непохоже.

Конечно же, это разлад
Со смутой, готовящей, щерясь,
Для всех без разбора, подряд,
Подспудную морось и ересь,
Ещё бестолковей, верней —
Паскуднее той, предыдущей,
Гнетущей, как ржавь, без корней,
Уже никуда не ведущей.

Конечно же, это исход
Оттуда, из гиблого края,
Где пущены были в расход
Гуртом обитатели рая, —
Но тем, кто смогли уцелеть,
В невзгодах души не теряя,
Придётся намаяться впредь,
В ненастных огнях не сгорая.

* * *

Откуда бы музыке взяться опять?
Оттуда, откуда всегда
Внезапно умеет она возникать —
Не часто, а так, иногда.

Откуда бы ей нисходить, объясни?
Не надо, я знаю и так
На рейде разбухшие эти огни
И якоря двойственный знак.

И кто мне подскажет, откуда плывёт,
Неся паруса на весу,
В сиянье и мраке оркестр или флот,
Прощальную славя красу?

Не надо подсказок, — я слишком знаком
С таким, что другим не дано, —
И снова с её колдовским языком
И речь, и судьба заодно.

Мы спаяны с нею — и вот на плаву,
Меж почвой и сферой небес,
Я воздух вдыхаю, которым живу,
В котором пока не исчез.

Я ветер глотаю, пропахший тоской,
И взор устремляю к луне, —
И все корабли из пучины морской
Поднимутся разом ко мне.

И все, кто воскресли в солёной тиши
И вышли наверх из кают,
Стоят и во имя бессмертной души
Безмолвную песню поют.

И песня растёт и врывается в грудь,
Значенья и смысла полна, —
И вот раскрывается давняя суть
Звучанья на все времена.

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ. СМОГ
ПРОЗА

«Наше с Губановым: СМОГ.

Пусть это и аббревиатура — но что-то щёлкнуло, совпало, сомкнулось, таинственный механизм речи сработал, аббревиатура сменилась, как по волшебству, чуть ли не универсальным понятием, — и вот он налицо, знак времени, призыв к объединению — для моего поколения.

Почему это произошло? Да потому, что слово СМОГ воспринималось, как слово *сумел*, мобилизовывало, притягивало к себе, точно магнит, заставляло подтянуться, призывало к здоровому творческому соревнованию, к созидательному труду, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из смогистов, хорошо поработав на литературной ниве, с полным правом мог сказать: сумел.

Магия слова, как видим, и важна и нужна. Сила слова — в проецировании живой энергии на людей и в возвращении этой энергии к исходной точке, дабы процесс повторялся.

Эпопея с нашим СМОГом тянется вот уже половину столетия, а впереди ещё и следующие годы, и грядущее столетие, — и завершения ей, судя по всему, не предвидится вообще.

Гениальная выдумка. Иначе и не скажешь, как ни пытайся, как ни подбирай к ней, тишком или в открытую, какие-нибудь там отмычки или ключи.

Ларчик этот — с секретом, да ещё каким! Так-то просто, как ни бейся, как ни пыхти, — не откроется. И как это осенило нас с Лёней — тогда ещё, в юности нашей? До сих пор диву даюсь.

Ларчик — вот он. Смотрите. Он давно — на виду. Было два ключа от него. Один ключ — у Губанова, да так с ним и остался. Другой ключ — у меня.

Что в ларчике — ещё, даст Бог, узнаете. Если его открою — для вас. Поживём — увидим. Так всегда говорят.

Ларчик этот — открывать слишком часто мне, право же, незачем. Ни к чему это. И почти не для кого. Я и так слишком хорошо, лучше всех остальных, знаю — что там, внутри. А там — нечто.

Странная эпопея. Поистине — странная. Не желающая — исчезать. Не желающая — расставаться: и со мной, и со всеми нами. Выживающая — кровь из носу, во что бы то ни стало, но только — так, и не иначе. Вызывающая — огонь, да не один, все огни — на себя. То есть — ушедшая далеко вперёд. Как на войне, в расположение сил противника. И всё ещё находящаяся там, впереди. Воспевающая — речь и явь, дух и свет, честь и братство. Затевающая — нет, уже давно затеявшая — вечный спор, — нет, поединок вечный — с тем, что всюду на земле всего страшнее — с равнодушием беспамятным людским. Начатая — тогда ещё, давно, в советское время. Продолжающаяся — ныне, в междувременье. Готовая протянуться — в грядущие времена. И, несомненно, будет она продлеваться и в них.

Эпопея — типично русская. Со стержневым, врождённым, — всё и насквозь пронзит — природным, как речь, мышлением. С несколькими — так уж вышло — слишком уж разными авторами, пока ещё, всё ещё, вместе ещё, одни — довольно отчётливо, другие — уже посмутнее, а третьи — те еле-еле в глубокой дали различимы, но всё-таки прорисовывающимися, хотя и основательно уже, решительно и даже беспощадно прореженными, пристально отобранными самим суровым временем, до нас двоих — меня с Губановым, а там, в дальнейшем, в скором будущем, тем паче — в грядущем, там, в сознании потомков, число всех этих авторов, я знаю, всенепременно будет сгущено — до одного — из мифа, из легенды, из прошлого ли, — всё уже едино, всё ясно всем, и так всегда бывает, — до одного лишь автора, конечно, — до этакого нового Гомера. Уже не эллинского — русского. Но, впрочем, Гомер, тот, прежний, правильней — Омир, фракиец был, а значит — тоже рус.

Эта новая «СМОГиада» или «СМОГиссея» — всех нас, небось, да и потомков наших, и мало ли кого ещё переживёт.

Эпопея эта, и прежде всего — скрытая до сих пор от многих любопытствующих подоплёка её, основа её, почва её, — всё обрастает и обрастает, ну прямо как днище большого корабля — множеством прилепившихся к нему на нелёгких морских путях, самых разнообразных, и мелких, и покрупнее, водорослей и ракушек, так и путешествующих вместе с ним, — всевозможными, зачастую нелепыми, иногда и бредовыми, вымыслами, беззастенчивыми, с выкрутасами и переборами, в общей сумме своей и яйца выеденного не стоящими, но поныне упорными и обильными домыслами, ну и, само собой, неисчислимыми по количеству их, не говоря уже о качестве вранья, слухами, — эпопея эта, подчёркиваю, давным-давно уже стала отечественной легендой — и неумолимо, неудержимо превращается в самый настоящий, классический, не по греческому — по отечественному — так доходчивей — образцу, со своими богами и героями, со своими бурными событиями, невероятными приключениями, борениями с силами тьмы и со злом, со своим, как тугая пружина, закрученным, острым — лезвием, жалом! — сюжетом, со своими загадками и отгадками — на авось, со своими метаморфозами — и, конечно же, давними тайнами, с тайным смыслом подспудным своим, с зашифрованным знаком судьбы, с потаённым, запрятанным вглубь, на потом, кодом той, миновавшей эпохи, по которому, прежде его отыскав и осмыслив, там, в грядущем, когда-нибудь всех нас разыщут и встретят, — непреложный, немеркнущий миф.

Наше содружество и каждый персонаж этой разыгранной нами когда-то, в открытую, на глазах у всех, в том числе и прежде всего — у властей, многоактовой, дерзкой, с прологом и эпилогом с полудетской, наивной завязкой и вполне уже взрослой, жестокой развязкой, сумбурной, написанной набело, по вдохновению, пьесы, никакой и не драмы, а, конечно же, натуральной трагедии, —
(напомню, что действо происходило в середине шестидесятых, посреди истосковавшейся по свободному слову, огромной и тогда ещё неделимой страны, в самой сердцевине того самого, тоталитарного режима), —
продолжает, с годами — всё хлеще и хлеще, находиться в тумане разросшихся, шатких, зыбучих, но ставших привычными, слишком условных, слоистых, расплывчатых, чуть ли не призрачных, недостоверных, таких ненадёжных, таких никудышних, но всё же таких неизбежных и всеми охотно лелеемых, толков.

И в наши, нынешние дни, СМОГ, почему-то в числе диссидентских групп, а не как литературное движение, изучают, уже — изучают, — что же, к этому, в общем-то, всё ведь и шло! — на занятиях по новейшей истории в школах, лицеях, колледжах и в институтах, то есть в средних и в высших учебных заведениях, — и подростки, и молодёжь, — причём, что и забавно и грустно, и досадно, и возмутительно, — сами преподаватели — ровным счётом никакого понятия не имеют — о сущности явления.

И не такое ещё, а похлеще, позабористее, побредовей, порой приходилось мне слышать. О былом. О себе. О друзьях моих давних. Обо всём, что прошло. О таком, что вовек не пройдёт — потому что достаточно света с ним в мире юдольном.

Досужие болтуны, сроду не бывавшие в нашей шкуре, задним числом охотно перемывают нам косточки в устных россказнях и в печати. Действует магия слова. Притяжение его велико и опасно для них, потому что слово СМОГ про-

свечивает их, как рентгеном, — и сразу видно, кто есть кто. Но они этого — не понимают. Они обольщены, околдованы. Им хотелось бы оказаться там, на нашем месте, в гуще минувших событий. Им — это конкретным болтунам. Бесчисленным и безликим. Хотя — некоторые рожи и рыла из этого стада отчётливо видны.

Хорошие люди — другое дело. Хороших, толковых — мы тогда привечали. Особенно своих — мы их за версту чуяли. Мы бы их — так я думаю, так полагаю, — приняли бы к себе. И если они жалеют сейчас о том, что не были с нами, — их можно, конечно же, можно понять. Значит — из такого же теста, как и мы, эти люди. Значит — нашей закваски. Ну, не успели они тогда — быть вместе с нами, это понятно. Не сумели. Обстоятельства, значит, были такие в жизни, что не позволили сблизиться. Ну так — и теперь ведь можно объединиться! А что? Пусть они теперь — сумеют. Пусть будут все они — жалеющие ли, желающие ли, — вместе с нами, оставшимися, уцелевшими. Только и всего. Сумеют ли? Это ведь важно — взять да и суметь! Смочь. На то он и СМОГ.

В стаде же болтунов — давняя паника. Они-то, может быть, и хотели бы — к нам. Да не сумели. Тогда. И сейчас — не могут. Не дано. И сам СМОГ, а он — дух такой, — их не пустит. Не допустит безобразия.

СМОГ — это как зона в «Сталкере». Вы там поосторожнее себя ведите. А то — мало ли чего выйдет? Здесь всякое бывает. Уж такое бывает, что потом долго не опомнитесь. А может, и вовсе не опомнитесь. Деградируете. Отомрёте. Исчезнете, как вид. На то она и зона, что — не такая, ну вот очень уж не такая, разительно, фантастически — не такая, как все. Особая. На то он и СМОГ, чтобы, поначалу всех, без особого разбора, принимая, быстро в них разобраться — и беспощадно отсеивать. Отбрасывать. За ненадобностью. Любопытное большинство — за то, чтобы не путали Божий дар с яичницей. Какую-то часть — за профнепригодность. Некоторых — из брезгливости. И откровенных гадёнышей — за предательство своих же товарищей и за подлость по отношению к ним. Так-то оно лучше. Спокойнее. Жить. Дышать. И работать.

И остались в итоге — единицы. И это — правильно. Даже очень правильно. Только так и надо. Так. Во имя речи. Так. Во спасение духа. Остаются всегда — считанные. Избранные. Это и есть — объединение наше. Содружество. И оно — уже сгустилось. Особенно — с годами. Внутренне собралось. В комок. В плод. И в нём — ядро. Из него тоже ещё что-то — или кто-то — со временем — вырастет. Встанет во весь рост. На земле. Под солнцем. В единственном числе. Один. За всех. Так всегда бывает. Вот именно так, только так — и бывает. Вот из этого и исходить надо. Исходить из этого — и подходить к этому. Восходить.

А то — СМОГ им подавай! В СМОГ они хотели бы попасть! Ещё чего! Дудки! Мы-то — немногие — Божьи дудки. А вы — чьи?

Числиться в смогистах давно уже стало чем-то престижным, вроде как некоей отмеченностью, причастностью к таинству. Оттого и развелось липовых членов нашего содружества видимо-невидимо. Но желанные врата — наглухо для них закрыты. Правдивое слово — не терпит полуправды, а тем более — вранья.

Слово — тело. Оболочка незримая — для мысли. Для поэзии. Здоровое тело. В нём — здоровый дух. В нём — нескончаемый свет. Слово — смело. Могло. И смогло. Сумело. Зародиться. Восстать. Уцелеть. Возрасти. Прозвучать.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи новейшей литературы — были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, — меланхолически сетуют на то, что история СМОГа так никем и не написана.

Как это — не написана? Я написал об этом. А кому же ещё — писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как — писать, что — писать, почему — писать.

СМОГ — он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

СМОГ — он такой, он — сумел, он — не то что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, — девать их некуда, — хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более — в природе речи. Слова.

Речь — она со СМОГом. Слово — оно со СМОГом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-одинёшенек на всей этой земле, один, — понимаете? — долгие годы — один, лишь один, — потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тополя, и стоят деревья — бывшие, и царят — лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего — только в сумерках локтей», — моего друга молодости, Лёни Губанова, знаю о СМОГе — всё. Да не просто — знаю. Ведаю.

Вот потому — и пишу о СМОГе.

Как надо — пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», на всякие, — действует невероятной своей энергией, — подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, — созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире — слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь — ещё немногое — о СМОГе. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому. Былина? Слово? Плач?

Смог — это значит *сумел*. Ну а смог, сумел выжить — сумей же сказать. Произнести — слово. На чутье, на дыхании, чудом — но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи — и обрести в ней дом. И продолжать — путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи — ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное — и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть и гармонии, куда так тянутся на ощупь стебли, стволы, зрачки и ладони, — и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук, — услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, — импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда, там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде — только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, — все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, — всё — вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, — нет, не точками чёткими — вспышками огненными, сутью дней и деяний — и солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое, — воля и доля.

Соловьиная ночь украинская — или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя — кольцами бульваров, сиротливо насторожённых, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закруглённые, узорчатые, каменные тела, — копья кремлёвских башен, — и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Клочья отчаянья. Почва звучания.

Значит — слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою — всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой — как на свет, окно ли, свеча ли, костёр ли.

Отыскать эти вехи незримые, маяки эти — в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и мороке, — да и просто — в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить — значит, *быть*.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, восстаёт это слово, древнейшее «*ме*», — где же глубже понятье? — вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь Зодиак: речь — твой дом, береги же в ней ясное «*ом*».

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу — и мою, и друзей моих, — вошло это понятие: СМОГ.

Нет, не понятие — понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

СМОГ — это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь, — и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас — улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит.

Столько лет — нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось, — никуда их не деть. Потому что — смогли.

СМОГ — со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии — частицы нашей речи, нервы, крупицы её.

Всё — вошло в кровь, всё — читается в глазах и писаниях наших.

СМОГ бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось, чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри, минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

СМОГ — урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше, — и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был — как порог, но едва ступили с крыльца вдосталь нахлынуло всяких морок.

СМОГ — это слишком уж много дорог.

Тем он и дорог. И горек — всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с него — не свернуть.

Сворачивать норовили — шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь — высветлилась суть.
Право, есть что вспомянуть.
Линию свою выдерживать, позицию отстаивать — не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки — типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье) — гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится, — дабы не выделялись, дабы индивидуальности их в духоте, в темноте, смялись, притёрлись, — для острастки, дабы другим неповадно было, — да бросили, улюлюкая, деревянное это, псевдотроянское сооружение в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это — стихия, такая же, как и речь, — ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может — мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она — и вышли оттуда на твердую почву друзья, выжили, уцелели, — и снова, каждый по-своему, — в путь.
Что же существенно? Да всё — существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!
Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изреченья, порой — анекдота, — и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

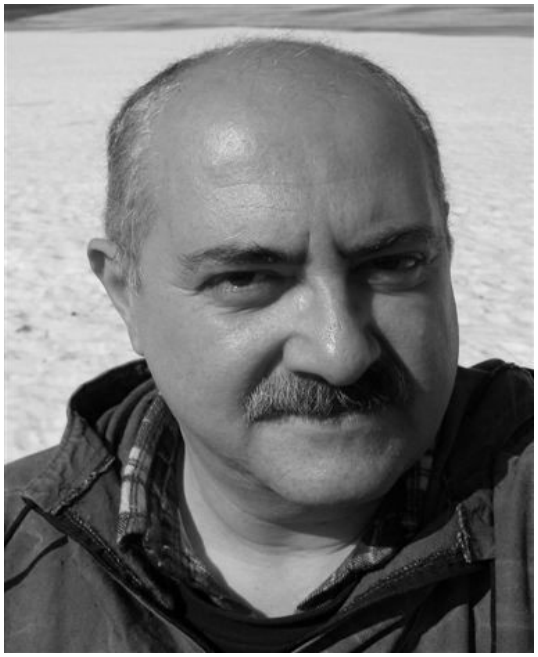
Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.
За напастью напасть — вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов, — обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, — уже подальше от огня.

Мы, немногие, — устояли. Не сдались.
Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.
Потому что у речи — особая сила. И она — спасала».

Вот такой сказ о СМОГе, поэтах, которые — «Божьи дудки», о Владимире Алейникове, единственном, кто ещё знает тайну водолейского рождения мира и слова, что может завести и в мёртвую воду, и в живую. А может наделить особым даром — видеть Ангелов и не погибнуть, соединившись в обоих источниках водных. О выговаривании небесных символов. Говоре тополиного пуха и горлиц. Да ещё — о знаниях не от мира сего, за которые всегда человеку плата есть страшная. Кому смерть ранняя, как весна некалендарная. Кому одиночество среди толпы и праздника. Кому… разное. СМОГовское.

Ирина Жураковская

Эльдар Ахадов. Тайна гибели Пушкина



Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960, в Баку — российский писатель, член Союза писателей России. В 1983 году окончил Ленинградский горный институт. С 1986 года живёт в г. Красноярске. Помимо творческой деятельности работал и работает по специальности.

Ахадов — основатель сайта «Миры Эльдара» (2010 г.) и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения Ахадова опубликованы во многих российских и зарубежных изданиях. Он — автор более 30 изданных книг поэзии и прозы. В 2012 году вышло в свет пятитомное собрание сочинений Э. Ахадова. Его произведения изданы в США, опубликованы в Болгарии, Израиле, Украине, Казахстане, Белорусии, Азербайджане. Творчеству Ахадова посвящены статьи литераторов и критиков Дины Крупской, Александра Карпенко, Влада Антикина, Екатерины Лигузовой, Наталии Лихтенфельд (Германия, Берлин), Олега Ручинского (Украина) и Юрия Туйчиева. Своё уважение к таланту и личности Ахадова в разное время выражали всемирно известные писатели Виктор Астафьев и Тимур Зульфикаров.

Более подробную биографию читайте в Википедии

*В предыдущем номере нашего журнала была опубликована пьеса Э.Ахадова «Вызов», посвященная памяти Александра Сергеевича Пушкина.**

Сегодня мы продолжаем тему убийства Пушкина — в эссе Э.Ахадова, состоящем из семи частей с постскриптумом, раскрывается принципиально новый взгляд на исторические процессы. Автору удалось не только представить читателям своё необычное видение тайной цепи событий, предшествовавших гибели А. С. Пушкина, но и живо изложить факты, используя множество серьёзных ссылок. Эта версия выглядит намного правдивее, чем общеизвестная.

Эльдар Ахадов пробуждает интерес к информации, которой он пользовался сам, распутывая клубок событий прошлых лет, и это ещё один большой плюс его громадного труда.

Ирина Жураковская

**Позволю себе напомнить: пьеса написана на основе подлинных писем А.С.Пушкина за период с 1828 по 1837 годы, а также переписки Дантеса и барона Геккерна. Около 90% речи Пушкина, и до 50% речей Дантеса и Геккерна в пьесе — не вымышленные, а реальные фрагменты из их эпистолярного наследия. В пьесе раскрываются реальные причины убийства камергера Его Императорского Величества Пушкина, сознательно завуалированные под выдуманную историю банального любовного треугольника.*

ТАЙНА ГИБЕЛИ ПУШКИНА

ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ПРАВДА О ДУЭЛИ

Всем нам со школьных лет известно, что Пушкин погиб на дуэли с Дантесом, защищая честь жены. Эта аксиома. История трагическая, овеянная романтическим флёром любви и ревности, множество раз описанная в убедительных красочных деталях. Пушкин действительно любил свою жену и дорожил честью семьи. Однако, есть нечто вроде детского наивного вопроса в этом скорбном и понятном сюжете, на который мне так и не удалось найти никакого вразумительного ответа со времён своей юности. Всем известно о том, с какой бешеной яростью Александр Сергеевич ненавидел Жоржа Дантеса. Но если причиной такой ненависти действительно является ревность, возбужденная слухами о супружеской измене, то пусть не вся ярость, но хотя бы тень раздражения по любой логике должна была бы коснуться не одного лишь «любовника», но и его «любовницы» — госпожи Натальи Николаевны. Ну, хотя бы по причине того, что она в такой ситуации являлась поводом возникновения конфликта. Однако, по всем канонам, которым нас учили со школы, ничего подобного со стороны поэта к своей жене почему-то не наблюдалось. Ни одного упрека. И с её стороны — никаких заявлений и утверждений. Как можно бешено ревнуя, преследовать только одного из двоих, совершенно не замечая «заслуг» своей супружеской половины? Это возможно только в одном случае: полной абсолютной уверенности в том, что никаких измен и никакого флирта не было и в помине. Но что это за ревность? Ревность имеет место быть там, где есть любовь, страдающая от сомнений и недоверия к предмету любви. А если недоверия к предмету любви и сомнений в его чистоте нет, то не может быть и ревности к нему. Получается, что Пушкин не ревновал свою любимую жену ни к кому, поскольку полностью ей доверял! Так оно и есть, уверяло нас официальное пушкиноведение, поскольку это соотносится с его поведением и после дуэли: он заботился о супруге и детях до последнего мгновения жизни, так и не упрекнув её ни в чем.

Однако, ни у кого из пушкинских современников не возникало и тени сомнения в искренней ненависти поэта к голландскому послу Геккерну и его приемному сыну Дантесу. Причем, к послу — в не меньшей степени, чем к его взрослому «приёмышу». Не кажется ли всё это странным? Пушкину вручили «диплом рогоносца», однако, авторство «диплома» так и не было установлено. Для чего же нужен был этот странный «диплом». Не для убеждения ли публики в том, что причина конфликта между Пушкиным, голландским послом и его пасынком — сугубо личная, не имеющая никаких иных причин, кроме классического любовного треугольника?

А что, если существовали такие серьёзные, но тайные причины, которые необходимо было закамуфлировать под «любовную драму»? Известно, что за дуэль в России полагалось наказание всем ее участникам: и секундантам, и даже жертвам дуэли, даже мёртвым! А как поступил император? Он наградил поэта (в лице его семьи) посмертно так, как награждают героев России за подвиг во имя Родины, а вовсе не за семейные разборки!

Вдове Пушкина сроком до её повторного замужества была учреждена пенсия в размере 10000 рублей. За счет казны была погашена ссуда А. Пушкина в размере 45000 рублей. Для того, чтобы напечатать сочинения поэта, его вдове было выдано единовременное пособие в размере 50000 рублей, с условием направления прибыли от продажи на учреждение капитала покойного. Два сына А. Пушкина были зачислены в самое привилегированное училище России — Пажеский корпус. И каждому сыну была начислена пенсия в размере 1200 рублей в год. Все долги Пушкина были погашены государственной казной. За что?! Просто из любви императора к русской литературе и сочувствия к покойному??? Это детский лепет, а не реальный ответ на вопрос.[i]

Наш современник, Анатолий Клепов, в своей работе «Смерть А. С. Пушкина. Мифы и реальность» так комментирует эту ситуацию: «…государственная служба А. Пушкина составляла меньше 10 лет. И ему вообще не полагалась никакая пенсия. Это могло произойти только в одном случае. Если государственный чиновник погиб на служебном посту, выполняя особое задание самого императора! Только тогда вне зависимости от срока прохождения государственной службы, полагалось начисление пенсии в размере последнего оклада погибшего чиновника, а также денежная компенсация вдове и ближайшим родственникам погибшего. В принципе, и в настоящее время происходят аналогичные выплаты в случае внезапной гибели государственного служащего.

И в настоящее время, если государственный чиновник, занимающий крупные государственные должности погибает во время выполнения своих служебных обязанностей, то его семье государство выплачивает крупные единовременные пособия в зависимости от его оклада.

Могла ли быть выдана такая высокая пенсия государственному служащему, который осмелился нарушить законы российского государства путем участия в запрещенной законом дуэли? А потом, после дуэли, фактически был осужден судом! Конечно, нет. Строгие законы российской империи полностью исключали это. И только вмешательство Николая I, который знал об истинных целях дуэли А. Пушкина… позволило законодательно приравнять гибель А. Пушкина на дуэли к гибели государственного служащего, выполняющего особые поручения императора». *Об истинных целях дуэли!* То есть, истинная цель поединка не имела абсолютно никакого отношения к выдуманной для публики якобы любовной истории. Вслед за Михаилом Юрьевичем Лермонтовым (стихотворение «Смерть поэта») обратим наше внимание на то, что поэта убил не подданный Российской империи, а иностранец:

«…Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что; он руку поднимал!..»

Полагаю, однако, что Дантес как раз таки прекрасно понимал, на кого он поднимал руку. Более того: появление этого киллера, фактически наёмного убийцы, в России было хорошо подготовлено иностранными разведками. Помимо умения благодаря смазливой внешности нравиться женщинам у Дантеса имелось ещё одно не менее важное для организаторов убийства поэта умение — меткого стрелка, снайпера, говоря современным нам языком. [ii]Ко времени появления в России за его плечами уже была учеба в знаменитом военном училище Сен Сир, где всего за год он успел завоевать звание чемпиона в стрельбе по движущейся летящей быстро исчезающей цели — по голубям. Выстрелить на ходу, не останавливаясь, навскидку и точно попасть в нужное место — Дантесу, человеку, профессионально стрелявшему влёт, не составляло никакого труда…

Кстати, вовсе не Пушкин вызвал Дантеса на ту смертельную дуэль, как все мы почему-то по привычке считаем, и… не Дантес Пушкина. А кое-кто совсем другой. Ни Наталья Николаевна, ни показные «африканские» страсти правнука Ганнибала тут действительно… совершенно ни при чём.

КИЛЛЕР ПУШКИНА

Дуэльный вызов Пушкину сделал Луи Геккерн! Через секретаря французского посольства виконта д'Аршиака он письменно объявил Пушкину, что делает ему вызов. То есть, если Дантес и стрелялся, то не за себя, а за голландского посла Геккерна! И пуля, убившая поэта, была пулей посла Нидерландского королевства, отправленная рукой всего лишь исполнителя его воли — Дантеса. При этом Дантес практически ничем не рисковал, поскольку, как сообщает литературовед Г.Фридман, его тело под мундиром было защищено доспехами — непробиваемой металлической кирасой, специально заказанной в Англии после того, как была отсрочена первая дуэль с Пушкиным, которая должна была состояться ещё осенью 1836 года. Фактически Дантес был защищен бронежилетом, при этом пистолеты были заряжены минимальным количеством пороха, чтобы кинетической энергии пули оказалось недостаточно для пробития кирасы. Секундант Дантеса, виконт д'Аршиак, знал своё дело… а вот Данзас, секундант Пушкина, скорее всего, был не в курсе подобных тонкостей дипломатических «деталей» убийства.

Можно ли представить себе, чтобы смерть иностранного литератора, всю жизнь безвыездно прожившего в своей стране, пусть даже и хорошо известного у себя на родине, вдруг вызвала небывалый международный общественный резонанс за многие тысячи вёрст места событий — вплоть до Атлантики? Только ли литературные заслуги автора были тому причиной или нечто ещё? По сообщению литературоведа Михаила Сафонова: «28 февраля

1837 года парижская газета "Журналь де Деба" опубликовала сенсационное сообщение из Петербурга: знаменитый русский поэт Пушкин убит. В этот же день такое же сообщение опубликовал "Курьер Франсе". 1 марта сообщение было перепечатано в "Газет де Франс" и "Курьер де Театр".

В то время парижский "Журнал де Деба" играл на европейском континенте ту же роль, что сегодня играет "Нью-Йорк Таймс" во всем мире. 5 марта о гибели Пушкина сообщила своим читателям немецкая "Альгемайне Цайтунг"».

Ни одному классику европейской литературы до Пушкина не удавалось возбудить подобный интерес к факту гибели своей персоны! За исключением, может быть, лорда Байрона…

ПУШКИН И ЦАРЬ

В школьные годы нам постоянно внушалась мысль о том, что между поэтом и властью всегда пролегала пропасть, что царизм жестоко угнетал свободолюбивого поэта, исполняя функции жандарма и цензора. Однако, если отношения между Александром I и Пушкиным действительно трудно назвать приязненными (всем известны иронические стихи поэта об императоре), то с Николаем Павловичем у Александра Сергеевича было о чём поговорить тет-а-тет.

Как известно, Н.Ф.Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач Пушкина, стал посредником между умирающим поэтом и царём: он передал императору просьбу поэта о помиловании секунданта Данзаса. Также поэт просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли: "…жду царского слова, чтобы умереть спокойно…" [iii]Николай I ответил ему: "Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки". Разве это разговор врагов, а не близких по духу людей, за плечами которых много общего, в том числе и любовь к Родине, и забота о близких? Стансы, посвященные Пушкиным императору Николаю Павловичу, говорят совсем о другом:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

О взглядах и политике Николая I можно сказать следующее: Николай I прежде всего считал себя защитником национальных интересов страны, хотя не отказывался от участия в делах Западной Европы. Он отстаивал принципы абсолютной монархии, отвергал конституционализм и свободу личности, настороженно относился к либеральным идеям, стоял за незыблемость территориальных границ в Европе, утвержденных решениями Венского конгресса, более всего заботясь о спокойствии собственного государства.

Россия в то время становилась объектом страха, ненависти и насмешек в глазах либеральной части европейского общественного мнения, а сам Николай I приобретал репутацию «жандарма Европы». Однако при этом западные историки почему-то забывают, что в своей внешней политике император Николай Павлович выполнял договоры, подписанные во время предыдущего царствования, а Россия пунктуально придерживалась политики Священного союза. Но в этом-то и состоял весь трагизм: лишь Россия сделала Священный союз целью своей политики, делала все для блага Союза. Другие же страны использовали его как средство достижения собственных целей.

Усиленная дипломатическая борьба против России во время восточного кризиса 20-х годов XIX века фактически была проиграна. [iv]Преобладание России в турецких делах произвело тревогу среди европейских правительств и придало острый характер «восточному вопросу». Под «восточным вопросом» тогда понимали все вопросы в связи с распадением Турции и с преобладанием России на Балканском полуострове. Европейские державы не могли быть довольны политикой императора Николая, который считал себя покровителем балканских славян и греков. Добрым отношениям России с Турцией стремились помешать Англия, Австрия и Франция, которые соперничали с Россией на Ближнем и Среднем Востоке. Особенно недоброжелательной была Англия. Существует версия о том, что именно англичане подстрекали персидских мусульман к нападению на русское посольство в Тегеране, в результате которого погиб посланник русского императорского двора поэт Александр Сергеевич Грибоедов. Обратите внимание: государь доверил российское посольство поэту, написавшему «Горе от ума», произведение, вроде бы направленное против государственного устройства того времени! Но царь не бросил талантливого человека в тюрьму, не отправил в ссылку, а доверил ответственнейшую миссию — быть послом России в иностранной державе!

Было ли нечто общее в воззрениях поэта Пушкина и императора Николая Павловича? Несомненно! Император Николай I был убежденным против-ником крепостного права. В годы его царствования существовало 9 секретных комитетов, занимавшихся разработкой проектов отмены крепостного права и предоставления помещичьим крестьянам более широких прав. Доверив

руководство крестьянским делом твердому приверженцу освобождения крестьян П.Д. Киселеву, царь сказал ему: "Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части". Он одобрил начало реформы государственной деревни, подготовленной Киселевым, и в 1840-е гг. издал ряд указов, расширявших личные и имущественные права крепостных крестьян. Но так и не решился осуществить полную крестьянскую реформу, считая, что Россия, в условиях враждебного окружения и популярности революционных идей, еще не готова к этому.

ТУРЕЦКИЙ ПОХОД ПУШКИНА

В сентябре 1826 года император приказывает Пушкину прибыть в Москву "в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря не в виде арестанта". 8 сентября 1826 года в Москве, в Чудовом монастыре, состоялась встреча нового Николая I и поэта. О состоявшейся тогда беседе сохранилось мало сведений достоверного характера. Можно утверждать только то, что между собеседниками было достигнуто некое устное соглашение. Николай I не только разрешил Пушкину жить в обеих столицах, но и стал его первым (и единственным!) цензором в государстве, освободив произведения поэта от какой-либо иной государственной цензуры.

О том, каково было впечатление Александра Сергеевича от знакомства с новым императором России можно судить по следующим сообщениям… 12 июля 1827 года глава Третьего отделения А. Х. Бенкендорф докладывал Николаю I: "Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно". В октябре 1827 года шеф Третьего отделения получает сообщение: "Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что обязан ему жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть".

Началась Турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: “хотите, сказал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою?” Пушкину предлагали служить в канцелярии Третьего отделения". Кстати, существуют и воспоминания А. А. Ивановского, чиновника Третьего Отделения, достоверность которых не подвергается сомнению. Вот что он пишет: "В половине апреля 1828 года Пушкин обратился к А. Х. Бенкендорфу с просьбою об исходатайствовании у государя милости к определению его в турецкую армию. Когда ген. Бенкендорф объявил Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволения, Пушкин впал в болезненное отчаяние... Он квартировал в трактире Демута... Человек поэта встретил нас в передней словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает". Но Пушкин принял Ивановского. "Если б вы просили о присоединении вас к одной из походных канцелярий: Александра Христо-

форовича Бенкендорфа, или графа К. В, Нессельроде, или П. И. Дибича — это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий", — заявил жандарм. "Ничего лучшего я не желал бы!.. И вы думаете, что это можно еще сделать?", — воскликнул Пушкин. На что последовал ответ: "Конечно, можно".

О дороге в расположение русской армии Пушкин замечает: «Дорога через Кавказ была скверной и опасной — днем я тянулся шагом с конвоем пехоты и каждую дневку ночевал — зато видел Казбек и Терек. В лагерь я прибыл в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать. Генерал И. Ф. Паскевич, будущий граф Эриванский, позволил мне въехать вслед за ним в завоеванный Арзрум».

Из книги «История военных действий в азиатской Турции в 1828 и 1829 годах...» известно не только о присутствии поэта в рядах сражающейся русской армии, но и о непосредственном участии его в боях и перестрелках с противником.

Пушкин принял участие в турецком походе русской армии и принес очевидную пользу русскому военному командованию. Чем? Как минимум, своими наблюдениями, записями того, что в иных случаях могло ускользнуть от внимания отцов-командиров. По крайней мере, известно, что на обратном пути из Тифлиса в Санкт-Петербург Пушкин предъявлял подорожную такого содержания: "Г. чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписано Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное в подорожной число почтовых лошадей без задержания, и к приезду оказывать всякое содействие". Напомним, что подорожная — письменное свидетельство, необходимое для проезда по почтовым дорогам империи. Она выдавалась губернскими или уездными властями и удостоверяла, во-первых, личность путешествующего, что заносилось в специальный журнал на каждой станции, во-вторых, возможность получить на почтовой станции зависевшее от чина и звания проезжающего определенное количество лошадей. На оборотной стороне подорожной Пушкина для проезда в Тифлис сделана приписка: "Сие предписание в Комендантском управлении при Горячих минеральных водах явлено и в книгу под 109-й, записано 8 Сентября 1829 года. В должности плац-адъютант подпоручик Войтикович".

Возвращаясь из военного похода, поэт пишет:

Блеща средь полей широких,
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.
Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.
Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Кстати говоря, походная канцелярия Бенкендорфа — это контрразведка.

В компетенцию Третьего отделения входило, помимо всего прочего, и управление главной Императорской квартирой, и Собственного Его Императорского Величества конвоем.

Граф К. В, Нессельроде, МИД — это политическая разведка.

П. И Дибич — военная разведка. До 1832 года — официальной даты создания в России политической разведки — собственная разведка существовала в военном Министерстве и коллегии иностранных дел России. Подобные сведения наводят на весьма определённую мысль о том, что между Пушкиным и контрразведкой России имелись определенные связи…

ПУШКИН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

21 июля 1831 года Пушкин пишет А. Х. Бенкендорфу: "Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно мое бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало. Если государю императору угодно будет употребить перо мое, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей. В России периодические издания не суть представители различных политических партий (которых у нас не существует), и правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но тем не менее общее мнение имеет нужду быть управляемо. С радостию взялся бы я за редакцию политического и литературного журнала, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости. Около него соединил бы я писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые всё еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению. Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III". “Ну, хорошо”, — скажете вы, — “Пусть так, но какое отношение всё это имеет к гибели Пушкина?” Самое прямое, если иметь в виду последствия вступления поэта на государственную службу и сознательные старания очень влиятельны лиц скрыть правду от современников и потомков… В 1837 году погиб не литератор Пушкин в смехотворной юношеской должности камер-юнкера и не на почве глупой семейной ревности, а камергер (генерал-майор) его величества ПОЭТ Александр Сергеевич Пушкин, павший смертью храбрых, защищая интересы нашего Отечества! Об этом — в следующей части повествования. Однажды, Александр Сергеевич на вопрос своего друга-лицеиста о том, где он служит, ответил просто и ёмко: «Я числюсь по России». «Числиться по России» в устах поэта означало «беззаветно служить своему Отечеству». Крылатая фраза Евгения Евтушенко «Поэт в России — больше, чем поэт» известна давно. Кстати, более всего это заметно иностранцам, людям со стороны. Как метко сказала одна итальянская исследовательница пушкинского наследия: «Россия — единственная в мире страна, которая не перестает скорбеть по своим поэтам... Только в России убийство Поэта равно Богоубийству».

ПУШКИН И ПОЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ

В статье «Десятая глава «Евгения Онегина» — история разгадки» литературовед Б. Томашевский сообщает: «В 1906 году, в издании «Пушкин и его современники», выпуск IV, появилось составленное В. И. Срезневским описание рукописей Майковского собрания. Описание предварено кратким введением, в котором, между прочим, говорится:

«В 1904 году Рукописное отделение библиотеки Академии Наук обогатилось ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесенным в дар Академии вдовой покойного Леонида Николаевича Майкова Александрой Алексеевной Майковой…» В таком описании, которым по мнению автора не было «нарушено желание жертвовательницы», значилось два загадочных пункта: 37 д) Наброски из Путешествия Онегина. Листок сероватой бумаги с клеймом 1823 г. Среди текста красная цифра 55.

57) «Нечаянно пригретый славой...» и «Плешивый щеголь, враг труда...» (1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегнутый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные цифры: 66, 67. Текст писан с внутренней стороны сложенного листа. Поправок почти нет; писано наскоро, многие слова недописаны, собственные имена обозначены буквами».[vi]

Речь идет о шифрованных текстах, так называемых криптограммах, составленных Пушкиным и относящихся к уничтоженной им десятой главе «Евгения Онегина». Мастерство, оторым Александр Сергеевич обладал в умении составлять шифры и криптограммы, заставило исследователей его творчества десятилетиями ломать головы над их расшифровкой. [vii]То, что Пушкин в совершенстве владел этой «наукой», доказывают и исследования академика В. А. Чудинова. [viii]В рисунке А.Пушкина «Медный всадник», он по методике Шиллинга фон Конштадта «выявил» целых семь криптограмм!

[ix]Во всем мире способности и знания лингвистов используются криптографами для успешного дешифрования переписки противника! А сами специалисты — ценятся на вес золота! 26 августа 1831 года армия генерала Паскевича штурмом берет Варшаву. Именно в это время, российским спецслужбам, путем дешифровки секретной переписки руководителей польского восстания удалось получить точные имена близких связей польских заговорщиков в российском и других дворах Европы.

А за месяц с небольшим до этого, 20 июля 1831 года Пушкин пишет письмо Николаю 1 с просьбой зачислить его на государственную службу. Обычно подобные бумаги в царской канцелярии рассматривались, мягко говоря, не слишком быстро, как минимум месяцами. Однако в этом конкретном случае прошение было рассмотрено мгновенно! Уже 21 июля (на следующее утро!) Николай I приказывает Бенкендорфу, курирующему Департамент внешних сношений МИД, дать указание Нессельроде принять Пушкина на службу. 23 июля Нессельроде получает письмо от Бенкендорфа от 22-го числа о Высочайшем повелении определить Пушкина в Государственную Коллегию Иностранных Дел!

В связи с польскими событиями западная пресса развернула в Европе настоящую информационную войну против России. Пушкин, по долгу своей новой службы, знал о готовящемся штурме Варшавы и о вероятности в связи с этим начала массированной истерической кампании в западных средствах массовой информации. Буквально на следующий день после взятия Варшавы стихотворения А. Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» были представлены Николаю I. Седьмого сентября 1831 г. было получено цензурное разрешение на выпуск брошюры «На взятие Варшавы»

с произведениями А.С. Пушкина и В. А. Жуковского. Такой молниеносной публикации литературных произведений Россия еще не знала! Стихотворения А. Пушкина «попадают» в прессу Франции, Германии и Австрии, вызывая немалый интерес в политических и культурных кругах этих стран. Австрийский посол в Петербурге граф К. Л. Фикельмон к письму австрийскому канцлеру Меттерниху с разъяснением политической обстановки в России, связанной с польским восстанием, приложил стихотворения А. Пушкина. При этом подчеркивал, что текст был одобрен императором Николаем I.

Таким образом, эти произведения расцениваются как способ выражения позиции русского правительства. Тонкий дипломатический ход! Он заставлял руководителей европейских государств серьезно задуматься о возможных последствиях своих действий, но в то же время не давал никаких поводов для использования художественных произведений российских подданных Пушкина и Жуковского в качестве аргументов для инсинуаций и обвинений в адрес официальной позиции России в польском вопросе. Пушкин уже в начале своей государственной карьеры оказался на острие политической контрпропаганды самого высокого уровня.[x]

Клеветникам России. …

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага -
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,

Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов…

ПУШКИН И ПОЛИТИКА РОССИИ НА БАЛКАНАХ

Я уже упоминал о том, что Европа была всерьез обеспокоена политикой императора Николая I, считавшего миссией России покровительствовать православным балканским славянам и грекам. Именно в эти годы Пушкин использует свой гениальный литературный дар на благо возрождения культурно-исторических связей России и славянских народов, населяющих Балканы. Пушкин был хорошо знаком с сербской народной поэзией. В молодости, будучи в Бессарабии, поэт записывал сербские предания и песни из уст выходцев из Сербии, знал от первоисточников подлинное фонетическое звучание южнославянских песен.

В его библиотеке имелись книги, связанные с южнославянскими народами: словарь сербского языка, составленный Караджичем (1818), три тома его собрания народных песен издания 1823-1824 годов, французский перевод известной книги итальянского ученого-натуралиста аббата А. Фортиса «Путешествие по Далмации» (1778), а также книга сербских народных песен из собрания Караджича в переводе на французский язык Э. Войяр (Париж. 1834). Пометки и закладки поэта в этих книгах доныне остаются свидетельствами их внимательного изучения. Гениальная художественная интуиция помогла поэту создать стихотворения, отмеченные истинно славянской ментальностью. Созданный им цикл «Песни западных славян» включал также переводы двух сербских народных песен и три оригинальных стихотворения, в том числе «Песню о Георгии Черном». А. С. Пушкин был одним из первых, кто открыл для России удивительный мир сербов, особенности их культуры, поэзии и психологии.

Имя Пушкина становится известным у славян уже с 20-х годов XIX столетия. Впервые оно появляется в австрийском сербском журнале «Сербске летописи» за 1825 г., учредителем и редактором которого был Джордже Магарашевич (1791-1830), известный деятель культуры, меценат, учитель Новосадской гимназии. Год спустя он же поместил в этом журнале обзор поэмы «Бахчисарайский фонтан» и очерк «О поету Русскомъ Пушкину». А чуть позже в сербской периодике были опубликованы пушкинские стихотворения «Дочери Карагеоргия», «Муза», «Гречанке», «Подражание Байрону» на русском языке. [xi]

Великий сербский поэт и владыка Черногории Петр Петрович Негош (1813-1851) побывал в России в год кончины Пушкина, в феврале 1837 года он останавливался во Пскове и предположительно посетил могилу поэта в Святогорском монастыре. Портрет Пушкина висел над его письменным

столом. Негош выписал из России первое посмертное издание «Сочинений» Пушкина (1838-1841). А в 1838 г. вместе со своим секретарем Дмитрием Медаковичем он начал издавать литературный ежегодник «Грлица», в первом же выпуске которого на русском языке были напечатаны два стихотворения из цикла Пушкина «Песни западных славян» — «Бонапарт и черногорцы» и «Песня о Георгии Чёрном». Сам же Негош посвятил русскому поэту поразительное стихотворение «Тени Александра Пушкина». Именно оно открывало антологию героических сербских песен, составленную черногорским владыкой «Српско огледало» (Белград, 1845), в которой часть песен принадлежала его собственному перу. Муза Пушкина нашла благодарный отклик в сердцах братьев-славян.

Об отношении к русским и русскому языку со стороны южных славян можно судить по такому эпизоду: словенская Любляна находилась на одном из маршрутов передвижения суворовских войск во время итальянского похода. В марте 1799 г. через нее должен был проследовать вспомогательный корпус генерала от инфантерии Я. И. Повало-Швейковского. В мае 1799 года в газете «Ljubljanske novice» (№ 26) ее редактор Валентин Водник писал следующее: «Вот новое событие для нас краинцев — русские, наши древние братья, пришли, чтобы не только повидаться с нами, но и защитить от врага. Полторы тысячи лет назад наши предки пришли в эти края, они происходили от русов и других славян; потому-то мы легко понимаем русский язык; дело в том, что они суть славяне и тот корень, от которого происходят наши отцы. Теперь мы видим воочию, какие есть у нас в мире могучие и великие братья, которые наш славянский язык сохранили в совершенной чистоте. Именно их примеру должно следовать каждый раз, когда мы желаем облагородить свой язык. И у них же нужно учиться защищать свою землю от врагов. И если они прошли столь долгий путь, то почему бы нам, живущим здесь, не помочь им одолеть неприятеля».

ПУШКИН И ПУГАЧЕВЩИНА

В июле 1831 года, ступив на государственную службу, согласно присяге произнесенной и подписанной в присутствии священника, Александр Сергеевич Пушкин обязался хранить государственные секреты. Великий поэт был человеком слова. Ни разу за всё время своей жизни присяги он не нарушил. Как установлено, Пушкин получал официальную зарплату не в МИДе, где числился, а из специального фонда Николая I в министерстве финансов. Такое практиковалось только в самых исключительных случаях для очень узкого круга наиболее секретных специалистов государственных служб. Царским указом было запрещено публично упоминать о служебной деятельности подобных лиц. Более того, именно это обстоятельство — самая вероятная причина того, почему Пушкину никогда не разрешали выезжать за границу.

Об уровне секретности служебной деятельности Пушкина можно только догадываться по редким случайным фразам его переписки с женой. Так он пишет ей: «... вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует Государственная безопасность» (8 июня 1834 г.), «…пакет Бенкендорфа (вероятно, важный) отсылаешь, с досады на меня, бог ведает куда…» (3 октября 1832 г.). Какими же делами занимается поэт на государевой службе? Что может быть в них секретного? Обратимся за ответом к самому Александру Сергеевичу. 30 июля 1833 года в письме А.Н. Мордвинову Пушкин пишет: «…труды мои, благодаря государя, имеют цель более важную и полезную». Более важную и полезную чем обычные труды. Именно такой

намек сквозит в этой фразе. В означенный период времени Пушкин занимался написанием «Истории пугачевского бунта».

2 ноября 1833 года, находившийся в селе Болдино Пушкин обращается к читателям только что завершённой «Истории Пугачёва»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Также имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых.

Дело о Пугачеве, доныне не распечатанное, находилось в государственном санкт-петербургском архиве вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы. Государь император по своем восшествии на престол приказал привести их в порядок. Сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило.

Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный. Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцова, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».[xii]

Заметьте: писатель сообщает о том, что представляет вниманию публики только часть труда, только отрывок, в котором содержится информация, обнародованная правительством. То, что было разрешено. Значит, существовало нечто, что продолжало оставаться секретным, тайным во всей этой пугачевской истории?

23 ноября 1834 г. Пушкин сообщает А.Х. Бенкендорфу: «История Пугачевского бунта» отпечатана. Я желал бы иметь счастие представить первый экземпляр книги государю императору, присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества». Это означает, что действительно, в работе Пушкина по истории Пугачева было нечто, о чём никому кроме царя не должно было стать известным. Почему поэт, посвятивший целых три стилизованные под народные песни о Стеньке Разине, не нашёл ни одного доброго слова о Емельяне Пугачёве? 26 апреля 1835 года поэт делится мыслями в письме Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену, возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону». В чём разница между Разиным и Пугачёвым?

Пугачёв выступал не под своим именем, а под именем Петра Третьего, то есть, играл роль лже-царя, тем самым провоцируя в стране государственный переворот в личных интересах. Кому это было выгодно? Известно, что в результате пугачевского бунта Россия была вынуждена форсировать подписание мирного договора с Османской империей, пойдя на значительные уступки противнику, несмотря на блестяще одержанные победы. В этом смысле пугачевщина оправдала надежды, возлагавшиеся на неё Западом: персона русского лже-царя оказалась на самом пересечении глобальных геополитических интересов сразу всех последовательных недругов российского государства в Европе.

Идея лже-царя витала в воздухе с 1762 по 1798 годы: более сорока человек пытались выдавать себя за покойного императора Петра Третьего. И в Европе об этой идее были прекрасно наслышаны. Но только Пугачеву

удалось воплотить её в жизнь с наибольшим успехом. Почему? Чем этот «тёртый калач» отличался от остальных «претендентов» на престол? Во-первых, он, в отличие от остальных самозванцев, многократно бывал за границей: в Пруссии, на тогдашних турецких территориях (Бендеры) и дважды в Польше. В Пруссии — в период с 1756 по 1763 годы его полк состоял в дивизии графа Чернышева. Между 1764 и 1767 годами Пугачёв был командирован в Польшу с командой есаула Елисея Яковлева. В 1769 году с началом русско-турецкой войны хорунжий Пугачёв в команде полковника Кутейникова направляется к Бендерам. В 1772 году уже по своей инициативе он снова отправляется в Польшу с целью получения «чистого» паспорта, поскольку уже находился в розыске. И «чистый» паспорт у него появился! Во-вторых, именно в тот исторический период Франция выступала главным оппонентом растущей Российской империи. Она фактически подталкивала Османскую империю к новой войне с Россией. Она же вредила российским интересам в Польше. Она же поддерживала антироссийские силы в Швеции, всё ещё жаждавшей реванша за поражение в Северной войне. Людовик XV (годы жизни 1 сентября 1715 — 10 мая 1774) писал своему послу в Санкт-Петербурге: «Нам выгодно всё, что может погрузить Россию в хаос и прежнюю тьму». Пугачёв, как никто другой, идеально вписывался в программу внесения в Россию того самого пресловутого «рукотворного» хаоса. Не исключено, что именно тогда он стал известен сотрудникам «особых канцелярий» ряда европейских стран.

Когда Пушкину стало известно о найденных в пугачёвской ставке в Бердской слободе семнадцати бочках медных монет, он сразу же выразил явное сомнение в том, что бунтовщики могли самостоятельно чеканить монету с портретом Петра III и латинским девизом: «Я воскрес и начинаю мстить». Но кто бы мог подтвердить реальность существования вообще каких-либо бочек с деньгами? Сам Емельян Иванович и подтвердил на первом же допросе в Симбирске! Из протокола допроса Е. И. Пугачева в следственной комиссии в Симбирске (записано со слов Пугачёва): «От калмык дербетевских получил он письмо, подходя к Дубовке… Вскоре после того прибыли калмыки и с толпою бунтовщиков соединились. Князь старший и прочие, пришедши к злодею, становились на колени пред ним и целовали его мерзкую руку, обнадеживали его в верности. И самозванец, лаская их, благодарил и дал 50 рублей старшему князю, двум братьям его — по 30 рублей, прочим князьям, коих было около 50 человек, дарил сукна на кафтаны, а всему войску высыпал бочку медных денег». Однако, медь, безусловно, была екатерининская.

Официальная правительственная газета «Газет де Франс» два века назад на полном серьёзе писала о Пугачёве вовсе не как о вожде восставших, а как об императоре Петре III. Из письма французского посланника в Вене графа Сен-При своему резиденту в Константинополе: "Король направляет к вам подателя сего письма, который по собственной инициативе вызвался оказать помощь Пугачеву. Это офицер Наваррского полка, имеющий множество заслуг. Вы должны как можно скорее отправить его с необходимыми инструкциями для так называемой армии Пугачева. Король вновь выделяет вам 50 тыс. франков для непредвиденных расходов, помимо того, что вы должны получить из выделенных вам средств за прошлый месяц. Не жалейте ничего для того, чтобы нанести решающий удар". Кроме того, тогда же получила скандальную огласку история с арестом и ссылкой в Сибирь француза на русской службе полковника Анжели. В публикации "Газет де Франс" от 1 июля 1774 г. говорилось: "Полковник Анжели, француз на русской службе, был в оковах отправлен в Сибирь. Обнаружили,

что он имел связи с мятежниками и тайно подстрекал многие русские полки к восстанию". Итак, Париж действительно выделял немалые средства на организацию хаоса в России. Причем, это, судя по всему, был регулярный транш, вполне сравнимый с выделяемыми ныне на поддержку российской «пятой колонны» западными грантами.

Лже-Пётр имел серьёзные средства не только для оплаты своих военных специалистов и советников, но и для ведения полномасштабной пропагандистской кампании. Его «прелестные письма», которые сейчас бы назвали агитационными листовками, были отпечатаны в хороших типографиях и стоили тогда весьма приличных денег. Французы готовили координацию действий между турками и отрядами Пугачёва. Граф де Сен-При писал тогда из Вены в Константинополь: «Турецкая армия должна предпринять диверсию в пользу Петра III».

Свидетельствует сам Пугачев: «Из чиновных людей в бунтовщичьей шайке у него, злодея, были с самаго начала, после разбития генерал-майора Кара Второго гренадерского полку подпоручик Шванович. Сей офицер служил ему, злодею, охотно сказывал злодею о себе, что он, Шванович, крестник в бозе опочивающей государыни императрицы Елизаветы Петровны, что умеет говорить многими языками и может способным быть к установленной в то время злодейской коллегии. По сей просьбе приказал злодей Швановичу быть при названной Военной коллегии и перевести на немецкий язык подложный манифест и указ к оренбургскому губернатору. И с тех пор уже под всеми злодейскими указами подписывался он, Шванович, вместо самого злодея по латыни “Петер”. Сверх того, слышал он, злодей, от Горшкова, что оный думный дьяк, злодейской коллегии обще с Швановичем писали указ на немецком и французском языках, но куда оный указ послали — злодею якобы неизвестно».

Ну, куда? Ясно, что русским крестьянам и казакам послания на немецком и французском языках как-то особо ни к чему. Служили злодею и другие дворяне, например, подпоручик Минеев, майор Салманов, капитан артиллерии князь Баратаев и так далее. Пугачев не скрывал от следователей их фамилий.

«Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный», — писал Пушкин в своём обращении к читателям «Истории пугачевского бунта». Однако, столь пристальный интерес к этой странице истории российского государства со служебной стороны для Пушкина не ограничивался простой констатацией фактов 60-тилетней давности. Проводя некоторые геополитические аналогии можно сказать, что пушкинское исследование безусловно имело цель «более важную и полезную» не только для государя Николая Первого, но и для нас с вами. Методы искусственного создания благоприятных условий для «оранжевых» революций в разных неугодных странах и «загребания жара чужими руками» у Запада остались те же. Вероятно, именно этот аспект интересовал российскую секретную службу в работе Пушкина более остальных. И именно об этом шла речь при встрече государя с великим поэтом. И именно это явилось главной основополагающей причиной агентов западной дипломатии для физического устранения камергера, действительного статского советника, генерал-майора Пушкина, чьё влияние на политику императорского двора неуклонно укреплялось, разрушая враждебные усилия иностранных государств.

Вот как Александр Сергеевич сам сообщал об этом в последнем письме нидерландскому послу барону Геккерну: «Если дипломатия есть лишь

искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам».

О том, что Пушкин в 30-тые годы XIX века был видным государственным деятелем, интересующимся и мировой политикой, и экономикой своей страны, а не обычным помещиком средней руки с одними лишь литературными талантами, говорят его письма. Приведу всего лишь один пример. Елизавете Михайловне Хитрово, 11 декабря 1830 г. Из Москвы в Петербург: «Более всего меня интересует сейчас то, что происходит в Европе. Вы говорите, что выборы во Франции идут в хорошем направлении, — что называете вы хорошим направлением? Я боюсь, как бы победители не увлеклись чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королем-чурбаном. Новый избирательный закон посадит на депутатские скамьи молодое, необузданное поколение, не устрашенное эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам и которую само не переживало».

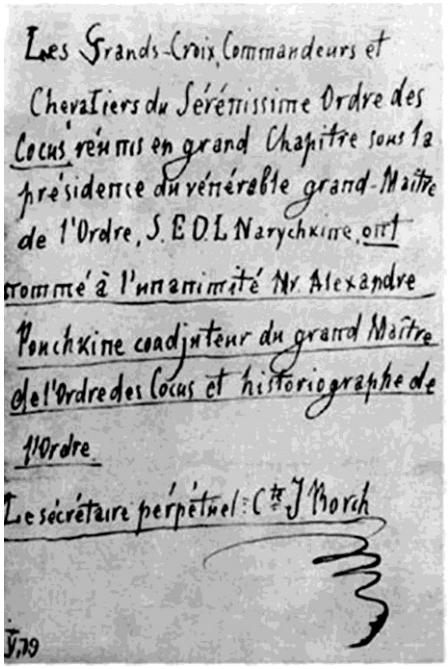
Ради интересов родной страны Пушкин всегда был готов идти до конца. Не зря однажды в одном из писем он сообщает своему старинному другу: «По мне драка (имелось в виду с иноземцами Э.А) гораздо простительнее, нежели благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут».

КАМЕРГЕР ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

1832 год считается годом основания политической разведки России, одной из основных её задач было проведение контрпропаганды. Эта же задача стояла и перед русскими дипломатами. Эффективность контрпропаганды зависит от четкой связи публикации подобных статей в российской и зарубежной прессе. Для координации этой работы требовался выдающийся литератор, прекрасно знавший европейскую литературу и историю, а также великолепно владевшим французским языком, на котором в основном в те годы общалась европейская интеллигенция. Пушкину — как, умнейшему, разносторонне развитому человеку, прекрасно владевшему всеми основными европейскими языками, гениальному писателю, лингвисту, криптографу и шифровальщику в глазах императора поистине не было цены! Секретной экспедицией (шифры и литография) заведовал ближайший друг А. С. Пушкина — П. Л. Шиллинг фон Канштадт. Немногие при его жизни знали, что он был руководителем шифровальной службы России. [xiii]Царским указом было запрещено публично упоминать о подобных лицах. Выезд сотрудников этого наисекретнейшего Департамента за рубеж был строго запрещен государем. Возможно, именно это обстоятельство — самая вероятная причина, почему А.С. Пушкину никогда не разрешали выезжать за границу! Через 8 месяцев с начала службы Пушкина в МИДе, К.В. Нессельроде неожиданно получает указание А.Х. Бенкендорфа, о многократном повышении оклада А.С. Пушкина до …5000 рублей в год. Сумма этого оклада семикратно превышала ставку чиновника ранга, по которому официально числился Александр Сергеевич, и что соответствовало в те времена окладу заместителя директора департамента. Резкое повышение зарплаты безусловно вызвано самым серьезным участием Пушкина в мероприятиях по обеспечению государственной безопасности России. [xiv]Кроме того, установлено, что Пушкин официально зарплату получал не в МИДе, а из специального фонда Николая I в министерстве финансов. Такое практиковалось только в самых исключительных случаях для очень узкого круга наиболее секретных специалистов государственных служб.

Александр Сергеевич по личному указанию Николая 1 был допущен к наиболее секретным документам России: архивам III отделения, архивам собственной семьи императора, к материалам о Петре 1, Елизавете, Екатерине Великой и даже ко всем данным о восстании Емельяна Пугачева. Кстати, для затрат по написанию истории Пугачевского бунта Пушкин получил от Бенкендорфа 40 тысяч рублей серебром (или 160 000 рублей ассигнациями). В ценах 2013 года это более 40 миллионов долларов США! Как часто бывает в истории спецслужб, данные ассигнования наверняка были выделены и для проведения других работ, которые были крайне необходимы России.

Николай I категорически запрещал Пушкину под каким бы то ни было предлогом драться на дуэли. Император не только не подталкивал поэта к смертельному поединку, как это почему-то принято считать, а совсем наоборот. Государя крайне настораживала и раздражала создавшаяся в обществе некрасивая ситуация вокруг семьи поэта.


Les Grands-Croix, Commandeurs et
Chevaliers du Sérénissime Ordre des
Cocus réunis en grand Chapitre sous la
présidence du vénérable grand-Maître
de l'Ordre, S.E.D.L. Narychkine, ont
nommé à l'unanimité Mr. Alexandre
Ponchkine coadjuteur du grand Maître
de l'Ordre des Cocus et historiographe de
l'Ordre
Le secrétaire perpétuel: Cte J. Borch

Безусловно, заслуживает внимания факт письменного обращения А. Пушкина к А.Х. Бенкендорфу по поводу получения им известного пасквиля об Ордене рогоносцев, в котором даже не указывалась фамилия адресата! [xv]А.С. Пушкин немедленно поставил в известность об этом А.Х. Бенкендорфа, написав ему письмо 21 ноября 1836 года. И самое главное, через день, 23 ноября 1836 г., А.С. Пушкина вместе с А.Х. Бенкендорфом принял Император Николай I. Таким образом, вопросы частной жизни поэта рассматривались на высшем уровне, как вопросы государственной важности!

И всё-таки убийство, намеренно закамуфлированное под дуэль, состоялось! Смерть Пушкина была неминуема. От вызова голландского посланника по кодексу дворянской чести того времени, не запятнав себя позором, уклониться было нельзя. Вместо себя старый проходимец выставил Дантеса — чемпиона королевского военного училища по стрельбе влёт. Дантес предусмотрительно был защищён бронежилетом — металлической кирасой. Выстрел он произвёл внезапно, не доходя до барьера и не показав, что целится: на подъёме руки. Пуля, выпущенная убийцей, попала в живот, раздробив кости позвоночника: подобная рана в те времена не излечивалась. По заключению врача, Владимира Даля: «Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы» [xvi]. Владимир Иванович Даль (1801—1872)— писатель, этнограф, автор «Толкового словаря русского языка», был человеком огромных и разно-сторонних познаний. Закончив медицинский факультет Дерптского университета в 1829 году, он участвовал в качестве врача в турецкой и польской военных кампаниях. Приехав в Петербург в 1832 году, он поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь, одновременно занимаясь и литературной деятельностью.

Официальные пригласительные на похороны были разосланы всем главам дипломатического корпуса и иностранных миссий. В соответствии с международным этикетом того времени, подобное делалось исключительно в случае смерти достаточно высокопоставленного сотрудника МИДа. Камер-

юнкеры в число оных никогда не входили. Впрочем, никто не сомневался в истинной государственной должности Пушкина: в рапортах и других документах, рассмотренных военным судом по факту дуэли, покойного именовали камергером Его Величества — то есть, действительным статским советником, чиновником России IV ранга, соответствующего по-военному чину генерал-майора!

В средневековой Англии камергеры были ближайшими советниками короля и во многом управляли страной. В России к концу XIX века звания камергера были удостоены поэты Тютчев, Вяземский, Фет, композитор Римский-Корсаков. Титулование камергера — «Ваше превосходительство».

Камергером именовали Пушкина и Дантес, и Геккерн, и секундант подполковник Данзас, и командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд[xvii], и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин[xviii]. Никаких документов не подписывал только секундант Дантеса — виконт д'Аршиак[xix], и то потому лишь, что бежал из России 2 февраля 1837 года, опасаясь ответственности за дуэль. Именно на его совести лежало составление убийственных условий дуэли с десяти шагов. И именно он насыпал порох в пистолет Дантеса таким образом, чтобы пуля, убившая Пушкина, не прошла навылет, сделав более лёгкую, не смертельную рану. Камергером был назван Пушкин и в приговоре комиссии военного суда от 19 февраля 1837 года.

Возможно, Николай I опасался продолжения расследования, в результате которого могла бы выясниться некоторая достаточно «деликатная» деятельность российских спецслужб. А может быть, и обнаруженная во время следствия информация, которой владел А.С. Пушкин, была бы крайне нежелательна для огласки. Во всяком случае, только после того, как документы о расследовании дуэли, в том числе и приговор военного суда, попали к Николаю I, камергер, придворная должность А.С. Пушкина, в последующих официальных документах была изменена на камер-юнкера!

Выдворение из страны убийцы Пушкина, — человека, которого сначала приговорили к повешению, а потом, вдруг отпустили, очень напоминает юридическую процедуру выдворения разведчиков по просьбе той страны, с которой не хотят портить дипломатических отношений. Другого объяснения тут нет.

Рассекреченные в недалеком прошлом архивы вюртембергского и австрийского министерств иностранных дел среди прочего обнаружили секретные депеши послов иностранных государств, где Пушкин [xx]предстает как видный политический деятель, идейный глава русской партии, противостоящий партии иноземцев, стеной отгородивших Николая 1 от русского общества.

Документы свидетельствуют, что Александр Сергеевич пытался сломать эту стену, что и явилось одной из главных причин спланированного иностранными державами, оплаченного (со временем Дантес сделался очень богатым и влиятельным лицом — сенатором Франции) и совершенного убийства камергера Его Величества, гениального поэта и истинного защитника интересов России — Александра Сергеевича ПУШКИНА.

ИСТИННЫЕ УБИЙЦЫ ПУШКИНА

Ещё раз обратимся к простому и «ясному» постулату школьной программы: Пушкин вызвал Дантеса на дуэль и был на дуэли убит. Теперь мы знаем, что никакого Дантеса Пушкин на дуэль в 1837 году не вызывал! Пушкин в тот раз (в отличие от ноябрьских событий 1836 года) вообще никого не вызывал на дуэль! Мало того: Дантес тоже не вызывал Пушкина ни на какую дуэль! Однако, будучи при этом свояками (мужьями родных сестёр), стрелялись именно они. Человек же, который составил условия этого убийства (секретарь французского посольства виконт д'Аршиак, через которого действовал Геккерн), прикрываемого высокопарным словом «дуэль», который лично участвовал в приготовлении оружия и зарядов к нему… никогда никем не допрашивался, так как немедля скрылся из России!

Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард — имя человека, вызвавшего Пушкина на дуэль. [xxi]Вызвавшего, но не явившегося на неё. Тем не менее, во все времена истинным убийцей принято было считать организатора и заказчика убийства, а не киллера — исполнителя чужой воли...

Один из девяти детей барона Эверта Фредерика ван Геккерна ван Энгуизена, голландского майора и придворного, и Хенриетте Йоханны Сузанны Марии, графини Священной Римской империи Нассау ла Лекка молодой Геккерн начал свою карьеру чиновником голландского флота, базировавшегося в Тулоне. Позже он служил Наполеону, который наградил его званием барона Империи. Примерно в то же время Геккерн принял католическую веру. Затем он последовательно служил сначала секретарём дипломатической миссии в Лиссабоне (1814), потом в Стокгольме (1815—1817) и в Берлине (1817—1822). В 1822 году тридцатилетний Геккерн появился в дипломатическом представительстве Голландии в Санкт-Петербурге. Первоначально (с 1823 г.) он был поверенным в делах нидерландского посольства, однако после трагических декабрьских событий на Сенатской площади с марта 1826 года пошёл на повышение: его назначили посланником. Вплоть до мая 1837 года барон — полномочный представитель Голландии при императорском дворе в Санкт-Петербурге. С июня 1842 года до октября 1875 года — полномочный представитель Нидерландов при австрийском императорском дворе в Вене. Дипломатические представители, находившиеся в Санкт-Петербурге (не только послы, но и сотрудники посольств), были непременными участниками придворных и великосветских вечеров и балов. Пушкину был хорошо и близко знаком этот круг. Известно, например, что с новым 1830 годом Пушкин лично поздравлял австрийского посла Шарля Фикельмона, французского — Мортемара (с секретарем посольства Лангрене), английского — Хейтсберна, неаполитанского — графа де Лудольфа, испанского — де ла Кадену. [xxii]Я уже упоминал о том, что и после кончины поэта на его панихиде присутствовал весь дипломатический корпус, за исключением крайнего ненавистника либералов прусского посла и двух посланников, не прибывших только по причине болезни. Камер-юнкеру таких почестей вряд ли бы кто-то отдавал, это была дань уважения камергеру, личному советнику Его Величества.

Вызванный на дуэль бароном Геккерном Пушкин к тому моменту являлся видным государственным деятелем, камергером Его Императорского Величества. Геккерну было 44 года, Пушкину — 37. Посему ссылка на то, что голландский посланник отказался лично стреляться с камергером в виду своего преклонного возраста — ничтожна. Разница в возрасте — семь лет, не так уж и велика. Сорок четыре — не пенсионный возраст, а Геккерн — отнюдь не

инвалид-колясочник. Дело же скорее всего в том, что по сути Геккерн и не собирался рисковать собой, ему нужно было именно убийство Пушкина, а не сама дуэль. И он достиг своей цели. А, может быть, и не только своей… Граф В.А. Соллогуб в ноябре 1836 года пишет о ситуации следующее: «Тут уже было не то, что история со мной (Соллогуб имеет в виду вызов на дуэль, который Пушкин послал ему весной 1836 года). Со мной я за Пушкина не боялся. Ни у одного русского рука на него бы не поднялась; но французу русской славы жалеть было нечего». То есть, даже в светском обществе Петербурга было понимание того, что ни один русский человек не станет убивать Пушкина, только иностранец был способен на такое…

О большом влиянии Александра Сергеевича при императорском дворе говорит и количество просителей, постоянно обращавшихся к нему с просьбами «замолвить словечко» или поспособствовать в должности. Так в июле-августе 1836 года камергер Пушкин пишет А.А.Жандру об одном из просителей: «Я обещался его тебе представить, отвечая за твою готовность сделать ему добро, коли только будет возможно». Нужно иметь в виду, что Жандр в 1836 г. занимал должность директора канцелярии морского министерства. Согласитесь: никакой камер-юнкер и помыслить бы не мог так обращаться к чиновнику подобного ранга и тем более — заранее за него отвечать.

Кстати, Александр Сергеевич далеко не всегда соглашался помочь просителям, некоторым и отказывал, как отказал Н.А. Дуровой, которая торопила его с изданием её «Записок» и просила его превосходительство Пушкина представить её опусы Николаю Первому на войсковых маневрах. Ей он ответствовал следующим образом: «Государю угодно было стать моим цензором: это правда; но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие».

Пушкин мыслил масштабами крупного государственного деятеля России (кем, собственно, и был), разбирающегося отнюдь не только в литературных вопросах. Так, например, в ноябре-декабре 1836 года он пишет В.Ф. Одоевскому: «…по моему мнению, правительству вовсе не нужно вмешиваться в проект этого Герстнера (о постройке железной дороги, Э.А.) . Россия не может бросить 3 000 000 на попытку. Дело о новой дороге касается частных людей: пускай они и хлопочут. Всё, что можно им обещать, так это привилегию на 12 или 15 лет. Дорога (железная) из Москвы в Нижний Новгород еще была бы нужнее дороги из Москвы в Петербург — и мое мнение — было бы: с нее и начать...»

Александр Сергеевич Пушкин и Геккерн были знакомы задолго до того, как барон впервые встретился с Дантесом. 13 января 1830 года Дарья Федоровна Фикельмон (урождённая графиня Тизенгаузен, внучка фельдмаршала Кутузова, дочь Е. М. Хитрово, жена австрийского дипломата и политического деятеля К.Л.Фикельмона). записывает в своем петер-бургском дневнике: «Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин (гр. Е. Ф. Тизенгаузен), г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (вероятно, Григорий Яковлевич) и Фриц (Лихтенштейн, сотрудник австрийского посольства). Мы побывали у английской посольши (леди Хейтсберн), у Лудольфов (семейство посланника Обеих Сицилии) и у Олениных (А. Н. и Е. М.). Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен».

Следует отметить, что среди перечисленных особ упоминается офицер кавалергардского полка Скарятин — Григорий Яковлевич или его брат

Федор, — сыновья одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла, не раз бывал у австрийского посла. Как рассказывает сам Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I «застал наставника своего сына (поэта Василия Андреевича Жуковского) дружелюбно беседующим с убийцей его отца». Скорее всего, и Геккерн не раз общался не только с сыновьями, но и с самим убийцей отца царствующего императора Николая Павловича.

О характере и манере поведения барона красноречиво свидетельствует первая встреча с ним великой княжны Ольги Николаевны, происшедшая в возрасте 12 лет на балу в день именин Николая Павловича 6 декабря 1834 года. Она навсегда оставила в душе юной мемуаристки неприятный осадок. Незадолго до того, как девочка в сопровождении камер-пажа Жерве должна была покинуть свой первый в жизни бал, Геккерн сказал её матери, Александре Федоровне (урождённая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская) фразу, которая покоробила Ольгу: «Как они прелестны оба! Держу пари, что перед сном они ещё поиграют в куклы!»[xxiii] Знаменательно и то, что, познакомившись с ним, Дарья Фёдоровна Фикельмон со всегдашней своей проницательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8. VII. 1829) весьма отрицательно отзывается о Геккерне: «…лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельроде, такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер».

Карл Роберт фон Нессельроде (Karl Robert von Nesselrode) — государственный деятель немецкого происхождения, канцлер Российской империи. Именно он дольше, чем кто-либо другой в истории нашего государства занимал пост министра иностранных дел России. Сторонник сближения с Австрией и Пруссией, противник любых либеральных преобразований, один из организаторов Священного союза… Его отец Вильгельм Карл Нессельроде ревностно служил Австрии, где потом работал Геккерн, и Голландии, которую Геккерн представлял в России. Мать будущего канцлера была еврейкой по происхождению и протестанткой по вероисповеданию. Карл родился на английском корабле в Лиссабоне, где его отец был в то время русским посланником. Он был протестантом и до конца жизни так и не научился правильно говорить по-русски. Благоволивший семейству Нессельроде император Павел I пожаловал юного Карла в свои флигель-адьютанты по флоту, а позднее перевел в сухопутные войска поручиком в конную гвардию, оставив при себе флигель-адъютантом; ни там, ни тут тот не обнаружил способностей к военной службе, что не помешало ему дослужиться в двадцать лет до полковника. Вскоре Карл был уволен из армии с пожалованием его с 13 июня 1800 года в камергеры. После смерти Павла он был отправлен в Германию. Во время пребывания там Нессельроде знакомится с Меттернихом, тогда австрийским посланником в Дрездене, и знакомство это скоро перерастает в тесную дружбу. Нессельроде смотрел на Меттерниха снизу вверх; последний казался ему гениальным дипломатом, а его советы — всегда спасительными; в свою очередь Меттерних умел хорошо пользоваться слабостями своего ученика. Основной мыслью всей дальнейшей российской политики Нессельроде был тесный союз с Австрией. 17 марта 1844 года, через 7 лет после убийства Пушкина, истинного патриота и сторонника русской национальной государственной политики, Нессельроде становится канцлером Российской империи, а ещё через пять лет — способствует вмешательству России в австрийские дела, с целью усмирения венгерского восстания.

Ответственность за дипломатическую изоляцию России и поражение в Крымской войне в значительной степени падает именно на Карла Нессельроде.

Его супруга — графиня Нессельроде (урождённая Мария Дмитриевна Гурьева (1786 — 1840) — дочь министра финансов графа Д.А. Гурьева от брака с П.С.Салтыковой) в обществе была знакома с Пушкиным, а на свадьбе Екатерины Гончаровой (сестры Натальи Николаевны) с Дантесом была посаженой матерью жениха, которому покровительствовала и благоволила. Возможно, вовсе не зря именно графиню Нессельроде долгое время подозревали в сочинении анонимных оскорбительных писем в адрес поэта и называли её инициатором пасквильного «диплома», который в итоге привел к убийству поэта.

Сам Пушкин по воспоминаниям современников категорически утверждал: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Пушкин упоминал о бумаге и слоге письма. Однако, вероятнее всего, ему были известны и другие бесспорные детали, указывавшие на авторство анонимного послания…

Орудием убийства поэта был избран Жорж Дантес. Байка о том, что пулю поэта отразила оловянная пуговица — для наивных простаков. На убийце был бронежилет XIX века — стальная кираса, изготовленная для Дантеса в Англии специально по заказу барона Геккерна.

Геккерн никогда не состоял в браке и не имел детей. В 1833 году он познакомился с Жоржем Дантесом, сыном эльзасского помещика... В результате переписки с родным отцом Дантеса и личной встречи с ним Геккерн добился согласия на усыновление Жоржа. Соглашение на усыновление от короля Голландии было получено 5 мая 1836 года, Дантес принял имя Жорж Шарль де Геккерн Дантес. Для чего нужно было усыновлять взрослого детину 24-х лет — бабника и отличного стрелка? Да ещё — при живом отце? Что за спектакль? Для кого и для чего? Для прикрытия подлого и давно продуманного замысла: убийства русского гения.

ВЫЗОВ РОССИИ

Я уже сообщал о том, что в пушкинскую эпоху за дуэль в России полагалось наказание всем ее участникам: и секундантам, и даже жертвам дуэли, даже мёртвым. Однако император, не только не осудил, но наградил поэта (в лице его семьи) посмертно так, как награждают героев. И не только в финансовом отношении, но и в моральном. Сыновья Пушкина были зачислены в самое привилегированное училище России — Пажеский корпус. Это обстоятельство очень напоминает схожие ситуации советских времен. В советскую эпоху детей, оставшихся сиротами, принимали в суворовское или нахимовское училища. В тех случаях, если их родители погибли на служебном посту, исполняя долг перед Родиной.

В чём же дело? Закон Российской империи распространялся на всех её подданных и иностранных граждан, рассматриваемых, как частные физические лица. Однако, между кем и кем произошла дуэль? Пушкин Дантеса в январе 1837 года на дуэль не вызывал. Дантес Пушкина тоже не вызывал на дуэль. Вызов на дуэль исходил от господина Луи-Якоба-Теодора ван Геккерна де Бевервaарда, являвшегося на тот момент полномочным представителем королевства Нидерланды при российском императорском дворе! Посол иностранной державы вызывает на дуэль крупного российского

государ-ственного деятеля, имеющего чин, соответствующий в армии генерал-майору — чин камергера самого императора!

Посол, какие бы действия он ни производил, остается официальным лицом иностранного государства и под юрисдикцию другого государства подпадать не может ни при каких обстоятельствах. Ибо он — представляет иную, суверенную державу! Законы одного государства на деятельность другого распространяться не могут!

Оставим в стороне и причины дуэли, и все обстоятельства, этим причинам предшествовавшие. В данном случае эмоциональная составляющая событий будет только мешать суждению. Рассмотрим дело с юридической точки зрения, той самой, с которой, как глава государства и высшее должностное лицо страны, обязан был рассмотреть и рассмотрел его император Николай I.

Итак, посол иностранной державы (а в его лице — сама эта держава) вызывает на дуэль русского подданного, должностное лицо министерства иностранных дел России, дипломата, господина Пушкина. Камергера Его Величества! То, что он камергер, а вовсе не камер-юнкер, как напишут после, знали все. Это многократно подтверждается документами судебного дела по факту дуэли. Камергером именовали Пушкина и Дантес, и сам посол Геккерн, и секундант Пушкина инженер-подполковник Данзас, и командир кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд, и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин. Вызов на дуэль был составлен, оформлен и предъявлен официально — через секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, представлявшего французские интересы.

Таким образом, юридически участником дуэли с Пушкиным являлся не Дантес, а посол Голландии в Российской империи барон Геккерн! [xxiv]Лицо, не подлежащее российской юрисдикции. Более того: главное официальное лицо другого государства. А это значит, что дуэль Пушкина с Геккерном не могла рассматриваться в рамках уголовного права Российской империи. Российского подданного господина Пушкина вызвало на поединок западноевропейское королевство Нидерланды! Его интересы в этой схватке по поручению полномочного посла королевства представлял французский подданный Жорж Дантес. Вот он, как частное лицо, не имел на это никакого права! И его за согласие участвовать действительно следовало судить.

Имел ли право Пушкин отказываться от дуэли в сложившейся ситуации, когда подобный отказ неминуемо был бы расценен европейским сообществом не как частное дело неких господ, а как моральное бесчестье России перед враждебными агрессивными действиями иностранного государства? Ибо сам по себе официальный вызов — это агрессия! Всё, что писалось или говорилось между всеми участниками конфликта до момента предъявления Пушкину официального голландского вызова на дуэль — действительно можно считать частными делами, но только не сам роковой вызов, составленный виконтом д'Аршиаком по поручению посла!

Умнейшему, образованнейшему человеку в России, обладавшему глубокими историческими, литературными и дипломатическими знаниями, гениальному поэту и дешифровальщику хватило ума и способностей догадаться, что пасквиль исходит от иностранца, от человека высшего общества и дипломата. Кстати, помимо чести и достоинства самого Пушкина, пасквиль порочил и имя русского императора, честь его супруги императрицы Александры, честь самого рода Романовых, нарочито выставляя их на посмешище перед всем светом. Принимая вызов западноевропейского посла, Пушкин шёл к барьеру, защищая перед всем миром не

только и не столько своё имя, сколько честь русского народа, честь всей России.

Вызов Пушкину, оформленный таким образом, фактически (и юридически тоже) являлся официальным вызовом России! И поэт геройски принял его. И вышел на дуэль. И принял пулю, летевшую в Россию, заслонив её своей жизнью. "Не щадя живота своего" — в переносном и буквальном смысле…

Конечно, если бы Пушкин был сдержанней, расчетливей, не испытывал бы эмоций, то, наверное, дуэль бы всё-таки не состоялась. И Пушкин как человек остался бы жить. Но поэт без эмоций невозможен, поэт, не испытывающий сильных чувств — вообще не поэт. А значит, Александр Сергеевич погиб именно потому, что был поэтом, великим поэтом. Пушкин как обычный человек — погиб, но как поэт — беззащитный и ранимый, остался жить вечно.

P. S. ПУШКИН И БАРОН ГЕККЕРН

Юридически участником дуэли с Пушкиным являлся посол Голландии в Российской империи барон Геккерн. Вызов на дуэль был составлен от его имени, оформлен им и предъявлен официально — через секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, представлявшего французские интересы. Таким образом, фактически Пушкина официально вызвало на поединок королевство Нидерланды — в лице своего посла!

Кто-то может спросить: неужели сам Пушкин действительно не вызывал Дантеса на дуэль? Отвечу: вызывал, но гораздо раньше — в ноябре 1836 года, впрочем, спустя несколько дней он же и отозвал свой вызов, о чем уведомил всех, кто был в курсе событий. И более от Пушкина никому дуэльных вызовов не исходило.

Сам факт вызова на дуэль русского подданного официальным представителем иностранного государства имеет право трактоваться минимум как недружественные действия против другого государства, имеющие отчетливые признаки агрессии! Официальный представитель иностранного государства не имеет права распоряжаться жизнью подданного другой страны, устраивать над ним расправу или угрожать ему смертью. А ведь вызов на дуэль — это и есть угроза смертью.

Против каких враждебных России сил вышел к барьеру русский поэт? Какова предыстория трагической ситуации и каковы истинные мотивы трагедии? Почему голландский посланник действовал через французского, а не голландского секретаря? Заметим, что титул барона Геккерн получил не в Нидерландах, а во Франции — от Наполеона Бонапарта, за верную службу оккупантам своей страны.

Предыстория такова.

В декабре 1794 г. французские войска во главе с Шарлем Пишегрю вторглись на территорию Голландии. Оккупационная армия заняла Западную Фландрию и в январе 1795 года вступила в Амстердам, где при помощи кавалерийской атаки по льду захватила голландский флот, вмёрзший в него в заливе. Независимости Нидерландов был положен конец провозглашением «дочерней» для Франции так называемой «Батавской республики». Впрочем, уже в 1806 году Наполеон росчерком пера превратил «республику» в королевство, назначив туда королём своего брата Луи. А в 1810 году он же включил это «королевство» напрямую в состав Французской империи, окончательно уничтожив видимость существования Нидерландов. Впрочем, Голландия, как государство, всё это время и так фактически не существовала.

В мае 1799 года английское правительство предложило императору Павлу I принять участие в освобождении голландцев от французской оккупации. Император Павел, суворовские войска которого в это время уже сражались против французов в Северной Италии, охотно согласился на предложение Англии. Кстати, именно в это время в России родился Александр Сергеевич Пушкин, будущий визави голландского посланника с тёмным наполеоновским прошлым.

20 августа того же года голландский флот без боя сдался англичанам. 8 сентября русские войска овладели Бергеном, однако, встреченные контратакой превосходящих сил и своевременно не поддержанные британцами, были выбиты оттуда со значительными потерями. 21 сентября в результате сражения войска французского генерала Брюна отступили к Бевервейку. Здесь, 25 сентября, он был снова атакован союзниками. И снова вся тяжесть боя легла на русские войска, которые понеся колоссальные потери, заняли в итоге лишь нескольких селений. Из-за несогласованности действий союзников, а также трусости и откровенного предательства англичан десантная операция в итоге закончилась неудачей.

В ноябре остатки русской армии покинули голландские берега. Вероятно, Пушкину были известны подробности той истории, поскольку, находясь в Одессе, он встречался с Алексеем Самуиловичем Грейгом, руководившим с 1816 по 1830 годы Черноморским флотом. Участник Отечественной войны Алексей Самуилович в 1799 году командовал 64-пушечным кораблём «Ретвизан», крейсировал с союзной эскадрой в Северном море у острова Тексель, участвовал в высадке русского десанта в Голландии и во взятии крепости Гельдерн.

Через 15 лет, в ноябре 1813 года русские войска под командованием молодого генерал-майора Александра Христофоровича Бенкендорфа, того самого, с которым Пушкин столько общался впоследствии, освободили голландцев от французской оккупации и вернули независимость Нидерландам... В истории наполеоновских войн армейская операция под командованием Бенкендорфа стала блестящим примером сочетания средств войны и тайной дипломатии ради достижения больших успехов малой кровью.

Вполне естественно, что Вильгельм I, получивший в результате этих событий из русских рук корону Нидерландов (включавших, кроме нынешней Голландии ещё и Бельгию с Люксембургом), ориентировался на освободителей своей страны.

Наследник престола, будущий король Вильгельм II женился на сестре русских императоров Александра и Николая — Анне Павловне. Кстати, оду на их свадьбу тогда написал ещё молодой, но уже приобретающий популярность лицеист Александр Пушкин:

”Принцу Оранскому”

Довольно битвы мчался гром,
Тупился меч окровавленный,
И смерть погибельным крылом
Шумела грозно над вселенной!

Свершилось... взорами царей
Европы твердый мир основан;
Оковы свергнувший злодей
Могущей бранью снова скован.
Узрел он в пламени Москву —
И был низвержен ужас мира,
Покрыло падшего главу
Благословенного порфира.
И мглой повлекся окружен;
Притек, и с буйной вдруг изменой
Уж воздвигал свой шаткой трон...
И пал отторжен от вселенной.
Утихло всё. — Не мчится гром,
Не блещет меч окровавленный,
И брань погибельным крылом
Не мчится грозно над вселенной.
Хвала, о, юноша герой!
С героем дивным Альбиона
Он верных вел в последний бой
И мстил за лилии Бурбона.
Пред ним мятежных гром гремел,
Текли во след щиты кровавы;
Грозой он в бранной мгле летел
И разливал блистанье славы.
Его текла младая кровь,
На нем сияет язва чести:
Венчай, венчай его, любовь!
Достойный был он воин мести.

В благодарность за написание этой торжественной оды своему будущему супругу Анна Павловна вручила юному Пушкину золотые часы... Все эти и многие другие детали говорят в пользу того, что история и дела нидерландского королевства, как и реальная деятельность его посланника в России барона Геккерна, безусловно, были хорошо известны Александру Сергеевичу. Отзывая свой вызов Дантесу в ноябре 1836 года, Пушкин предупреждал посла о том, что «…не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение», он согласен только на конкретных условиях. Но именно эти условия и были Геккернами явно нарушены в январе 1837-го: не иметь контактов с его семьей и не компрометировать его жену.

Геккерн смертельно боялся именно разоблачения, потому что это стало бы концом всем его планам. Вероятнее всего у Пушкина имелись веские доказательства того, что посол Нидерландов в России не только занимается деятельностью, противоречащей интересам России, но и противоречащей интересам Нидерландов! Шпион, действующий не только против страны, в которой находится, но и против страны, которую представляет — плохая реклама для дальнейшей карьеры где-либо.

А то, что Пушкин разоблачать умеет быстро и эффективно, Геккерн убедился давно: на примере краха всей польской агентурной сети в Европе, о котором я уже сообщал в прежних работах. Самым же ужасным для барона было именно то, что Пушкин в своём письме никого на дуэль не вызывает! Это могло означать лишь одно: решение о разоблачении врага принято. И счет идёт на часы! Как остановить неминуемый позор? Голландский

посланник моментально делает вызов камергеру Его Величества. Иного выхода у него нет.

Пытаясь замести следы своего участия в убийстве, барон Геккерн-старший 11 февраля 1837 года писал барону Верстолку: «Жоржу (Дантесу) не в чем себя упрекнуть; его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода; ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир». Насколько лжив и подл был голландский посланник ясно даже из одного лишь этого отрывка. Ему ли было не знать, что вызов на дуэль исходил именно от него, а не от Пушкина или Дантеса!!! Ему ли было не знать, что именно он направил на дуэль Жоржа вместо себя, зная о том, что Жорж — прекрасно обученный профессиональный стрелок и поэтому вряд ли промахнется…

В реальной ситуации вокруг дуэли, судя по его действиям, лучше всего тогда разобрался император Николай I. Пушкину посмертно были оказаны почести, полагавшиеся не дуэлянту, а национальному герою. Вдове Пушкина сроком до её повторного замужества была учреждена пенсия в размере 10000 рублей. За счет казны была погашена ссуда А. Пушкина в размере 45000 рублей. Для того, чтобы напечатать сочинения поэта, его вдове было выдано единовременное пособие в размере 50000 рублей, с условием направления прибыли от продажи на учреждение капитала покойного. Два сына А. Пушкина были зачислены в самое привилегированное училище России — Пажеский корпус. И каждому из них была начислена пенсия в размере 1200 рублей в год. Все долги Пушкина были погашены государственной казной. Дантес был выдворен из страны. Геккерн потерял место посланника в России.

Прощание с героем по распоряжению императора происходило в Конюшенной церкви. На тот момент это была придворная церковь императорской семьи, и в ней нельзя было просто так заказать отпевание любому человеку. Вот что пишет Жуковский: "О Конюшенной же церкви (об отпевании Э.А.) нельзя было и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение". Прощаться с Пушкиным помимо родственников, друзей поэта и петербургской интеллигенции, помимо министров и генералов России, пришли главы почти всего дипломатического корпуса Санкт-Петербурга за исключением двух заболевших, прусского посланника и барона Геккерна, зачинщика дуэли, которого, естественно, не приглашали.

Удивительно, но история Конюшенной церкви имеет некие духовные пересечения с историей жизни Пушкина. После дуэли ещё живого Пушкина привезли в дом Волконских на Мойке и послали за священником из ближайшей церкви. Им оказался придворный протоирей Петр Дмитриевич Песоцкий, настоятель именно Конюшенной церкви, который прошел с русской армией войну 1812 года, был награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте, орденом св. Анны 2-й степени, возведен с потомством в дворянское достоинство. Как свидетельствуют очевидцы (княгиня Е.Н. Мещерская, князь П.А. Вяземский), отец Петр после исповеди Пушкина вышел от умирающего поэта со слезами на глазах и сказал: "Я хотел бы умереть так, как умирает этот человек!"

Именно в Конюшенной церкви долгое время находились привезенные некогда из Константинополя святыни: Образ Спаса Нерукотворного, Плащаница, шитая шелками и жемчугом, и икона Знамение. В 1828 году император Николай I брал Образ и Плашаницу с собой в турецкий поход. Тот самый, в котором участвовал и Пушкин.

По преданию, в 1814 году, Образ Всемилостивейшего Спаса из Конюшенной церкви находился с императором Александром I при взятии союзными войсками Парижа. Молодой Геккерн начал свою карьеру во французском Тулоне — чиновником голландского флота, базировавшегося там Он верно служил, но не оккупированным Нидерландам, а врагу России и Нидерландов — Наполеону, и дослужился до титула барона его Империи. Когда-то 1812 году юный Александр, глядя, как уходят сражаться за Родину русские полки, мечтал быть в их рядах… Он погиб от пули, выпущенной французом по наущению того, кого благословил Наполеон.

Похоронили Пушкина там, где он хотел быть похороненным и где купил для этого место: в Святогорском Свято-Успенском монастыре рядом с могилой матери.

Ссылки к статье

[i] Анатолий Клепов, статья "Жизнь и смерть Александра Пушкина. Мифы и реальность" http://www.mk.ru/blogs/posts/zhizn-i-smert-aleksandra-pushkina-mify-i-realnost.html

[ii] Сергей Крюков, статья "Александр Сергеевич Пушкин: гениальный поэт и ... разведчик", 6 июня 2012, http://maxpark.com/community/901/content/1370285

[iii] Василий Андреевич Жуковский. Письмо Пушкину Л.С. 15 февраля 1837 г. http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/zhuk4/zh4/zh4-602-.htm

[iv] История Российской империи. Внешняя политика Николая I. http://www.rosimperija.info/post/348

[v] Воронин В.Е., Перевезенцев С.В. статья "Николай I" http://www.portal-slovo.ru/history/35595.php?ELEMENT_ID=35595&PAGEN_1=2

[vi] Б. В. Томашевский, статья "Десятая глава „Евгения Онегина" http://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l16/lit-379-.htm

[vii] Григорий Фридман, статья "Гончаровы, Пушкин и непонятные письмена", журнал-газета "Мастерская", 14 июля 2013

[viii] Чудинов В.А. «Тайнопись в рисунках Пушкина» Издательство «Поколение» 2007

[ix] Сергей Крюков, статья "Александр Сергеевич Пушкин: гениальный поэт и ... разведчик", 6 июня 2012, http://maxpark.com/community/901/content/1370285

[x] Аркадий Сушанский – статья «Поэт невидимого фронта», газета «Секретные материалы XX века» выпуск №19 (405) за 2014 год.

[xi] Наталья Масленникова. Наследие Пушкина на Балканах. Сайт Сербска.ру 13.09.2008 http://srpska.ru/article.php?nid=9440&sq=19&crypt=

[xii] Александр Сергеевич Пушкин. История Пугачева. Исторические статьи и материалы; Воспоминания и дневники. http://lib.ru/LITRA/PUSHKIN/p7.txt

[xiii] Анатолий Клепов, статья "Жизнь и смерть Александра Пушкина. Мифы и реальность" http://www.mk.ru/blogs/posts/zhizn-i-smert-aleksandra-pushkina-mify-i-realnost-2.html

[xiv] Аркадий Сушанский – статья «Поэт невидимого фронта», газета «Секретные материалы XX века» выпуск №19 (405) за 2014 год.

[xv] Пётр Лебедев. «Тайный режиссер гибели Пушкина» http://www.proza.ru/2008/05/19/304

[xvi] В.И.Даль «Смерть Пушкина» http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/vs2/vs2-264-.htm

[xvii] Наумов А. В. «Следствие и суд по делу о дуэли А. С. Пушкина». Учебное пособие. – Хабаровск; 1989 г

[xviii] Анатолий Наумов. «Посмертно подсудимый» издательство Litres, . 2013 г

[xix] Черейский Л. А. « д'Аршиак. Пушкин и его окружение» http://feb-web.ru/feb/pushkin/chr-abc/chr/chr-0205.htm *Пушкин*, XVI, по указ.; *2. Соллогуб*, с. 364, 366 и др.; *3. Карамзины*, с. 167, 169, 173; *4. Дуэль*, по указ.; *5.* Временник Об-ва друзей русской книги, Париж, 1932, т. III, с. 154—158; *6. Письма посл. лет*, с. 362—363.

[xx] Гребенников В.В. статья «А.С.Пушкин и спецслужбы России» http://www.cryptohistory.ru/information/spushkin-i-specsluzhby-rossii/

[xx] вопрос о дуэли с Дантесом был решен 17 ноября: быть может, Пушкин так легко согласился исполнить просьбу Соллогуба именно потому, что в это время Дантес его уже не интересовал так сильно, а все его внимание перешло на Геккерна. http://coollib.net/b/221699/read Павел Елисеевич Щеголев «Злой рок Пушкина. он, Дантес и Гончарова"

[xx] Леонид Владимирович Выскочков, «Будни и праздники императорского двора», СПб, издательство «Питер» 2012г. http://thelib.ru/books/l_v_vyskochkov/budni_i_prazdniki_imperatorskogo_dvora-read.html

[xx] Ольга Николаевна. «Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны», 1825 – 1846. с. 206. http://www.dugward.ru/library/olga_nick.html

[xxi] вопрос о дуэли с Дантесом был решен 17 ноября: быть может, Пушкин так легко согласился исполнить просьбу Соллогуба именно потому, что в это время Дантес его уже не интересовал так сильно, а все его внимание перешло на Геккерна. http://coollib.net/b/221699/read Павел Елисеевич Щеголев «Злой рок Пушкина. Он, Дантес и Гончарова"

[xxii] Леонид Владимирович Выскочков, «Будни и праздники императорского двора», СПб, издательство «Питер» 2012г. http://thelib.ru/books/l_v_vyskochkov/budni_i_prazdniki_imperatorskogo_dvora-read.html

[xxiii] Ольга Николаевна. «Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны», 1825 – 1846. с. 206. http://www.dugward.ru/library/olga_nick.html

[xxiv] Письмо Геккерна Пушкину (из книги Павла Елисеевича Щеголева «История последней дуэли Пушкина») http://coollib.net/b/221699/read

«Милостивый государь! — писал барон Геккерен.— Не зная ни Вашего почерка, ни Вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст Вам это письмо, с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от Вас».

Начало письма неудачное и фальшивое. Геккерен пишет, что не знает ни подписи, ни почерка Пушкина, а тремя строками ниже, упоминая о письме с отказом от вызова, он говорит, что это письмо, писанное рукою Пушкина, налицо: значит, почерк и подпись Пушкина были ему знакомы, и удостоверяться в подлинности письма Пушкина от 26 января было делом лишним.

«Содержание письма, — продолжал Геккерен, — до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на подробности этого послания». — Но менее всего Пушкин хотел бы объяснений Геккерена! — «Мне кажется, вы забыли, милостивый государь, что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерену, принявшему его. Доказательство того, что я говорю, писанное вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов. Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккереном; прибавляю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки. Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечен и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может». — Под письмом, кроме подписи барона Геккерена, находится еще надпись Дантеса: «Читано и одобрено мною».

Из письма явно следует, что вызов исходит от барона Геккерна, а не от Дантеса. То же подтверждается и запиской Пушкина д'Аршиаку: «Так как г. Геккерен — обиженный и вызвал меня, то он может сам выбрать для меня секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю всякого, если даже это будет его егерь».

Анатолий Ливри. Ритуал. Стихи

Писатель, эллинист, философ, известный в научных и литературных кругах, бывший славист Сорбонны, а ныне преподаватель университета Ниццы — Sophia Antipolis, доктор наук того же ВУЗа, автор четырнадцати книг, увидевших свет в России и Париже.

Его философские работы получили признание немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно публиковались по-немецки и по-французски ницшеведами Гумбольдского Университета (альманах Nietzscheforschung с 2006 по 2012 гг. «Akademie Verlag»), а также берлинским издателем Ницше «Walter de Gruyter Verlag», с 2013 г. Публикующим работы Анатолий Ливри в Nietzsche-forschung. Открытия Анатолия Ливри-эллиниста признаны «Ассоциацией Эллинистов и Латинистов Франции Guillaume Budé», и с 2003 года издаются её альманахом, редактируемым нынешним деканом эллинистики Сорбонны профессором Аленом Бийо (Alain Billault).

В стихах Анатолия Ливри происходят постоянные переключения реальности и иной, затерянной в потусторонности, жизни. Поэтому его строки не стоит воспринимать как наносной и неестественный слой перемешавшихся знаний. У него есть свое звучание, смелость изысканных старообрядческих линий, подтекст, явно не рассчитанный на массового читателя. И это отнюдь не всё: в лабиринте минотавровых стихотворений плавится нечто новое. И звучание этого нового близко. Заговорит ли поэт другим языком, нам неведомо, но пока мы можем удивляться его свободным поискам, совершенно отличным от поисков большинства современных поэтов.

Где истоки этой странной поэзии, этого внутреннего бурлящего вулкана? Личностный феномен или трансформировавшиеся знания его как слависта, отзвуки научных работ по Набокову, Ницше, Еврипиду, Пушкину, Мандельштаму, или, скорее всего, сплав всех знаний и поэтического жизненного взгляда?

Вокруг Анатолия Ливри постоянно происходит водоворот разных событий. В статье кандидата литературоведческих наук Флоранс Кролак, Сорбонна (6.000.000 жертв Холокоста, Сорбонна и Анатолий Ливри) говорится, что «крупнейшие профессора западных и российских ВУЗов: Гумбольдского Университета, Канады, МГУ... пишут предисловия к его книгам, преподают их, направляют исследования своих аспирантов, занимающихся творчеством и биографией Ливри. Публикации открытий самого Ливри и издания работ о нём имели место в МГУ, в «Guillaume Budé» (Париж), в «Walter de Gruyter» и в «Akademie Verlag» (Берлин), в «Perseus Verlag» (Базель) и проч.

Тем любопытнее для культуролога анализ происходящего вокруг Анатолия Ливри, и не только с Набоковым. Бывший преподаватель русского языка и литературы Сорбонны — а место им в Сорбонне было получено в возрасте

двадцати восьми лет, — был вынужден отказаться от определённых акций, обыкновенных в низшем эшелоне постсоветской славистики на Западе. Получив место исследователя на другом факультете Сорбонны, Ливри стал мишенью этого самого нижнего уровня славистики. Этот любопытный культурологический феномен общедоступен и снова и снова оказывается на всеобщем обозрении после каждой новой публикации книг Ливри: в настоящий момент — публикаций продолжения «Набокова ницшеанца» в Петербурге и появления самого «Набокова ницшеанца» по-французски в издательстве при Сорбонне.

Другой любопытный факт: Ливри — поэт и прозаик — не публикуется более в журналах России и эмиграции, потому что имена редакторов некоторых известных журналов оказались втянуты в (историю) непубликации Ливри–писателя. По этому культурологическому сюжету — Анатолий Ливри, его жизнь и творчество — предстоит писать монографии, как в России, так и на Западе. Даже если представители самого нижайшего эшелона славистики — из тех, кто основал микро-СССР в западных университетах, существующий там до сих пор, — вряд ли согласятся с приданием гласности их брежневских рефлексов. Тем любопытнее для современного культуролога вивисекция на живом теле выживших на Западе космогнатусов».

В статье Рене Герра (Профессор Ренэ Герра, "Совьетизация французского Университета или французские слависты против Анатолия Ливри", Вестник Университета Российской Академии Образования, 2015 — 1, ВАК, Москва, с. 52-56), французского филолога-слависта, который основал и возглавил Ассоциацию по сохранению русского культурного наследия во Франции, звучит такое резюме слависта и автора Анатолия Ливри — «Анатолий Ливри, философ, прозаик, поэт, университетский преподаватель не имеет права искать во Франции места доцента: пять раз ему отказали в этом праве его прямые конкуренты — малограмотные слависты Франции! Один из примеров их вопиющей безграмотности: профессорам славистики Франции неизвестно, что в 1917 году столица России носила название Петроград, как это написал в своей монографии Марк Вайнштейн, французский профессор-славист. С тех пор, как Анатолий Ливри получил докторскую степень, его конкуренты не только отказывают ему в праве искать место французского доцента, — более того, информация, собранная в процессе этого официального конкурса используется для клеветы на Анатолия Ливри, как во Франции, так и за границей. Моя статья — это призыв к социологам, философам, литературоведам всего мира обратиться к теме коррупции и кумовства, царящих во французской славистике. Дело Анатолия Ливри — публичное. Материалы Дела Ливри можно найти не только в парижской прессе, но и у его адвокатов, готовящих процесс в Государственном Совете Франции. Я сам являюсь зачинателем ливриведения во французском Университете, издав серию статей в российский и западных академических изданиях».

Мне кажется, история Анатолия Ливри свидетельствует лишь о великой странности не литературы и учёных, а в целом — нравах, царящих в любых околонаучных кругах. И лишь Время — великий ревнитель справедливости — поставит верную оценку всему происходящему.

Ирина Жураковская

Полярные грайи

К Стокгольму ... нет, не стая каторжан,
Нахрапистых уродов-удальцов,
Бредут три тени, мифом сбиты в клан,
Пуще меня понюхавши щипцов

За преступленье lèse-banalité.
Их ножки хилы, слепота мила,
Их дряхлость — грёз грядущих брит-мила,
А глаз в горгоной сшитой калите.

Заворожён, гляжу на тени те,
И проницая будущего волны,
Я дрожью подражанья исцелённый,
Кагор Вальгаллы чую в высоте.

Великие курганы Уппсалы, 21 декабря 2014

Утро Заратустры

Октябрь золотом струится между пальцев
Червонной жатвою, дождавшейся пера,
Наружу рвущейся, как варвары с утра
На копья смерторадостных данайцев.

Я будто царь-злодей да чудотворства раб,
С пактоловой косы сбирающий каменья...
Тю-ю... самородки! И утроив рвенье,
Голоднейший тиран свой множит сыпкий скарб.

Осенний Люцифер, прийди в мои объятья!
И сиганув сквозь рай, я Солнцу младший сын:
Покамест мир трепещет и един,
Мой жреческий восторг — разумности проклятье!

Великие курганы Уппсалы, 15 октября 2014

Ночь в Санкт-Морице

Среди горячечных сугробов
И разночиния тоски
Ты Терпсихорой на мыски
Встаёшь, почти довольна пробой

Моих орфических затей,
Шальных, как Дух Святой с людской заплатой.
Так, сведав про растрату Поликрата,
Галилеянин, навязав сетей,

Чертям пророчит новое корыто:
Паденье ангела Денницы, знать, забыто,
И вняв экономических идей,
Морочит Бог и бесов и людей.

Сия любовь коммерции послушна,
Хмельна, как ночь, и на ночь мне верна.
Ты победил бы, душка-Сатана,
Не будь под утро мне с тобою... скучно.

Санкт-Мориц, 12 января 2010

Чикагский цирюльник

В Америке, — что некогда спас Бог,
Страннейший странник сцены, зверь и хор,
Вождь пьяных старцев, синагог
Древнейший зиждитель и вор

Нимф, фавнов, дев да Терпсихор,
Ваятельниц терпчайших плясок, что плеснут
На брег мужскою рифмой, (тут из пор
Планета с шипом шепчет: «Савланут,

Милашка Саваоф! »), — я сбрил усы!
Отныне струйный мёд втечёт всё ж в рот,
Преград не встретя в киселе косы,
И миновав крутой млековорот.

Чикаго, 4 июня 2007

Ритуал

Полубезумен бег бургундских облаков,
Распластанных ничком и с бахромой из злата,
В заплатах солнечных. Ужимкой хлыщеватой
На пеню бренную пеняю из тисков

Оголублённой скупости Урана, что из стана
Статнейших статских демонов луны:
«Пошто пьянишь мне душу, старины
Языческой потворствуя язъянам?!»

Но небеса ответствуют молчаньем.
Их чаянья шальны, как пена кипрских скал
И евнушески злы. Лишь ярый ритуал
Надчеловеческим потворствует желаниям.

Тоннер, 15 октября 2013

Ирина Чайковская. Убить Мармеладова. Повесть

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист. Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публиковалась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах «Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Любовь на треке» (2008), «Какие нынче вревремена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидании чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс» (2013), "Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик» (2014). Живет под Вашингтоном.

Сегодня вы впервые читаете эту повесть о школе, написанную мною много лет назад и в свое время не напечатанную.

История была самая банальная. Рукопись была послана в журнал Юность, ее вынули из потока, на нее пришла восторженная внутренняя рецензия. И ее чуть было не издали.

Но потом как-то так закрутилось, в общем — не напечатали, сказали, что "автор неизвестный", но, возможно, причина была в остроте темы...

Короче — смотрите сами.

Автор.

Эвелина Александровна

В пятницу был урок по Достоевскому. Не знала, как заинтересовать девятиклассников книгой, которую сама недолюбливала. Середина там вообще не читаема, до конца дотянуть сложно, а вот начало очень динамичное, захватывающее. Увы, мои девятиклассники не могли или не хотели одолеть даже начала. До конца книгу прочли только двое: Сулькина и Ашурлиев. Тогда я сделала так, вычленила из романа главную проблему и поставила ее перед девятиклассниками. Словом, вот вам топор — и... Ни у одного рука не дрогнула. Подумаешь, какая-то старушонка, она сама кого хочешь, со света сживет. Сами же говорите, что сестру свою, Лизавету, поедом ела. Правильно Раскольников рассуждал: такую убить, что вошь, все равно. Без нее на земле больше света будет, а Раскольников на старухины деньги сделает много хорошего для себя и для других. Воскобойников, всеобщий любимец, даже договорился до того, что возвел Раскольникова в революционеры, а

старушку назвал эксплуататоршей, наживающейся на народном горе. Таких в революцию много поубивали. Воскобойникову зааплодировали, видно было, что большинство думает так же. Да и странно было бы иное. Правнуки революции, они воспитаны в иной — не христианской — морали, человеколюбие в духе Достоевского им чуждо. Тогда я привела, как мне казалось, решающий довод, во всяком случае все 20 лет моей педпрактики он был решающим. Одно убийство влечет за собой другое: убив процентщицу, Раскольников затем убивает безвинную Лизавету. С торжеством оглядела класс — Лизавета в эксплуататоры явно не подпадала: была трудящейся. Но рано было торжествовать. Ашурлиев, наш "историк", возразил: "Лес рубят — щепки летят", в Октябрьскую тоже были безвинные жертвы, революция — дело кровавое, не хочешь испачкаться — не суйся. И точно поняв, что сейчас я скажу о необоснованных сталинских репрессиях, поспешно добавил: "Я говорю о ленинском периоде, тогда тоже были безвинные жертвы, такие как Гумилев».

Не сразу нашлась. Наверное, Ашурлиев прав, в революцию не могло не быть случайных жертв, и с Гумилевым пример убойный, в десятку. Класс ждал. Пробормотала что-то такое: «Вы, Ашурлиев, говорите о революции, это ситуация экстремальная, а как быть в мирные дни — тоже с топором?»

Продолжил спор уже не Ашурлиев, а Воскобойников. Выступил с позиции террориста: "Классовая борьба все время идет, без перерыва. Если Раскольников в мирные дни совершил революционный поступок, — честь ему и слава". Урок съехал с накатанного пути, ушел куда-то вбок.

Наверное, я покраснела: класс притих — ждали, что я скажу. Голос мой дрожал, когда я говорила: "Достоевский, уважаемый Андрей, был отнюдь не террорист, он был гуманист. Он не принимал мировой гармонии, если в ее основе лежит слезинка хоть одного ребенка. Что же это за социализм, если он замешан на крови невинных?» Чувствовала, что покрываюсь потом, слишком проблематично для сегодняшнего дня было мое высказывание.

Встала Аня Безуглова и говорит: "Значит, вы порицаете наш строй? Да, были жертвы, были неоправданные репрессии, но социализм, несмотря ни на что, был построен. Вы с этим не согласны?" Класс загудел — я поспешила согласиться: "Я-то согласна с тобой, Аня, но Достоевский не согласен, ему такой социализм, который для своего торжества идет на человеческие жертвы, не нужен. Понимаете, Аня, Достоевскому — не нужен». Тогда Аня громко сказала: "В таком случае, нам ваш Достоевский не нужен. Нам — не нужен!"

Ей зааплодировали, и Аня, воодушевленная поддержкой, выкрикнула: "И я считаю, что не только таких, как старуха-процентщица нужно убивать, убивать нужно и таких, как пропойца Мармеладов. Жену довел, дочь сделал проституткой — на водку ему не хватало. От таких все зло. Неужели некого жалеть, кроме алкоголиков?"

Класс выказал свое одобрение громкими криками и хлопками. Вновь поднялся Воскобойников. Походкой спортсмена он прошел к доске, стер с доски написанную мной тему урока и написал крупными четкими буквами УБИТЬ МАРМЕЛАДОВА! Потом повернулся к классу и провозгласил: "Кто за то, чтобы убить Мармеладова, прошу поднять руки!" Вырос лес рук, некоторые подняли сразу две руки. Мне стало не по себе. Негоже отдавать Достоевского и его жалкого героя на растерзание девятиклассникам.

Внезапно я поймала на себе взгляд Оли Сулькиной. Ты что-то хочешь сказать, Оля? Оля замялась, потом все-таки встала.

— Я бы не стала убивать Мармеладова, убивать вообще нельзя, никого. Я не могу убить даже таракана.

Поднялся гвалт.

— Ну уж и таракана...

— Мармеладовы — балласт общества.

— Эти пьяницы вообще не люди, если от них избавиться, общество станет богаче и духовно здоровее.

Оля молчала, нужно было вмешаться, так как крик становился нестерпимым, и к нам мог заглянуть кто-нибудь из администрации. Я сказала: "В Древней Спарте убивали старых и немощных. Значит, они были правы?»

— Не смешивайте разные вещи, — снова возник Воскобойников, — старые свое отработали, у них заслуженный отдых, пусть себе живут, общество их содержит за их же счет. Вот как с больными быть... Если он на работе травму получил или инвалидом стал, то все в порядке, ну а когда с рождения, — тут он задумался, — пусть его родственники содержат или есть такие интернаты, за счет родственников, ведь для общества они бесполезны. Но у них, по крайней мере, есть оправдание, они не по своей воле стали иждивенцами. А какое оправдание у Мармеладовых? Мармеладовых нужно убивать как бешеных собак, — заключил он.

— Жалеть их нечего и пачкаться тоже не стоит, я бы придумал такую машину, наподобие гильотины, чтобы без вмешательства человека, а то есть у нас слабонервные, даже таракана убить не могут — он взглянул в Олину сторону, — общество должно следить за физическим и моральным здоровьем своих членов, иначе оно выродится, как в Древнем Риме.

Оля молчала.

Я сказала: "Как раз в Древнем Риме некоторые категории людей ценились ниже тараканов: гладиаторов или христиан скармливали зверям и хищным рыбам.

— Про Древний Рим беру назад, сказал — не подумал, я вообще в древней истории плохо ориентируюсь. Гладиаторов они неправильно скармливали, они могли еще людям послужить, сильные и молодые, а насчет христиан... способ, конечно, жуткий, но по существу...

— Ты фашист, — сказала Оля. Самый настоящий.

— Не наклеивай ярлыков, прошли времена.

— Фашистам тоже ничего не стоило загнать в душегубки стариков и женщин, даже детей. Фашисты тоже говорили, что блюдут чистоту расы, освобождаются от балласта. Для них вся еврейская нация была балластом.

— Вот это ты в точку. Потому и разговор затеяла и фашистом назвала. И теперь это всем понятно, — Воскобойников победно оглядел класс. Я поспешила вмешаться.

— Мы отвлеклись, речь шла о Мармеладове, причем здесь фашизм? Скоро конец урока и давайте подведем итоги. Есть два мения, первое: Мармеладовы обществу не нужны, их можно безболезненно уничтожить, и второе: уничтожать никого нельзя, даже тараканов, хотя они и бесполезны, а порой вредны. Я рада, что у нас получилась интересная дискуссия.

Как раз вовремя прозвенел звонок. После урока ко мне подошла завуч и от имени районных методистов попросила провести открытый урок-семинар по Достоевскому. "У вас хорошо получается общение с классом, а нам так необходима сейчас педагогика сотрудничества". Семинар предполагается в апреле, когда по программе уже будет Толстой.

Андрей Воскобойников

Если меня кто спросят, зачем я хожу в школу, не знаю. Кем хочу стать (все-таки в 9-ом классе учусь) — тоже не знаю. Интересы разные, но все не в школе. Люблю спорт, занимаюсь борьбой в секции, ритмичную музыку тоже люблю, но не фанат, не люблю ВСЕ школьные предметы и презираю ВСЕХ школьных учителей. Читаю мало, времени нет, вечерами — компания или телевизор. Не пью, не колюсь, компания — свои же ребята из класса — Витька и Ванчик. Втроем мы большая сила, да и в отдельности. Витька думает о военном училище, усиленно занимается спортом, Ванчик ходит со мной на борьбу. У меня мама, она работает переводчицей. Языки мне не даются, да и не хочется заниматься такой ерундой. Больше всего на свете мне хочется прославиться. В какой области — все равно. Я об этом пока не сказал ни одной живой душе. Завидую кому? Высоцкому. Вот у кого всенародная любовь, хочу, как он, только, видно, кишка тонка.

В пятницу на литературе валял дурака. Хотелось позлить нашу Эвелинку. Роман Достоевского я держал в руках года два назад, мама всучила, сказала: "Обязательно прочти". Тогда я не знал, что он в программе. Роман мне понравился, если честно; но показался очень длинным и запутанным, я бы его сократил вдвое и внутри почистил, удалил бы лишних персонажей: например, друга Раскольникова, потом этого, врача, что ли, вся линия сестры и матери — лишняя, Свидригайлов ни к чему, Лужин и подавно, я бы оставил только Раскольникова, Мармеладова и Соню. Нет, Мармеладов — тоже ни к чему, только Раскольников и Соня. И все — больше никого. И рассказал бы об их любви, а, как мне смутно помнится, там в принципе у Достоевского никакой любви-то и нет, одни взаимные препирательства и унижения, мне это не нравится.

Я скажу сейчас одну вещь. Я никому об этом не говорил, а сказать надо. Или не надо? Скажу. Наедине с собой буду честным. Я знаю, для чего я хожу в школу: чтобы Её увидеть. Она не знает, думает, я ее ненавижу или просто безразличен... Это хорошо, терпеть не могу унижаться, быть в чьей-то власти. Я никогда ей не скажу, хотя...

Это было год назад. Наши шефы обеспечили нам экскурсию в музей советского искусства на Крымской набережной, дали автобус. Здание мне не понравилось, какое-то неуютное; буфет, правда, там ничего. Но я не об этом. В автобусе, а это был не "Икарус", а самый обычный, отечественный фургон, я сидел с Витькой, рядом с водителем, против движения (все от этих мест отказываются, а мне они нравятся). Напротив сидели Анька и Сулькина Ольга. Мы с Витькой разговаривали. Девчонки молчали. Я случайно взглянул на Ольгу. Она о чем-то задумалась, волосы трепал ветерок (дело было летом), у нее было такое выражение лица, такое... мне даже страшно стало, и я отвернулся. Но тут же захотелось взглянуть еще раз. Взглянул, конечно, но не сразу, иначе Витька или Анька бы заметили. У мамы над кроватью висит репродукция в овальной рамке. Ей подарили ее к какому-то празднику сослуживцы. Я долго не понимал, что они нашли такого в этой картинке, и зачем мама ее повесила над своей кроватью. Тем более там изображена голая баба. Ну не баба — женщина. Но женщина редкой некрасивости и не молодая, во всяком случае, лет уже за тридцать. Поначалу эта картинка меня только смешила и ужасно смущала, потом привык, перестал замечать. И вот тогда, в тот день июньский, когда я вдруг посмотрел на Ольгу и увидел ее такое лицо, я вспомнил... эту женщину с картины. Вроде немного похоже. Но странно: там некрасивость, а здесь не то чтобы красота — Ольгу красивой не назовешь, — но что-то похожее, не знаю, как сказать.

Прошлым летом наша бывшая классная решила нас повозить по музеям, благо она одинокая старая дева, ей не на ком упражнять свои материнские чувства. Сначала повезла нас в тот самый музей советского искусства, от картин ничего не осталось в памяти: я как-то невнимательно их рассматривал — все думал, откуда у нее такое выражение и почему я раньше не замечал.

Через день нас повезли на экскурсию в Клин. Там кто-то из композиторов родился, кажется, Чайковский. Витька взял с собой камеру, дорогую. Я взял гитару. А потом получилось так: Витькина камера перекочевала ко мне, а он что-то тренькал на гитаре в окружений девчонок (играть он не умеет, снимать тоже). Ольги в этой компании не было. Я увидел ее в саду, она качалась на качелях. (Мы уже осмотрели музей, и классная дала нам личное время). Я ужасно обрадовался, что Ольга одна. Разговаривать мне не хотелось. Я вынул камеру и стал снимать Ольгу. У меня ничего плохого не было на уме, когда я стал ее снимать. А она… Она соскочила с качелей, как бешеная и, проходя, сказала мне: "Дурак". Я так и не понял, чего она взбесилась. Наверное, подумала, что я хочу посмеяться. А я теперь часто кручу эту пленку. Ольга на качелях, смеется чего-то, а потом выражение лица меняется становится злым и надменным, как у рассерженной королевы. Да, я забыл, женщина на той картине — королева, хоть и без одежды, она греческая королева, а автор — большой художник — то ли Леонардо да Винчи, то ли Рафаэль, кажется, Рафаэль.

На уроке по Достоевскому мы снова с Ольгой цапнулись. Как-то так выходит, что мы постоянно цапаемся, и она, понятно, считает меня врагом № 1. Столкнулись опять на национальной почве. У Ольги есть одна черта, вообще она робкая, но чуть дело касается ее национальности… я это давно заметил, еще в пятом классе: мальчишки завладели журналом, стали смотреть, кто у нас еврей (я лично в этом не участвовал). Ну, конечно, Борька Вайсман, это все и без журнала знали (он потом переехал). А у Ольги в журнале написано — русская, хотя отец у нее — еврей и по отчеству она Натановна. Дурацкое отчество. Вообще я к евреям отношусь средне. Как говорится, дыма без огня на бывает, не зря о них все время идут разговоры и по радио, и по телевидению, и в газетах. В общем, если мне нужно будет идти в разведку, то я не хотел бы идти с Яшей. По-моему, мужчины у них ненадежные, слабые, зато женщины ничего, я вообще люблю брюнеток. Ольга не совсем брюнетка — она в рыжину, мать у нее русская — Валентина Ивановна. Тогда в пятом классе, когда Макака (он тоже потом ушел) начал дразнить Вайсмана "еврей, еврей", Ольга оказалась рядом и треснула Макаку по голове учебником. Кажется, она тогда сказала, что тоже еврейка (хотя в журнале значилось "русская", это я помню). Сейчас в конце журнала, где написаны данные о национальности, у Ольги стоит "еврейка". Значит, она выбрала национальность отца, когда паспорт получала. Мне это непонятно. Вчера на уроке по Раскольникову Ольга назвала меня фашистом и кажется даже обвинила, что будь моя воля, я бы стал убивать евреев! Дурочка! Убивать никого нельзя, иначе схлопочешь от правосудия. На уроке я для понту говорил, чтобы подразнить Эвелинку.

Аксиома: какую бы чушь на уроке ни нес, отметку получишь отличную, в крайнем случае, хорошо. Для Эвелинки главное, чтобы мы высказались. Давно поняла, что заставить нас читать эту муть — бесполезно, теперь заставляет "высказываться". У девчонок даже уже распределено, кто на следующем уроке будет выступать, ребята предпочитают помалкивать, или, как я, несут какую-нибудь чушь (кому охота свои истинные мысли выставлять?)

23 февраля будет дискотека, у меня есть один план, там дальше посмотрим. Возможно, я ей намекну, еще не решил окончательно.

Сегодня на уроке биологии смешной случай. У нас все учителя недоделанные, но биологиня (Крыса) уже просто какая-то чурка, а не человек. В пятом-шестом классах мы ее побаивались: могла наорать, вызвать родителей, записать в дневник. Сейчас нас этим не запугать, на крик отвечаем грубостью или насмешкой. Экзамена по биологии нет, поэтому родители не очень беспокоятся по поводу ее жалоб (а она взяла за моду звонить всем подряд родителям насчет поведения). Ее любимцы в кавычках — наш класс. Меня она особенно обожает (взаимно). Приходит она на урок, ощупывает стул, как обычно, прежде чем сесть (Ванчик ей довольно регулярно вставляет гвозди в задницу). Села, в этот раз не было гвоздей. Начала опрос. Меня ее повадки прямо бесят, пытаюсь сдерживаться, но иногда прорывает, начинаю смеяться. Опять попал к доске (одну пару уже имею), стою мучаюсь, у нее уши, как локаторы, слушает, кто будет подсказывать, чтобы поставить сразу две пары (её любимая отметка). И тут Ванчик решил использовать отвлекающий маневр. Ухитрился подкинуть ей на стол одну штучку. Она как увидела — позеленела, взвизгнула: "Что это такое?» И показывает, дура, всему классу. Мальчишки смеются, девчонки (некоторые) засмущались; Ольга, кажется, даже не поняла, что это такое (мне у доски всех видно). Под шумок Ванчик мне подсказал пару фразок, для трояка, правда, трояка все равно не получилось.

Крыса обозлилась очень, выбежала из класса, побежала жаловаться директору. Если передать, что происходило на уроке, никто не поверит, особенно взрослые. Когда она взвизгнула: "Что это такое?", "интеллигент" Ашурлиев сказал: "Вы что — впервые видите? Это же необходимейшая вещь, особенно сейчас, когда Спид. Повсеместно рекомендуется проводить с молодежью профилактические беседы!» Крысу аж зашатало, даже слова вымолвить не могла, но скоро пришла в себя: "Ашурлиев, Воскобойников и Милых (это Ванчик), в субботу пусть придут ваши родители". И выбежала из класса. Надо прикинуть, чем это мне грозит. Ну, во-первых, я абсолютно невиновен, штучку не я принес, не я кидал. Во-вторых, то, что я был в это время у доски, — вовсе не говорит о моей причастности. И самое главное, директор не любит Крысу, всячески пытается ее выжить из школы, так что вряд ли примет ее сторону. Так что я со спокойной душой играл с Ванчиком в морской бой до конца урока.

Оля Сулькина

В эту пятницу был урок литературы по "Преступлению и наказанию". Роман я прочитала летом, и он мне не понравился. Наверное, Достоевский не будет моим писателем, хотя о нем много говорят все вокруг. Думаю взять в библиотеке "Братьев Карамазовых", если, конечно, удастся. Папа считает, что это лучшая вещь Достоевского. На уроке опять схлестнулись с Дядей, так я называю Воскобойникова. Вообще его называют кто как, чаще не обидно: боксер, чемпион, супермен — все клички подчеркивают его силу, хорошие физические данные. Девчонки в классе все поголовно в него влюблены. Особенно страдает Анюта, она недавно даже стихи начала писать на почве неразделенной любви. Я читала — очень посредственные, в духе Э. Асадова. Я такие терпеть не могу, но сказать так прямо не решилась. Не хватает силы воли и обыкновенной честности. Аня избрала меня поверенной своих сердечных дел; по-моему, у нее тут свой расчет, я для нее идеальная наперсница. Мы с Воскобойниковым друг друга недолюбливаем, поэтому у

нее, она считает, есть право говорить мне о том, какой он хороший и как я его не понимаю. А мне эти разговоры чем-то неприятны, я чувствую перед Аней какую-то вину, она сама чего-то не понимает. Ведь Воскобойников... не знаю, может быть, я и не права, может, мне это кажется… я очень мнительна, потом мои вечные фантазии. Да, внешне это напоминает отчуждение, недружелюбие, так оно и было… до одного случая, так мне, по крайней мере, кажется.

Начну издалека. Я очень одинока, Аня считает себя моей подругой, но по-настоящему мы не близки, я дружбу понимаю иначе, ведь я с Аней не откровенна, смотрю на нее свысока. Самый близкий мне человек — мой отец, но об этом после. Одиночество порождает мысли, я много думаю, мечтаю, фантазирую. Я мечтаю, как встречу Его, точнее, он меня разыщет, как капитан Грэй. В этом я не современна. Но что во мне такого особенного, чтобы Он мною заинтересовался? Сама себя считаю умной, но умная женщина мало ценится. Могу я понравиться кому-нибудь просто так, с одного взгляда? Хорошо бы это проверить. Эти мысли бродили в моей голове прошлым летом, когда Нина Петровна возила нас на разные экскурсии.

Как-то мы поехали на Крымскую набережную. Экскурсия была ужасная, для детсадовцев, мимо Шагала мы пробежали рысцой, зато остановились возле Чепцова и услышали пересказ содержания картины "Сельская ячейка", отец так и не поверил, что я говорю правду, когда я рассказывала. Но не в этом дело. В автобусе по дороге в галерею Анька уселась напротив Воскобойникова, я, естественно, рядом с ней. Дядя с Витькой не обращали на нас внимания. И тут мне пришло в голову... а что если "влюбить" в себя этого красавчика, этого кумира девчонок, разбившего Анькино сердце. Я стала смотреть в окно и выражение лица у меня было, по моим понятиям, как у Леонардовой Моны Лизы. Я изо всех сил старалась удержать это выражение как можно дольше, не отвечала на Анькины вопросы, совсем "отрешилась", мои губы сложились в загадочную полуулыбку, улыбку Джоконды. Кому-нибудь, кто бы меня увидел в тот момент, я могла бы показаться сумасшедшей, поехавшей, уколовшейся. Наверное, Витька так и подумал, он человек примитивный, а с Дядей что-то произошло, я это кожей чувствовала. Он по-новому меня увидел, он заинтересовался. Я ликовала, внутри у меня что-то поднималось. Неужели это в самом деле я? Такая таинственная, загадочная, похожая на мечту художника. Я видела себя его глазами, и это придавало мне значительности.

На обратном пути в автобусе поднялось что-то невообразимое» — долгая и нудная беготня по унылым музейным залам требовала разрядки, никому не сиделось на месте, ребята и девчонки сбились в кучу. У Витьки был портативный магнитофон с "металлом". Визг девчонок мешался с какофонией звуков (ненавижу металл!), шофер посмеивался, классная поджимала губы, но не вмешивалась, понимая, видно, что стихию не остановить. И вот тут-то Анька оказалась на коленях у Дяди, присела, дурачась, а потом так и осталась. Девчонки фыркали, мальчишки острили, на лице Андрея читалось: "Пожалуйста, раз тебе так этого хочется". Я стояла рядом, прислушивалась к шуткам, старалась не смотреть на Аньку и Андрея. Мне было хорошо-хорошо. Ведь я понимала, что больше всего на свете Андрею бы хотелось, чтобы на коленях у него сидела не Анька. И я дала себе страшную клятву никогда в жизни не уронить себя, не унизить в себе ту таинственную женственность, которая сегодня во мне проснулась.

Кажется, Печорин говорил, что воспоминания имеют над ним большую власть. У меня то же, я коплю воспоминания. Мне все кажется, что когда-нибудь, в старости, я буду жить этими минутами прошлого. Не хочется ду-

мать о старости, о смерти. У меня есть такое чувство, что каждый человек подсознательно ощущает, какой срок ему назначен, и развивается соответственно этому сроку. Я развиваюсь очень медленно, мало понимаю жизнь, совсем не ориентируюсь в бытовых вопросах, всего боюсь, страшно суеверна и дика. Может, в этом залог, что жизнь моя будет долгой?

Вот еще одно из накопленных воспоминаний. Опять связано с Дядей. Июльский полдень, легкий ветерок и мое платье в белый горошек, в первый раз надетое. Я качаюсь на качелях, в душе звучит музыка, только что она звучала на самом деле, так как дело происходит в усадьбе Чайковского. Рядом Аня, она раскачивает меня изо всех сил, я смеюсь, смеюсь — качели действуют на меня как поднятый палец на смешливого человека. Вдруг откуда-то словно из-под земли появляется Дядя. В руках у него камера, он направляет ее прямо на меня. Ветерок треплет мое легкое платье, юбка развевается, а глупому мальчишке только того и надо, он садится на корточки, выбирая нужный ракус. Нахал с невинным лицом. Осаживаю качели и останавливаюсь. Иду прочь, не оглядываясь. А сзади слышится Анькин голос: "Андрюша, теперь меня!" Неужели будет ее снимать? Загадываю: "Если будет, значит я все напридумала, вовсе он мною не интересуется" и слышу: "В другой раз, пленка не моя, а Витькина". Походкой принцессы Береники я удаляюсь.

Сегодня на уроке биологии безобразная сцена. Все смеются, а мне хоть сквозь землю провалиться, так стыдно за то, что происходит. После уроков завуч посоветовала мне провести собрание насчет поведения некоторых мальчиков. Я сказала, что подумаю. Учиться не интересно, единственное желание в течение школьного дня, поскорее бы все это кончилось. Девять школьных лет воспринимаются мною как сплошная каторга, хорошо тем, у кого есть отдушина, занятие "для души". У меня есть. Я рисую. Это у меня от отца. Отец — научный сотрудник в институте, но всю жизнь увлекался рисованием. Все стены нашей "двухкомнатки" увешаны его работами. Картины моего отца очень странные. Раньше, когда я была маленькая, он рисовал как все люди, в реалистической манере. Нам с мамой нравилось, что на картинах отца мы узнаем и нашу улицу, и наш дом, и деревья под окнами. Отец устроил себе мастерскую на пустующем чердаке нашего дома, помещение маленькое и неудобное, с крошечным запыленным окошком; отец называет его "моя мансарда".

Раньше я с восторгом следила, как работает отец, считала его талантом. Теперь он уже не молод — 50 лет, как художника его никто не знает, да и манеру он поменял как-то резко, я не успела привыкнуть. На его картинах какие-то крошечные существа, словно из другого — игрушечного мира, они живут по своим законам, а точнее пребывают в вечной неподвижности на фоне ярких драпировок. Такой живописи я не понимаю, и она меня раздражает, так же, как и маму. Правда, мама считает, что Натанчик впал в детство, а я думаю, что отец погнался за модными течениями в современной живописи. Это так на него не похоже. Вообще он человек глубокий. Так вот о моем рисовании — рисую я цветы. Это моя главная и любимая тема. Причем цветы не мертвые — сорванные, а как бы растущие на грядках, в лесу или в поле. Ужасно не люблю букетов, цветы в них раненые и умирающие и даже пахнут гнилью.

Мама считает, что мне нужно идти в художественное училище, отец протестует, говорит, что моих данных недостаточно. Там видно будет. Пока ясно, что я — четко выраженный гуманитарий. Меня интересуют литература и история, но только не как школьные предметы — учите от сих и до сих, ос-

тальное не входит в программу. В программу не входит как раз самое интересное. Летом прошлого года у меня была одна незабываемая встреча. Мы с папой в августе поехали в дом отдыха. Мама осталась дома, она плохо себя чувствовала, решила отсидеться в Москве, поближе к поликлинике. Мы с папой заметно выделялись из толпы отдыхающих — отец и дочь, чинно гуляют и беседуют, не участвуют в шумных увеселениях, сторонятся компаний.

Как-то отец решил съездить в Москву, проведать маму, ему не хватало долгих разговоров по телефону вечерами. И вот я осталась одна на целый день. Дни стояли теплые, солнечные, в воздухе было растворено ожидание чего-то радостного, неожиданного. После завтрака я читала в беседке. На звук шагов подняла глаза. В нескольких шагах от меня стоял очень высокий мужчина в странной шляпе, сделанной из газеты. "Тутанхамон", — представился он, — поклонившись. Действительно, его шляпа походила на головной убор Тутанхамона. Я поняла, что назначенное на сегодня приключение начинается. Я большая трусиха и всего боюсь, в доме отдыха полно пьяных и прилипал, но туг у меня даже мысли не возникло, что он из этих. Простая рубашка в клетку, сильная худоба и очки — это был человек интеллигентный. А Тутанхамон — это так понятно, самое трудное для всех — начать разговор.

Тутанхамон продолжал: "Вы читаете Диккенса, это меня удивляет, неужели современная молодежь интересуется писаниями слезливого старичка?»

Я сказала, что взяла Диккенса из любопытства; если быть до конца честной, причина была в том, что одна английская рок-группа назвалась именем диккенсовского героя — Юрай Хип, и я, хоть и не фанатка рока, решила как-нибудь на досуге заглянуть в "Давида Копперфильда", о котором слышала от мамы.

Я поинтересовалась, откуда Тутанхамон знает, что за книгу я читаю, ведь титульного листа он видеть не мог. На это Тутанхамон ответил, что за те несколько часов, что находится на территории здешнего дома отдыха, успел пересмотреть все содержимое местной библиотеки, что ничего стоящего здесь нет, да и быть не может, и что собрание сочинений Диккенса большой ценности для массового читателя не представляет и посему его можно встретить и в здешней избе-читальне. А узнал он книгу по ядовито зеленой обложке.

Он замолчал, молчала и я. Я редко нахожу, что сказать, при встрече с незнакомыми людьми. А он, казалось, что-то обдумывал. "Хотите, юная леди, я немного расскажу вам о вас?» — спросил он вдруг.

— Обо мне? Что же вы можете обо мне знать? — О, я ведь не зря отрекомендовался Тутанхамоном, небольшая толика египетской мудрости и ясновидения перешла ко мне какими-то не вполне понятными путями. Он засмеялся. Я поняла, что он шутит.

— Думаете — шучу? Вы — молодая особа, шестнадцати лет, с ярко выраженными гуманитарными наклонностями, мечтательная, не очень современная, при этом весьма привлекательная, но это к слову. Любите и умеете рисовать, подумываете о художественном вузе, но еще ничего конкретно не решили. Новая молодежная музыка вам не по вкусу, вы предпочитаете классику, в чем-то даже из чувства противоречия; школа, юная леди, не может вас увлечь из-за своей скуки и скудоумия, вас привлекают книги. Любимые поэты Блок и Мандельштам, писатель — Булгаков. Итак, что я не угадал?

Я рассмеялась: "Почти все угадали, кроме некоторых деталей". Признаться, о Мандельштаме я только слышала, но стихов его не читала. Поэзия мне очень близка, последнее время открыла для себя испанскую поэзию, но назвать любимого поэта ... это бы меня затруднило, не сумела бы я назвать и

писателя. Булгакова, стыдно сказать, я до сих пор не читала. Всего этого я не сказала, неудобно как-то сознаваться в своей "серости".

Все это время Тутанхамон стоял довольно далеко, полуприкрытый зеленью. Когда я засмеялась, Тутанхамон приблизился и присел на скамейку со словами: "Стало быть, я не зря преодолел свою природную робость, вы именно то, что я предполагал". А дальше... дальше он начал говорить и говорил без передышки весь день до вечера. Мы сидели на скамейке, потом гуляли по аллеям, выходили за территорию, снова возвращались. Про обед забыли, за ужином папа удивлялся моему неожиданному аппетиту. Тутанхамон в это время уже ехал на электричке в Москву — он вырвался в Дом отдыха всего на один день, приехал к своим знакомым, но весь этот день провел со мной, юной леди, не читавшей Манделъштама и Булгакова, в чем я ему в конце концов созналась.

Олег Николаевич — так его звали — обещал дать мне почитать их книги. Человек он — необыкновенный, начитанный, разбирается и в литературе, и в кино, и в живописи. Он немного странноват, из породы "чудаков", такие не должны нравиться. Он филолог, работает в институте, за эти несколько часов я, пожалуй, узнала больше о литературе, чем за все школьные годы. Некоторые его взгляды меня буквально поразили, так смело он говорил о вещах, над которыми я не привыкла задумываться. Например, о революции. Он считает, что это не метод, ссылается на Достоевского. Достоевский — предмет его исследований. О нем он тоже много говорил, мне запомнилось, что он сказал: "Одного не понимаю — его отношения к полякам и евреям". Тут я поспешила сказать, что отец у меня еврей и сама я тоже считаю себя еврейкой, — я вдруг испугалась, что он скажет что-нибудь не то, не зная, кто перед ним. Но он, оказывается, понял. И сказал, что вклад евреев в русскую и в западную культуру безмерен; тут он начал перечислять имена, многих я никогда не слыхала и о половине не подозревала, что и они — тоже, например, композитор Бизе. Олег Николаевич — настоящий русский интеллигент, вел он себя очень сдержанно, даже слегка церемонно, но втайне я понимала, что весь этот всплеск красноречия был бы невозможен, если бы я ему немного не нравилась.

Когда мы прощались, он поглядел мне в глаза: "Знаете, на кого вы похожи? На женщин с картин Рембрандта. Гордитесь, юная леди!" Я дала Олегу Николаевичу свой телефон, и он обещал позвонить.

Аня Безуглова

В прошлом году я распрощалась с Веткой, моей подружкой. Она отвалила в ПТУ, учиться на телефонистку. Совсем девочка сбрендила. Её уход я понимаю так: захотелось птичке на волю. Ну, и парней там много, нравы легкие — все курят, пьют и кое-что еще делают. Ветка такая, ей главное, какое она впечатление произведет, чтобы шмотки были модные, краска импортная, чтобы все девчонки вокруг завидовали. Давно мы что-то с ней не встречались, интересно бы послушать, что она еще отколола.

В прошлый раз рассказывала, как ее угощали в ресторане какие-то полублатняги. Описала свой наряд, закуску, импортное видео, кое-что еще пыталась рассказать, да я слушать не стала, бесстыжая девка стала, ужас! И как только ее родители дома держат! Хотя она с родителями совсем не считается. Тетя Клава говорила моей мамаше, что Ветка ее избивает, требует денег. И даже приводила какого-то из своей компании на ночь — неужели правда? — это в смежной-то комнате, кошмар!

Себе желаю никогда не быть такой, как моя бывшая лучшая подруга Вета Воробьева. Моя самая большая мечта — полюбить хорошего человека и чтобы он меня полюбил. Чтобы была семья, а не как у моей мамаши. Многие девчонки в наше время думают, что никакой любви нет, что все это выдумали Пушкин и прочие писатели. Я могу привести свой пример, есть любовь. Я, например, люблю. И не скрываю. Потому что это не как у Ветки — любой подойдет. Пока моя любовь без взаимности, не обращает он на меня внимания. Хотя я ничего себе девушка, одеваюсь тоже неплохо: мамаша — закройщица, в лепешку расшибается. Но я упорная и знаю: за счастье надо бороться.

В пятницу у нас урок был по Достоевскому, по-моему, я очень удачно высказалась, и мысли у нас с Андреем похожие. Он тоже против пьянства и пьяниц. Такие, как он, не выпивают, он сильный, волевой, не то что какой-нибудь размазня Витька Гладков или эта скотина Милых. А чувство у меня к Андрею еще с детского садика. Я тогда была очень крупным ребенком, а Андрей, наоборот, мелким. Я его опекала, помогала одеваться и играли мы иногда вместе, правда, когда подходил какой-нибудь пацан, Андрюша быстренько на него переключался. А я ревела. Не любила играть с девчонками. Кажется, у меня уже тогда было это чувство, что Андрюша — мой и никто больше не имеет на него права. Очень боялась, что Андрея отдадут в другую школу, какую-нибудь с уклоном, но отдали в ближайшую, как и меня. Правильно, какая разница, где учиться? Сейчас все школы одинаковые, учиться везде неинтересно. Я, например, хожу в школу через силу и исключительно ради общения — с девчонками потрепаться, новости обсудить, себя показать. В этом году мамаша собственноручно сшила мне форму, так что я не выгляжу такой уродиной, как большинство наших девчонок в формах фабричного пошива. *У* меня пепельно-желтые волосы (я их слегка взбиваю), зеленоватые глаза, хорошая кожа, щеки я румяню, но не очень сильно. Однажды Крыса вперилась в меня, а потом вдруг говорит: ″А — ну пойдем!" — хотела тащить к умывальнику, так я ей и позволила, но неприятно; глаза я в школе не мажу, хотя, как Ветка говорит, с накрашенными глазами и распущенными волосами я похожа на Пугачеву. Я не против — Пугачева мне нравится, она не эта преснятина Ротару, в ней есть огонь и любовь к выдумкам. Вообще в нашем классе все девчонки любят Пугачеву, а к Леонтьеву что-то охладели в последнее время, слишком стал дерганый, был такой лапочка — видно, вышел в тираж. А Пугачевой, когда ее на всю страну ославили в газете и по радио, мы с девчонками (я, Катя Прохорова, Ирка Хвостова, Танька Яковлева) письмо написали, чтобы не тушевалась, мы с ней, ее поклонницы из девятого. Эх, до чего же я ей завидую! И почему меня мамаша в музыкалку не отдала! Голос — у меня неплохой, фигурка вполне (лучше, чем у Пугачевой, — это точно), музыкальная школа буквально в нашем дворе. Да мамаша всю жизнь чего-то боится, например, что в компанию попаду, так и музыкалки испугалась. Когда человек один ребенка воспитывает, у него психология деформируется. У меня будет нормальная полноценная семья, двое детей — девочка и мальчик, девочка будет похожа на Андрея, а мальчик — на меня, и назову я его тоже Андреем. У детей будет отдельная комната, а не как мы с мамашей в шестнадцати метрах вдвоем, у нас коммуналка; вечером я уложу детишек спать, в детской горит ночник, в соседней комнате тихо работает телевизор и Андрей просматривает газеты, а у меня на душе так хорошо-хорошо.

У Андрея характер, конечно, не сахар. В пятом классе учитель математики со злости швырнул его портфель в угол, а Андрей побледнел и громко сказал: "Сволочь". Меня прямо дрожь забила. Но ничего — обошлось. Правда,

двойку по поведению он схлопотал. Анна Андреевна, Андрюшина мать, тогда приходила в школу, я стояла под дверями учительской и слышала, как она говорит нашему директору что-то об уважении к личности ребенка. Чего захотела: у нас Эдуард Павлович, физкультурник, подзатыльники направо и налево раздает (правда, малышам), а Крыса как только ни обзывается (мы ей давно уже не спускаем). Я мамаше ничего про школу не рассказываю — учусь — и ладно, не хуже других, даже активисткой считаюсь (помощник комсорга, член комитета комсомола школы, ответственная за атеистическую работу, бригадир на шефском заводе — вон сколько нагрузок). У меня шутка, что я свои нагрузки солю. Больше с ними и нечего делать. Андрей тоже в активе, по сравнению с прочими ребятами, он прямо комсомольский вожак, ребята у нас пассивные. Андрей отвечает за спортивную работу, Витька Гладков и Ванька Милых — его помощники. Они трое от нашего класса участвуют в школьных и районных соревнованиях.

Что Андрей нашел в Витьке и в этой скотине Милых — непонятно. Витька все посмеивается — чего ему не смеяться? отец полковник, сплошной импорт, японские магнитофоны, видео: в пятом классе я у него на день рождении была. Нам бы с мамашей такие апартаменты! В прошлом году купили Витьке кинокамеру. Правда, ею больше Андрей пользуется.

Летом нас Нина Петровна, бывшая наша классная, возила на экскурсию, так Андрюша меня с Ольгой снимал. Неприятная эта Ольга, и чего я с ней дружу, — сама не понимаю.

Задавака, все-то она знает, обо всем имеет свое мнение, напускает много на себя, а сама-то: ни рожи, ни кожи. У них и отец такой же — маленький, горбатенький, и как только Валентина Ивановна решилась судьбу свою с ним соединить, с таким уродцем. К тому же он слегка чокнутый. Рисует какие-то детские картинки, как ясельный. Я у Ольги была несколько раз — живут бедновато; книг, правда, много, но мебель старая, типовая, никакого комфорта, а на столе хрустальная ваза с яблоками. Ясно, что для понта. Мы с мамашей яблоки в момент съедаем. Мамаша у меня не старая — тридцать семь лет, еще думает устроить свою судьбу, только вот площадь у нас маленькая, и с соседкой. Мамаша у меня очень легковерная и несколько раз уже нарывалась. Мне Ивановна, соседка, все уши прожужжала: "Мать твоя такая-сякая, мужиков водит».

У нас с мамашей было несколько разговоров на моральные темы, и Ивановна перестала зудеть; видно, мамаша как-то по-другому устроилась. Когда мамаша нарывается, она становится плаксивой. А меня обида забирает, я на нее ору, как это она опять влипла, есть же какие-то средства, вот и Ветка говорит про таблетки, мамаша только плачет еще горче, ей жалко неродившихся ребяток. Она вообще очень жалостливая, по субботам, я знаю, она ходит в церковь и ставит там свечки за убиенных. Мамаша моя родилась в деревне и жила там до 16 лет, в Москве она по лимиту, так что воспитана в старых понятиях.

Страх перед жизнью у нее патологический, оттого и в церковь ходит. А я, хоть и занимаюсь антирелигиозной работой, ничего не могу с ней поделать. Да, насчет моей антирелигиозной работы. В пятницу, как раз после концерта, устроенного на уроке биологии Ванькой Милых, Крыса меня подзывает и говорит: "Нужно собрать антирелигиозный штаб и отчитаться о проделанной работе". А я ей говорю, что работы никакой не было, так что собираться ни к чему. Она мне на это, что мое безответственное отношение к общественным обязанностям мне даром не пройдет и отразится на моей оценке по биологии, а я ей: "Наплевать, пусть отразится". Так мы препирались минут пять, наконец, она проблеяла: "Собери сведения, кто в нашей школе посещает

церковь, — это задание городского штаба". С тем и отвалила. Странный я человек, другой бы поддакнул, посмеялся про себя и ничегошеньки бы не стал делать — с какой стати? Кому нужно? Крысе нужно, пусть и делает, а про городской штаб она, наверняка, брехнула. А я по нашим временам прямо-таки сверхсознательная, да и Крысу мне временами жалко бывает. Все над ней издеваются, директор ее со света сживает, родители учеников на нее во все инстанции жалобы строчат, дома у нее ребенок бандитом растет без надлежащего надзора — это она сама нам говорила, а Крыса еще жива, еще двигается, даже иногда в хорошем настроении бывает. Разве какой-нибудь нормальный человек, после того, что на уроке творилось, вспомнил бы про антирелигиозную пропаганду? Да гори она синим пламенем! В общем я решила сведения собрать.

Только вот как это сделать? Прийти в класс и спросить: ребята, кто из вас верующий? Дураков нет. Короче говоря, в следующую субботу я пошла в церковь, соседствующую с нашей школой, подумала: может, увижу кого-нибудь из наших. Вообще-то в церкви я была и раньше, но в детском возрасте. Помню, мне стало плохо от сладкого какого-то запаха и духоты, и мамаша меня увела. А пение мне понравилось, и вообще было на что посмотреть — тут тебе и поп, и молящиеся старушки, и свечки передают туда-сюда. Но и страшно было тоже: все-таки я школьница, мне здесь не положено находиться.

В этот раз тоже было как-то неловко, все казалось, что старушки на меня косятся и перешептываются на мой счет, в общем пробыла я внутри минут десять, не больше, никого из наших не увидела (вот и хорошо, так и напишу в отчете) и выбежала почти бегом. И столкнулась на выходе с Катькой Прохоровой. Катька удивленно так на меня взглянула и испарилась, я не успела рта раскрыть. Выбежала я из церкви, остановилась у ворот — в себя прихожу, Катька же комсомолка, как же она может? Родители вроде у нее нормальные. Отец, правда, без ноги и выпивает, мать в садике работает, я у нее в группе была. Оглянулась, а на меня нищие смотрят, одна старушка крестится и тянет: "Девонька, подай ради Христа, подай ради Христа". Я вообще принципиально нищим не подаю, у меня и денег-то гривеник — на булочку в буфете, а тут от неожиданности стала в кармане рыться, все какие-то крошки попадались, так и не нашла ничего. И откуда у нас нищие? Вроде все работают, а кто не работает, — болеет или на инвалидности, — тот пенсию получает. Наверное, мало им перепадает, но на хлеб-то должно хватать. А эти с протянутой рукой, может, у них документов нет соответствующих? Или родственники все прикарманили? Раньше-то у меня таких мыслей не было, считала: раз нищий значит бездельник, работать не хочет, а тут... это меня Катька сбила, да и старушка больно жалостная, девонькой назвала.

В понедельник Катьки в школе не было, у нее здоровье слабое, и она день-два каждую неделю пропускает, к тому же в понедельник была контроша по истории, а во вторник на перемене я к Катюше подкатилась.

— Чего ты, Катька, в церкви делала?

— А ты?

— Я из любопытства.

— И я тоже.

— Тогда сделай доклад на антирелигиозную тему, что, мол, бога нет.

— Не буду.

— Почему?

— Потому что бог есть.

Я рот раскрыла.

— Так ты верующая? Катька подумала-подумала, посмотрела на меня с минутку и тихо так отвечает: "Да, я верующая". Ну и ну. Катька Прохорова из нашего класса — верующая.

После того раза в церкви я больше не была, с Катькой мы на эту тему не разговариваем, а Крысе я сказала, что верующих среди учеников нашей школы нет.

Сегодня у меня сшибка — районное соревнование медсестер, заседание антирелигиозного клуба и репетиция вечера, посвященного 23 февраля — у нас будет дискотека.

Когда я перечисляла свои школьные нагрузки, забыла сказать что я еще медсестра. Мамаша прочит меня в медицинское училище, а потом в институт, сама я пока не решила, но, наверное, попробую. Будешь врачом — будут у тебя нужные импортные лекарства, будут знакомые среди врачей — кто по горлу, кто по сердцу, кто по женским болезням. Мамаша, хоть этого не говорит, но я знаю, так думает. Прикинула, куда можно не ходить. На атеистический клуб? Но Крыса на этой неделе звонила к нам домой, говорила, что я безответственная, что грублю старшим, что могу получить тройку по биологии и так далее. Довела мамашу до слез. Мамаша пообещала, что клубом я заниматься буду и грубить перестану. После чего у нас дома был крупный скандал насчет того, какое право мамаша имеет вмешиваться в мою школьную жизнь и за меня ручаться. Мамаша опять захлюпала, и я сжалилась, обещала, что с Крысой все улажу. В общем, пошла в кабинет биологии. Поскорее отделаюсь и побегу на репетицию. А медсестры обойдутся без меня.

Крыса сидела расстроенная, уставившись в одну точку. Когда я зашла, она первым делом спросила меня: "Я что, очень плохо сегодня выгляжу?" Оказывается, директор сказал ей, что у нее нездоровый цвет лица, я ее успокоила, но выглядела она, действительно, хуже некуда. "Аня, — сказала Крыса, — ты себе не представляешь, как мне тяжело. Последние силы я отдаю школе, а получаю в ответ одни насмешки и неприятности, родители из 7 класса опять накатали на меня письмо в РОНО, а тут еще этот Центральный атеистический штаб, вынь и положь им список верующих, иначе они меня вгонят в гроб". Неужто и впрямь этот Центральный атеистический штаб существует? Крыса продолжала: "Ты Аня, знаешь, характер у меня не золото, но учитель я хороший, предмет свой знаю назубок и того же требую от своих учеников. А ученики ленивы и распущены, если в пятом классе они еще что-то делают, то в седьмом стараются или пропустить или сорвать урок, и управы на них не найдешь".

Мне это стало надоедать.

— Альбина Анатольевна, я на репетицию опаздываю!

— И ты, Аня, и ты меня предаешь! А я такого высокого мнения о твоих способностях к биологии. Тебе нужно их развивать. Я могу с тобой заниматься после уроков.

Я слушала в пол-уха, хотелось поскорее уйти. Насчет занятий, если не врет, стоит подумать. Вдруг решусь поступать в институт, без репетитора не обойдусь, а денег нет. А Крыса все тянула и тянула. Наконец, я не выдержала, встала и пошла к двери.

— Куда ты? — быстро проговорила Крыса, — мне НУЖНО с тобой поговорить, есть сведения, что у тебя мать — верующая. Я села.

— Какие сведения? Откуда?

— Из одного источника, я обещала не называть.

— Ну и что? верующая? Вообще-то она не верит, так иногда... И при чем тут это?

— Ты, Аня, успокойся, — тон был снова обычный, фальшиво ласковый. Про маму твою знаю только я, ну и еще тот человек, который информировал. Тебе это ничем не грозит, даже если раскроется. Подумаешь — мать верующая, в наше-то время! Плохо, конечно, что ты отвечаешь как раз за этот участок работы. В общем, будь спокойна, надейся на меня. А список верующих все же надо собрать, с меня требуют.

— Да нет у нас верующих.

— Ни одного?

— Ну, может, один...

— Кто?

И тут, не знаю, что со мной стало, я назвала Катьку Прохорову.

Эвелина Александровна

Опять с утра жуткие головные боли, все говорят про магнитные бури, может, и правда. А вообще никакие не бури, а просто старею, надо признаться. Кто-то когда-то сказал: после сорока уже под горку бежишь, словно тебя в спину толкают. Да, быстро время летит. На днях встретила своего ученика на улице, имя его забыла, а лицо помню.

Увидел меня — поздоровался. А то бывает — на другую сторону переходят, только чтобы не здороваться. Учитель сегодня словно черный монах для современников Пушкина.

Да, Пушкин. Не выходит из головы последнее время, что бы ни делала: "Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести". Как это он так просто сказал, совсем без жалости к себе, без горечи, уступаю место — и все. Он, Пушкин, уступает место Любому, просто потому, что таков закон природы, закон жизни. А во мне все восстает против этого закона, я не хочу его принимать, мне он кажется безжалостным и диким. Зачем уходить? Почему? А если уходить, то хотя бы знать, для чего все это.

Каждое утро молю Бога о здоровье мамы. И это от эгоизма. Не представляю себе жизни, когда мамы не будет. Боюсь этого не пережить. На сердце ужасная тоска. И не с кем ею поделиться. Мама на пенсии, занята своими делами, гуляет, готовит, соблюдает режим и вообще ее нужно щадить. В школе ни одного мыслящего человека, даже просто не затюканного, мало-мальски интеллигентного. Со всеми сохраняю видимость дружеских отношении, но общаться не хочу ни с кем. Ученики тоже не радуют. Кажется, единственное их желание на уроке — скорей бы он кончился, то и дело смотрят на часы, спрашивают друг у друга, сколько времени, ждут звонка, как избавления. Я настолько к этому притерпелась, что стала точно такой: то и дело взглядываю на часы и спрашиваю учеников, скоро ли звонок. Нам всем НЕ ИНТЕРЕСНО. Им — учиться, мне — учить. Я думаю, что и сны нам снятся одинаковые: родимая школа горит синим пламенем. И маленький штрих: с ведерком вокруг горящего объекта бегает только один человек — Директор, бегает с криком: "Там материальные ценности, материальные ценности". Увы, духовных уже давно нет.

Сегодня после урока ко мне подошла Оля Сулькина, комсорг, девочка очень способная, но довольно замкнутая, с какими-то своими идеями. Она сказала, что один ее родственник занимается Достоевским и мог бы вести литературный кружок на общественных началах. Я не знала, что ответить. С одной стороны, это не принято, и, конечно, Директор не разрешит, если узнает, с другой... Господа, как мне все надоело! Я сказала Оле, что в субботу после уроков я могла бы встретиться с ее родственником.

В субботу он пришел. Я предупредила Ольгу, чтобы она проводила его прямо в кабинет литературы, где он и разденется.

Первое впечатление было благоприятным: лицо строгое и умное, одет весьма скромно. Ольга сказала, что Олег Николаевич учился в нашей школе много лет назад, теперь он живет совсем в другом районе, на окраине, но наши места для него связаны с детством и юностью. Поэтому-то он... Пока она говорила, я пыталась вспомнить, откуда я знаю это лицо. Знаю — это точно. Наконец, в памяти всплыла фотография, вчера вечером мне под руку попался старый журнал, я его перелистала, наткнулась на какую-то странную поэму, которую когда-то благополучно пропустила. Перед поэмой был помещен портрет автора. Не дослушав Ольгу, я спросила: "Вы поэт?" Оля с удивлением на меня посмотрела: "Олег Николаевич работает в институте, я вам говорила".

А Олег Николаевич, замявшись, ответил: "Пишу немного".

— И печатаетесь?

— Тоже немного. Теперь Оля смотрела с удивлением на него. Значит, скрывал. И как странно сошлось, что именно вчера мне попался этот журнал.

— Ваша поэма мне не понравилась, точнее, я ее не поняла. Мне показалось, она не из жизни. Видимо, он не знал, что сказать. Я-то в простоте душевной считала, что у писателя всегда наготове что-нибудь едкое, хлесткое, чтобы отхлестать критиков.

— Это самый распространенный отзыв на мою поэму, но написать ее как-то по-другому в тот момент я не мог, так получилось. Он словно оправдывался. После паузы он продолжал.

— Я должен объяснить свое появление. Все просто. Кончал я педвуз, но в школе не работал ни дня. А, было время, мечтал. В институте учили нас плохо, но был там один преподаватель — Кудрявцев, он недавно умер, — он очень хотел, чтобы я пошел в школу.

Кудрявцев... у Кудрявцева и я училась... любимый профессор. Помню он всем парням на курсе говорил: "Обязательно идите к детям". Значит, он умер? Вслух я ничего этого не сказала, у меня возникла догадка, но сейчас невозможно было ее проверить, а спрашивать мне не хотелось. Мы разговорились. Говорили о школе, о литературе, о предстоящих уроках по Достоевскому, сказала я и о грядущем апрельском семинаре. Не провести ли его по теме, стихийно возникшей на уроке, — «Убить Мармеладова»? Олег Николаевич одобрил эту идею. — Убить Мармеладова, — повторял он. — Да, в этом что-то есть. Убить самого слабого, наиничтожнейшего, нищего духом... Для некоторых убить мармеладовых — значит очистить общество. Но тогда уж заодно, — он оживился, — возьмите и еще тему: "Убить Раскольникова". Тут ведь тоже есть свой смысл: как быть с человеком сильным, возможно, достигшим власти... Вот он совершил нечто бесчеловечное, следует ли платить ему той же монетой? Нужна ли расправа над ним? К чему это приведет?" — вот вопросы. И Олег Николаевич посмотрел сначала на Олю, а потом на меня. Оля радостно кивнула, а мне подумалось, что вопросы эти относятся уже не к Достоевскому... Стало темнеть. Кабинет литературы был бы довольно уютным, если бы его не безобразили стенды с перечнем литературы, обязательствами и прочей ерундой. Но в темноте стендов уже не было видно. Внезапно в классе зажегся свет. Это зашел Директор — он совершал свой ежевечерний обход школы. Значит, мы проболтали больше двух часов, и сейчас уже около пяти.

Наверное, в другое время я бы испугалась. Директор не терпит чужих в школе. Но тут после нашего такого хорошего разговора я почувствовала, что

раб в моей душе поднимает восстание. Я даже не привстала, а спокойно сказала: "Это родственник Сулькиной, он хочет нам помочь во внеклассной работе". И Директор удалился. Еще посидели минут двадцать, договорились снова собраться в следующую субботу, уже с ребятами. Оля с Олегом Николаевичем сели в троллейбус, а я пошла домой пешком. Было уже совсем темно, зажигались фонари, троллейбусы разбрызгивали талый снег и распространяли зловоние. По дороге мне надо было зайти в булочную, заглянуть в молочный, я сделала это автоматически, круг моих привычных мыслей разомкнулся. У меня появилась тема. Как приятно ее обдумывать, к ней подступаться... Кажется, я уже знаю, к чему приду в результате своих размышлений, но так не хочется торопить свои мысли, додумывать. Итак, сколько ему может быть лет? По виду — и тридцать, и сорок. Но скорее всего, все-таки сорок. Так. Или чуть меньше. Учился в нашей школе. Я тоже в ней училась. Следовательно, мы учились примерно в одно время, он чуть раньше, двумя или тремя годами. И в институте учились одном, и Кудрявцева слушали... Да. И вот я в школе, а он кандидат наук, печатает стихи ... нет, куда-то не туда заехала, хотелось что-то другое. Да. Почему он меня не узнал? Глупый вопрос. Сколько лет прошло, да и знакомы по-настоящему мы не были. Я ведь его тоже не узнала, только по фото в журнале. Значит, в следующую субботу он опять придет. Наверное, когда мама открыла мне дверь, она удивилась: у меня было хорошее настроение.

Теймур Ашурлиев

Все ждут сегодняшней дискотеки, дураки. Ходят слухи, что впервые не будут прогонять ребят "со стороны". Не верится что-то. Витек грозится предоставить общественности свой кассетник с импортным металлом. Черта с два. Даже если позволят, все равно что-нибудь такое скажут или сотворят, что настроение пропадет. В последнее время я все чаще стал задумываться над ЖИЗНЬЮ, и мысли мои невеселые. Я вот о чем. Каждый день читаю в газетах, слышу по радио страшные истории, одна другой ужасней, и все вокруг их читают и слышат... и продолжают жить. А как можно с ЭТИМ жить? Вот я хотел стать историком, с первого класса мечтал... а теперь... Закрываю глаза и вижу комнаты пыток: это пытают революционеров, подпольщиков со стажем, и кто пытает? Свои же! Как такое могло быть? Провокации, убийство миллионов невинных, доносы, пытки — в какой стране я живу? При каком строе жили мои родители? А национальная политика? Как могло случиться, что НИКТО не заступился за "малые народы", что я и мои сверстники НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ об этом преступлении? мой дед со стороны отца работал в госбезопасности, потом его самого взяли; что значит гласность для моей семьи, если отец привык молчать, молчал всю жизнь — на работе и дома — и уже иначе на может! Нет, я не буду историком, меня тошнит от всей этой крови и грязи. Я думаю так: Россия — это Азия, и развитие общества в ней идет по азиатскому типу (не решил точно — византийскому или китайскому), за моментом мнимой свободы в ней неизбежно следует новый вираж деспотизма и террора.

Это мои сегодняшние мысли, возможно, в чем-то они изменятся, хотя окружающая действительность не дает больших поводов к надежде. Вот возьмем Милых, ведь подонок! Вчера подошел и предложил поиграть вечером на биллиарде, есть и такса: рубль за час, а то еще видео можно посмотреть, это подороже, зато "с девочками". Противно, что он считает меня за своего.

Интересно, откуда у Милых импортная техника, родители у него на заводе работают. Скорее всего, техника Витькина, папочкиного сынка. Папочкин

сынок, подонок и боксер — вот цвет и лицо нашего класса, неразлучная троица. Ненавижу! Думаю, что и они меня — тоже... Милых делает обходной маневр, удочку закидывает — авось, клюнет жидкий хлюпик-интеллектуал восточных кровей. Хочет втянуть меня в свои "игры", а потом посмеяться, унизить; по морде вижу, что подлость задумал.

Сегодня на перемене опять подошел, дай конспект списать. Списывает, а сам что-то похабное мне на ухо шепчет, а я нет чтобы уйти, словно прирос к парте. И ведь каков: народу кругом миллион, кто списывает, кто яблоко жует, кто просто бесится, а ему в этом самый смак, чтобы при публике на ухо кому-то непристойность сказать. Не кому-то, а мне. Нужно было размахнуться и... я перед ним букашка, конечно: вон какую морду наел, боксом занимается. Но если он еще раз попробует...

Сейчас вспоминаю, что-то он шепнул про сегодня днем. Дескать, в Четырнадцатом доме, будут девочки. Это они там на чердаке собираются. Интересно, зачем он МНЕ это сказал? Понятно, в общем-то, все те же игры подонские. Мол, знаю, что не придешь, испугаешься, только такой же ты, как мы, точно такой, и в балдеже нашем только из страха не участвуешь. Четко играет, думает "вычислил" меня. Что ж, может, он и прав.

Что меня останавливает? Почему не иду на чердак? А? То-то. Вовсе не нормы морали, ну их к черту. Тогда что? Страх. Страх перед чем? Перед неизвестным. Не знаю, что Это такое, не знаю, как себя вести, боюсь оказаться в глупом положении, боюсь издевок Милых и иже с ним. Значит, Милых прав? Я не человек, а слизняк, вот кто я. И не надо восставать против маминого "Мурочка". Мурочка и есть. Червяк. Вот он и издевается, а в другой раз обнаглеет и скажет еще что-нибудь похлеще, вслух. И я снесу? Да ничего я не намерен сносить. Баста. Надоело чувствовать себя слизняком. Надо ему высказать все в глаза, что я о нем думаю... Когда? Да сегодня же! В три часа. Слышишь, Мурочка! Сегодня перед дискотекой ты пойдешь в Четырнадцатый дом и выскажешь Милых все что о нем думаешь. Иначе... иначе. . .

Не идут в голову уроки, читаю учебник и ни черта не понимаю. В голову лезут разрозненные строчки; когда-то в детстве попалась книжка стихов, точно совпала с моим ощущением жизни, отдельные стихи застряли в памяти:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познанья, жажда славы, Талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем? И сердцу тяжко, и душа тоскует, Не зная ни любви, ни дружбы сладкой.

Лучше всего не задумываться. Начинаешь задумываться, задавать вопросы, а ответов нет. Или еще хуже: тебе "помогают" найти ответ, такой правильный, обкатанный, всех на данный момент устраивающий.

Недавно ради интереса спросил историчку: "В чем, по-вашему, смысл жизни?" Она ни минуты не колебалась: "В служении людям, в чем же еще?" Я отошел, не вступать же с ней в дискуссию?! А, между прочим, есть о чем. Служение людям... во-первых, что это за люди вообще? Каким людям она служит? Нашему директору? Чиновникам из РОНО? Ученикам? Своей семье? Можно ли служить сразу всем — плохим и хорошим, своим и чужим? Если она служит по указке нашего директора, то ничего путного из этого не выйдет. Хоть Раиса Федоровна и "всю себя отдает детям", а толку от этого чуть; мне, например, она только отбила интерес к истории. Теперь дальше. Для Раисы цель — служенье людям, значит, и детям своим она будет ставить эту цель, а те в свою очередь — своим детям, получается дурная бесконечность, замкнутый круг, цель-то истинная ускользает, ну как это объяснить?

Служить людям для чего? Должна же быть какая-то высшая цель существования человечества! Ведь не может быть существования ради существования! Или может? Я на этих вопросах прямо спятил.

В ту субботу к нам приходил доцент из университета или что-то в этом роде ... филолог, одним словом. Эвелина предложила ему вести кружок для желающих. Я остался послушать. По-моему, маразм. Придумывают искусственные ситуации: "Убить Мармеладова", "убить Раскольникова", больше не останусь. Но любопытно вот что: Сулькина влюблена в этого доцента. Сто процентов. Смотрит на него, как на бога. Есть еще один любопытный "объект для наблюдений" — Эвелинка. Наша старая дева преобразилась, куда девались бледные щеки и тусклый взгляд? Оживлена, то и дело смеется с подвизгиванием. Не выношу я женщин. Поведение их всегда искусственно и зависит от того, есть ли рядом мужчина. У женщин страсть поучать, давать советы... особенно у тех, кто недалек умом, есть, конечно, и другие, "легкие". Мама имеет привычку говорить знакомым: "Наш дурачок еще о девочках не думает". Интересно, кем она меня считает? Кто же из нормальных в шестнадцать лет не думает о девочках, о женщинах? Вот только выбор больно убог. В нашем классе, пожалуй, и нет никого.

Сулькина — умненькая, но красивая и с гонором, к такой не подойти. У остальных кругозор на уровне табуретки, от их разговоров скулы сводит. Та девчонка тоже такая, просто в ней что-то есть, чем-то она на меня подействовала. Потаскушка, — наверное, этим и подействовала. Прошлым летом, когда я перевелся в эту школу, меня сразу привлекли к практике — ремонту мебели, покраске и прочему. Я тогда еще никого не знал; почему-то ко мне сразу подъехал Милых, взял под "опеку", сказал, что вечером будет на Больших Прудах — культурно отдыхать. От делать нечего я тоже решил съездить на Большие Пруды. На пляже народу было мало, вечерело, становилось холодно.

Я шел между лежачими на подстилках людьми и вглядывался — зрение у меня катастрофическое, Ванек меня окликнул. Он расположился под деревом на пригорке, стоял загорелый, в красных плавках, а рядом на подстилке лежала девчонка. Милых вел себя с ней довольно бесцеремонно, но ей это, видно, нравилось. Меня поразило их жуткое бесстыдство, их не смущало ни присутствие отдыхающих, ни мое близкое соседство. Милых только что на нее не ложился, но лез куда хотел, чему способствовало, что на ней был открытый купальник; девчонке все было нипочем, она лежала как каменная, изредка бормоча: "Брось", "Хватит". Пьяная? Да нет, вроде. Не было похоже, что она сильно пьяна.

Когда мы пошли с ним к воде, я спросил, где он ее взял. — Парни подкинули, еще тепленькую, выбросили из машины; она у нас до восьмого класса училась. Веткой ее зовут. Потом поглядел на меня задумчиво: "Хочешь, подкину? Только на условиях. У тебя деньги есть?" Я не знал, как реагировать. "Да ты что — спида что ли боишься?" Он загоготал. Я стоял, не зная, что сказать и как действовать.

Пока я раздумывал, Милых, видно, во мне разочаровался.

— Ну нет, так нет, — я ведь пошутил, моя это гирла, — и снова загоготал.

Ненавижу этого подонка, тогда не сознавал, зато теперь чувствую: ненавижу. Сегодня я ему это выскажу. Если, конечно, пойду... я все-таки еще не решил окончательно. Уроки не выучены, погода — вылезать не хочется: дождь и снег. Странное у той девчонки имя — Вета. Какое же полное — Иветта, что ли? Ничего себе имя — французское! Французское имя для русской... Она, возможно, тоже там будет, на чердаке. Не хочется вылезать под дождь, включу сейчас агрегат, налью крепкого чаю — покайфую. Про подонка можно сказать в другой раз, зареза нет, да и потом то, что я его ненавижу, еще не говорит, что он подонок. Нормальный парень, без комплексов. Это я... А что я? Вот размышляю, анализирую — разве это плохо? Разве лучше не размышляя?

Он живет, а я ... я размышляю. А я бы не мог иначе жить, для меня размышление естественно. Вот поэтому я и не знаю ни любви, ни «дружбы сладкой". А кто в этом виноват? Я, я сам. Приехали. На мне сошлось.

А если по-другому взглянуть? Кто виноват, что я так одинок? Милых и иже с ним. Они своими грязными пальцами облапали все вокруг. Поставь себя на место Милых. Ты бы так себя не вел. Почему? Очень моральный? Да просто не посмел бы — вот и все. Испугался бы. Опять началось. Да когда это кончится? Ну, реши же, наконец, трус ты или нет, реши и дело с концом. Эх, кажется, все-таки надо идти.

Оля Сулькина

Впервые я ничего не сказала отцу. Обычно он в курсе всех моих дел и даже тайн. А тут... Когда Олег Николаевич первый раз мне позвонил, родители были на работе. Потом мы встретились у метро и он передал мне "Мастера и Маргариту". Через неделю опять позвонил, спросил о впечатлении — и снова папы не было дома, на службе был присутственный день. А вообще-то мне бы хотелось рассказать отцу о своем новом знакомце, папа все еще считает меня маленькой девочкой и, наверное, очень удавится, что мною интересуются взрослые умные люди.

С Олегом Николаевичем мне интересно и не страшно. Летом, в доме отдыха, я ошибочно приняла его за блестящего рассказчика и чуть-чуть за ловеласа. Но он не то и не другое. Он, как я теперь понимаю, по типу близок к жульверновскому доктору Паганэлю, странный, немного рассеянный и быстро увлекающийся. Говорит он затрудненно, не сразу находит нужное слово, но, когда увлечется, за речью уже не следит и заражает слушателей, меня, во всяком случае. Голос по телефону у него совсем другой — почему-то высокий, даже женский, и мне сразу, как только его услышу, хочется смеяться я говорить всякую чушь. Я ему уже столько пересказала смешных случаев из школьной жизни. Теперь на уроках я иногда фыркаю — представляю, с каким юмором буду рассказывать Олегу Николаевичу очередную сценку.

Все уроки Крысы — образец для писателя-юмориста; есть материал и для сатиры, и для гротеска. Кто я для Олега Николаевича? Называет он меня по-прежнему "юная леди" и, кажется, видит во мне представительницу моего поколения, поколения шестнадцатилетних. Очень боюсь оказаться не на высоте. Жить стало интереснее, наверное, я даже внешне ожила. Анька мне недавно сказала, когда мы шли на завод: "Ты не идешь, а словно летишь, влюбилась, что ли?" Увы, не влюбилась, но живу в предощущении счастья, мама смотрит на меня вопросительно, но ни о чем не спрашивает. Если бы спросила, я бы ей рассказала — у мамы с папой поразительный союз. Они по-настоящему любят друг друга, даже теперь. Где-то я читала, что создавать семью на основе любви нерасчетливо, любовь проходит; нужно руководствоваться понятием долга. По-моему, это глупость. Настоящая любовь не проходит, это не я говорю, это папа сказал, а папа прочитал эту мысль у Петрарки.

Вообще он очень начитанный, любит поэзию, очень увлекается испанцами. У папы идея фикс. Он считает, что его далекие предки родом из Испании, считает интуитивно, потому что никаких свидетельств нет (да и кто из нас знает свою родословную?). В нем, по его словам, живет тоска по солнцу и теплому воздуху, он страшно мерзнет зимой (я тоже), но не это главное; когда-то, очень давно, на выставке он увидел картину Эль Греко "Вид Толедо", эта картина его прямо ошеломила. Он стал вспоминать и вспомнил все: и эти дома, и эти улицы, и этот город. Когда-то он в нем жил, он или его предки.

Папа — еврей. Когда я была маленькой, он рассказывал мне, как при Фердинанде и Изабелле, злых и недалеких испанских правителях, евреи были изгнаны из Испании, своей родины. Это был роковой шаг для Испании, она после изгнания евреев пришла в упадок, но и евреям пришлось несладко на чужбине. Перед отправкой тех двух кораблей с евреями (так рассказывал отец) у них отобрали все золото и серебро, по дороге их начисто обобрали грабители, добрались они до Голландии голые и босые (так рассказывал отец). И все же нашли силы начать новую жизнь, пустили корни, кто в Голландии, кто в иных землях. И вот еврейская община в Голландии (так рассказывал отец), тоскуя по покинутой родине, начала вспоминать и записывать испанские романсы, а потом издала их впервые на испанском языке. Песни земли, которая их отринула. Так рассказывал отец, и я запомнила.

И теперь, когда я читаю роман Лиона Фейхтвангера "Испанская баллада", я так естественно ставлю себя на место доньи Ракель, как будто я действительно родом оттуда. Еврейская девушка, гордая, умная, красивая, внезапно вспыхнувшая любовь к ней испанского короля Альфонсо, удивительная история — трогательная, прекрасная и ужасно трагическая. Когда они ее убили, я почувствовала, что мне не хочется больше жить, нельзя жить на земле, где совершаются такие вещи.

Я побежала в ванную и долго-долго плакала, прямо рыдала; мама никак не могла понять, что со мной. Я думала, у меня сердце разорвется, нарушилась гармония мира. Зачем, почему такая несправедливость? Кому нужно убивать красоту, топтать любовь? Альфонсо — он же стал человеком рядом с ней, из дикого рыцаря, самца, самоуверенного и ограниченного деспота превратился в человека; плевать ему было на то, что она еврейка, а он испанец. Я прочитала всего Фейхтвангера, я перечитала его. Я его впитала. Во мне его Донья Ракель, Береника и Ноэми.

Что я знаю об этом народе? Как-то папа прочитал мне определение, что такое нация. Там значилось, что нация — это группа людей, обладающих общим языком, культурой и территорией. Выходит, евреи — не нация? Они ведь рассеяны по всему миру, говорят на разных языках и вросли в культуру разных народов. Отец усмехнулся. Плохо то определение, которое не учитывает хотя бы одно явление. Не евреи — не нация, а определение неверно, понятно, девочка? Человеку, который давал это определение, не было дела

не только до евреев; он не пощадил ни одной нации, и больше всех не повезло его сородичам. Я запомнила.

Как-то я спросила отца, что он делает на работе, он ответил: "Служу" и еще: "Работаю в корзину". Я не поняла, и он пояснил: "В корзину для мусора, моя работа нужна только свалке". Отец не любит со мной говорить о своей работе. А вот с мамой он отводит душу, мне слышно, как в своей комнате после ужина он громко возмущается дурой начальницей, дурацкими заданиями, унизительными порядками: "Представляешь, — доносится до меня, — на вакансию берут очередную позвоночницу, ее отец работает в министерстве. Сегодня приходила наниматься одна черненькая неопытная девчушка, так Тамара, зная, что вопрос решен, все-таки разыграла комедию. Задавала ей вопросы: Вы член партии? Ах, нет? А какой вы национальности? Русская? У вас и мама и папа русские? Спрашивала, не стесняясь сотрудников. Кажется, она это делала специально для меня".

Отец ненавидит свою начальницу, та — его. Но, естественно, в проигрыше всегда он. Пришла она в институт недавно, вернее, ее прислали возглавить отдел, оставшийся без руководителя. В те дни отец нервничал, видно, надеялся на какие-то благоприятные перемены. Умерший заведующий был человек недалекий и, судя по отзывам отца, занимался чем угодно, только не своим

непосредственным делом. А теперь вот еще хуже. Отец в западне. Уйти ему некуда, возраст не тот, везде сокращения, да и с его национальностью не очень-то устроишься в институт. Ему приходится смиряться, но чего это стоит! Мама считает, что надо уходить в школу. "Иначе не выдержишь, и так здоровья нет".

Я молчу, знаю, что в школе тоже не сладко. В неприсутственные дни отец с утра уходит в мастерскую и находится там весь день; бывает, днем, в его отсутствие, звонят из его "конторы", я отвечаю, что Натана Семеновича нет, он в библиотеке и придет поздно. Натан. Странное для слуха имя — опознавательный знак, как желтая звезда. Отец рассказывал, что давно, когда он безуспешно устраивался на работу, дедушка, его отец, выбравший для сына такое неудобное имя, советовал ему стать Николаем. Второй дедушкин сын — Исаак, благополучно стал Анатолием и обзавелся паспортом, где в графе национальность значилось — казах. Каким образом бывший Исаак получил этот документ, отец не знал, но рассказывал об этом, как о некрасивой афере. Дядя Толя живет сейчас на Севере, у него новая семья, братья даже не переписываются. Говоря о дяде Толе, отец неизменно повторяет: "Люди на смерть шли, а бога своего не предавали, а он ради жизненных благ лишил себя и детей рода-племени".

Отец тогда — это было еще до моего рождения — с большим трудом устроился в один из захудалых институтов академии педнаук; были использованы какие-то старые дедушкины связи. Дедушкиным другом был один крупный писатель, он-то первый и заговорил о перемене имени; отец наотрез отказался, в результате все обошлось, отца на работу взяли, он так и остался Натаном. А я Ольга Натановна. К этому тоже надо привыкнуть.

В младших классах, когда Вайсмана дразнили, я стояла в стороне, делала вид, что не замечаю, боялась, что мальчишки скажут: сама такая. И вот в пятом классе... Я хорошо запомнила этот день — 23 февраля, мы поздравляли мальчишек с днем Советской Армии. Разложили на партах игрушечные автоматы, и вот Макака бросился к Борькиной парте и схватил его автомат с криком: "Ты сионист, тебе оружия не полагается!» Подскочил еще кто-то: «Да здравствуют палестинские партизаны, долой израильских агрессоров!» Вайсман, парень безобидный и робкий, жался к стенке, противники наседали. Макака сорвал с Борьки галстук и махал им, как флагом.

Звонка еще не было, каждый занимался своим делом, большинство не обращало внимание на происходящее, а я... во мне что-то поднялось. Почему он жмется? Почему не ответит? Какой он сионист? (до сих пор не знаю, что такое сионист, и почему ругательное "сионист" и еврей стали у нас синонимами). Не помню, что я прокричала; осталось в памяти, как мальчишки расступились, и я с Борькиным галстуком в руках оказалась у двери, как раз на пути учителя.

— Ты куда, Сулькина! И выкрик Макаки: "Она, Анна Ивановна, в уборную, на перемене не успела". Под хохот класса, красная и потная, с Борькиным галстуком в руках, возвращаюсь к своей парте. Дура, трусиха, какая же дура, господи!

Ловлю на себе затравленный взгляд Вайсмана, вид у него как после физры, слышу голос Анны Ивановны: "Откройте тетради, запишите сегодняшнее число", все это не то, я не могу заниматься обычным делом, в жизни что-то нарушилось, и, если нарушение не будет устранено, дальше жить не хочется.

Поднимаю руку.

— Чего тебе, Сулькина? Что с тобой сегодня? — недовольный голос Анны Ивановны, от которого мне всегда хочется спрятаться, прижаться к парте.

— Я, Анна Ивановна, только хотела поздравить Борю Вайсмана с Днем Вооруженных Сил и повязать ему галстук. И снова я пересекаю класс, направляясь к помертвевшему Борьке. "Никакой ты не сионист, — говорю ему тихо, ты просто еврей, но не огорчайся, я тоже еврейка". В тот день я и сделала свой выбор.

Не знаю, удастся ли мне с моими паспортными данными поступить в институт. Как-то во время нашего телефонного общения я спросила Олега Николаевича, почему евреев плохо берут в институты (а в некоторые СОВСЕМ не берут). Олег Николаевич ответил, что, по-видимому, люди "наверху" исходят из неверной посылки, а именно: "Евреи очень талантливы, поэтому, если из их числа принимать всех желающих, то нарушится пропорция по отношению к другим национальностям — узбекам, татарам и прочим, то есть, не будет соблюдено социальное равенство", неужели это серьезно? Таким образом можно оправдать и процентную норму, и черту оседлости в дореволюционной России; все ущемление прав можно объяснить "талантливостью" или «изворотливостью».

Интересно, понравился бы Олег Николаевич отцу? Скорее всего, да. Отец любит интеллигентных людей, о своей новой начальнице он говорит "неинтеллигентна" — для него это исчерпывающая характеристика.

Ну вот, наша субботняя затея провалилась, наверное, больше не стоит собираться, хотя Олег Николаевич так не считает. Начать с того, что на литературный клуб пришло всего семь человек. Мне было обидно за Олега Николаевича, он-то считал, что его встретят на ура, а все бросились в бега, несмотря на рекламу, организованную Эвелинкой. "Большой ученый, кандидат наук, известный поэт" (про "поэта" я узнала совсем недавно); моим одноклассникам глубоко наплевать на все эти звания, они благополучно смылись. Если бы Эвелинка объявила о приезде рок-звезды или, на худой конец, киноактера, тогда бы они, возможно, и пожертвовали бы субботой. Когда-то в младших классах нас оставляли на утренники, запирая на замок портфели; не прибегать же сейчас к таким методам!

Крыса собирает школьников на биологические мероприятия с помощью запугивания: не придешь — получишь плохую отметку, но и это средство уже не действует. Правда, на ее вечерах, как ни странно, народ есть — жаждут повеселиться. Эвелинка у нас — либерал, никого не заставляла и не запугивала, в итоге — семь человек, великолепная семерка.

Но что самое любопытное, кроме меня и Ашурлиева, любителей литературы здесь не было. Анька Безуглова осталась, потому что моя подруга; кроме того, здесь был Воскобойников, к которому она неравнодушна, Катя Прохорова осталась сама не зная почему, но, может быть, и из-за Витьки. Андрей с приятелями... здесь сложно, Милых, видимо, из желания позабавиться, поиздеваться над «поэтом", показать ему, что такое современный школьник, Витька — за компанию с Андреем и Ванчиком. Так что, когда Олег Николаевич обратился ко всем "Дорогие любители литературы", раздался громкий хохот. И началось. На каждое слово Олега Николаевича Милых откликался какой-нибудь дурацкой репликой, а потом долго ржал и бился. Олег Николаевич не знал, как себя вести с Ванчиком, извинялся, просил пояснить мысль. Какая у дурака может быть мысль? Я сгорала со стыда.

Эвелинка решила вмешаться и предложила Милых покинуть помещение. Он удалился вприпрыжку, потом просунулся в дверь, скорчил рожу и про-

блеял "по-э-э-т"; следом за Ванчиком поднялись Воскобойников и Гладков, им, якобы, надо было на тренировку.

Олег Николаевич как-то смешался, перескочил на другое, стал излагать свою теорию, я, надо сказать, отключилась и не слышала. Катька явно скучала, Ашурлиев сидел с непроницаемым лицом, одна Эвелинка старалась "держать тон", задавала вопросы, смеялась и пыталась шутить. Это был провал, я не ожидала, что такой умница, как Олег Николаевич, спасует перед школьниками. Да, вот еще: как раз когда "троица" покидала помещение, в класс заглянул директор и спросил, что у нас происходит. Эвелинка побледнела, словно она совершала преступление, и пролепетала, что идет заседание кружка. "А эти спасаются бегством?" — спросил наш "остроумный" директор. "В следующий раз, Эвелина Александровна, постарайтесь организовать наполняемость класса, чтобы не было стыдно перед товарищем", — он кивнул на Олега Николаевича. И ушел. После этого Эвелинка впала в транс, а Олег Николаевич выкарабкивался уже без ее помощи.

После кружка домой мы шли вместе с Анькой. Олег Николаевич пошел провожать Эвелинку, которой было худо. У Эвелинки просто патологический страх перед директором, мы это давно заметили. Аня сказала, что "мой родственник" для школы не подходит — слишком занудлив, нам эта философия не нужна. Потом переключилась на свою любимую тему: кто на кого глядел и кто чем занимался. Оказывается, Катя с Витькой играли в морской бой, Ашурлиев, по ее словам, не сводил с меня глаз, а она сама привораживала взглядом Воскобойникова.

—Ты знаешь, он на меня смотрит, но как-то не так, словно я не человек, не женщина, а пустое место. Вот Ванчик, хоть и скотина, а так глядит... Шел снег, было скользко, и мы держались друг за друга. Внезапно я почувствовала удар, испугалась и вскрикнула. Анька рассмеялась. — Чего кричишь? Снежок это. Снежки стали падать один за другим, и уже было не до смеха, я поскользнулась, упала и потянула за собою Аньку.

Мы с Анькой барахтались в неприятном медном свете фонаря. Пока мы барахтались, подоспели те, кто кидал снежки, это были Воскобойников и Ванчик. Я так и знала, что их кружок — сплошная выдумка, никуда они не спешили. Просто сбежали. Ванчик помог подняться Аньке. Воскобойников — мне. Помогли нам отряхнуться. Анька все это время неестественно хохотала. Был удивительный вечер — слегка морозный, с редкими тяжелыми снежинками, хотелось уйти подальше от фонарей, от прохожих и троллейбусов, куда-нибудь на простор. Вчетвером мы медленно шли вдоль троллейбусной линии, ребята пристроились по краям, причем рядом со мной оказался Андрей. Ванчик болтал и громко смеялся. Аня примолкла, я понимала, как обидно ей, что рядом не Андрей, а Ванчик. А мне... мне было хорошо.

Я радовалась теплому вечеру, снежинкам, что скрывать? Радовалась и тому, что нравлюсь этому сильному парню, не решавшемуся взять меня под руку. В голове складывалось: "Её темно-рыжие легкие волосы были увенчаны тающими снежинками, глаза блестели, она была не то чтобы красива, но обольстительна". Так мы дошли до Анькиного дома. Если войти в его арку и идти некоторое время дворами, придешь к дому № 14, очень длинному, со множеством подъездов. В этом доме в шестом подъезде я живу. А ребята живут совсем рядом со школой, через дорогу. Андрей и Ванчик даже в одном подъезде, Витька — в соседнем; может, поэтому они так сдружились, что вместе росли, в одном дворе; собственно, и двора-то никакого нет — с одной стороны дорога и с другой. Мы остановились возле Анькиного подъезда.

Ванчик продолжал балагурить, Анька смеялась каждой хохме; что-то с ней произошло, то молчала, теперь смеется — не остановить.

Постояв возле подъезда, мы в том же составе, так как Анька домой не пошла, двинулись дальше. Андрей шагал молча, я тоже, Анька с Ванчиком ржали и бились. Остановились возле моего дома, — и так мне не захотелось уходить с улицы, садиться за уроки, — в общем, пошли провожать мальчишек. Снегопад кончился, фонари стали еще желтее. Ванчик с Анькой, пошептавшись, куда-то исчезли, мы с Андреем остались одни. Он шел, не глядя на меня, темно-русые волосы казались черными, я впервые заметила, что нос у него с горбинкой, возможно, след удара.

Внезапно Андрей остановился.

— Давай уйдем от этих фонарей, надоели. Мы свернули с дороги и подошли к скамейке, засыпанной снегом, впереди и сзади неслись машины, здесь было чуть получше, какой-то даже островок, несколько деревьев. Андрей стал счищать снег со скамейки, мы сели. Я подумала, что сейчас Андрей должен сказать что-то важное — признаться в любви или открыть какую-нибудь личную тайну. Но он молчал. Так мы и сидели.

— Ты не замерзла? И он дотронулся до моей руки. Мы сидели не глядя друг на друга, и Андрей держал мою руку в своей. Крепко держал. Мне стало смешно.

— Отпусти! Больно! Он словно очнулся.

— Пойдем — замерзнешь. И снова мы шли вдоль троллейбусной линии. Настроение у меня праздничное, хочется смеяться, делать глупости, Андрей сумрачен и на меня не смотрит. От застенчивости? Мы стоим возле моего дома. Поднялся ветер — начинается метель; ветер рвет с нас куртки, топорщит волосы, заходим в подъезд, чтобы обогреться. Андрей берет мои ладони и подносит к губам, дует на них, согревая.

— Почему ты все время молчишь?

Андрей отвечает на мой вопрос вопросом: "А ты?"

— Я не молчу, про себя я непрерывно пою. Андрей впервые смотрит прямо на меня: "И ты тоже? Хочешь, я спою тебе одну песню, свою любимую?»

— Хочу.

Никогда не слышала, как мальчишки поют. Под гитару, в компании, конечно, слышала, но чтобы вот так, прямо в подъезде, без всякой гитары... Да он и не поет вовсе, почти скандирует, напирает на ритм.

Тихо мы идем, не колышатся лианы, ведь мы со всех сторон окружены.

Осторожней, друг, бьют туземцы в барабаны. Они идут на нас тропой войны.

Ночью труден путь. Южный Крест залез на небо. Спускаются в долину облака.

Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был — в загадочной стране Мадагаскар.

Вот все что я запомнила; правда, Андрей обещал переписать мне слова. Я этой песни раньше не слышала. Андрей услышал ее в лагере, в четвертом классе, от вожатого. Он ее никому не пел — мне первой. Сейчас я вдумалась в слова и поняла, что это песня белых колонизаторов, иначе откуда туземцы с барабанами? Но все равно… это хорошая песня, и слова мне нравятся. Она романтическая: ведь в душе Андрей так и остался тем четвероклассником, который, затаив дыхание, слушал у костра песню вожатого. Он ничего мне не объяснял, но я знаю, ему хочется чего-то необычного, каких-то опасностей, но чтобы была прекрасная цель. Это как у Высоцкого: "А в подвалах и в полуподвалах ребятишкам хотелось под танки". Андрей такой еще маль-

чишка, несмотря на свой вполне взрослый вид и почти двухметровый рост. Да, вот еще: когда я, поднимаясь по лестнице, посмотрела в окно на улицу, я увидела, что Андрей идет не один, рядом шла Аня.

Аня Безуглова

И чего я унижаюсь? Тогда бежала за ним, как собачка: "Андрюша, пойдем в кино, Андрюша, ты на меня обиделся?" Сначала думала, пойду с Ванчиком, пусть ОН видит, что мне все равно, что свет клином не сошелся, а потом, потом так тошно стало. Ванчик все какие-то анекдоты травит, а я не слышу, все думаю, как у них там. Ванчик и оглянуться не успел, а меня уже рядом не было. Остановилась возле Ольгиного подъезда, потом отошла к противоположному дому, устроила наблюдательный пункт, видела, как они подошли, как стояли рядом. Если честно сказать, я про это давно знала: Андрей к Ольге неравнодушен — знала. Не хотелось себя растравлять. Да к тому же — ей он ни к чему. Он не для нее. Простой парень, без философий. Ей нужен какой-нибудь этакий, художник или там поэт, как ее замечательный Олег Николаевич, например. Все в школе думают, что он родственник, а я одна знаю, что никакой он не родственник, что познакомились в доме отдыха, и что у них там — аллах ведает. Вот бы и гуляла со своим "родственником", зачем же парня у своей подруги уводить? Я ведь ей СПЕЦИАЛЬНО про свои чувства высказывала, чтобы знала в случае чего, если вдруг Андрей начнет липнуть.

Ну, ведь ничего в ней нет, ничего, и одета не по моде, и краситься не умеет. Я считала, она хоть человек неплохой, даром что еврейка, а получается, что никудышный она человек, на подругу наплевать. И вот что я думаю. Почему одним все, а другим, которые, может, и лучше, ничего? Неужели и моя судьба будет, как мамашина: девчонкой приехала по лимиту, дворником работала, встретила человека — ждала, что поженятся, а он слинял, и осталась в общежитии одна с ребенком, спасибо, комнату потом дали, да на фабрику устроилась. А ни мужа, ни алиментов — ничего, один шепот соседский.

И сейчас Ивановна-соседка все зудит: "Гулящая твоя мамка". Я, конечно, не буду как мамаша — характер другой. За себя нужно бороться, иначе о тебя ноги станут вытирать. Почему мамаша алиментов не добивалась? Почему дала "папочке" жить спокойненько, без хлопот, ни на работу не звонила, ни домой? Забитая была, прав своих не сознавала, до того всю юность жила в деревне Мошенки Калининского района. Деревня, одним словом. Я на мамашу и внешностью не похожа, все говорят, что я лучше, у мамаши фигура деревенская, а у меня городская — широкие плечи и узкие бедра — "под мальчика". А у Ольги и фигуры-то никакой нет, одна худоба. Спрашивается, чего к ней липнут? Я, конечно, вниманием не обижена, вон Ванчик, стоит мне пальцем поманить… а от Андрея не отступлюсь, пусть меня ножом режут. Только вот что делать — не знаю.

Тогда вечером он обидел меня ужасно.

— Чего ты за мной бегаешь? Словно я собачонка какая. Маленькие были — ему наша дружба не мешала, а выросли...

— Чего ты за мной бегаешь? Раньше я никогда не знала, что такое "болит сердце", а теперь знаю, и «тяжесть на душе» — тоже знаю, и плачу теперь очень часто, как мамаша, несмотря на свой другой характер.

Вчера ходила под его окнами, там и ходить негде — шоссейка с ДВУХ сторон, а невдалеке скверик крохотный, оттуда его окошко видно, там я ходила, пока ноги не замерзли. Иду, а на душе так грустно-грустно, тоска такая,

чернота. Что же будет со мной? Никому я в жизни не нужна, мамаша мне не опора, она сама ищет, на кого опереться, только безуспешно.

Как подумаешь о будущем — страх берет. В училище медицинское поступить — надо экзамены сдать. А как я их сдам, если без репетиторов? По школьным моим знаниям не сдам я никаких экзаменов ни по одному предмету, а на репетиторов нет у нас с мамашей средств. Надо на работу идти. А куда? Хоть и есть год в запасе на раздумья, только это все равно, что месяц; нет у меня никаких особенных склонностей и интересов, никуда я не хочу. И через год будет то же. В общем, куда ни кинь... Сидит в самой глубине у меня мысль: все не так плохо, дуреха; ты молодая, жизнь перед тобой, радуйся, пока можешь, пока молода. Да что-то не больно выходит радоваться. Вот стихи сочинила, грустные:

Не замечаешь ты меня, проходишь мимо,
За что же так страдаю я, любимый?
Я слов тебе не говорю, ты сам пойми,
Что сердце я тебе дарю. Возьми!

По-моему, хорошо получилось, трогательно и красиво, Эвелинке бы понравилось. Хотя что Эвелинка, что она понимает?" Пушкин чувствовал", "Лермонтов чувствовал", "Достоевский чувствовал", а что простой человек, не гений, чувствует — кому до этого дело? Кто о нем хоть слово скажет? Те — Достоевские — давно жили, вымерли уже, а кто о сегодняшних скажет, о мамаше моей, о Ветке, обо мне? Кто скажет?

Ветку я миллион лет не видела, соседка рассказывает, что встретила Веткину мать, Клавку, и та жаловалась, что Ветка полностью сошла с круга, на занятия в училище не ходит, водит парней, распродает домашние вещи. Ивановна говорит, что Веткина мать хочет сдать Ветку в милицию, чтобы та не позорила семью. Интересно — растили, растили, до шестнадцати лет довели — и, пожалуйста, сдают в милицию. Берите, товарищи милиционеры, нам такое дитятко не надобно. А куда вы раньше глядели? А как вы дитятко свое воспитывали? Ветку одевали всегда, как принцессу какую, вся была в импорте, в третьем классе купили ей путевку в Артек. Когда в школе узнали, рты пораскрывали: Ветка — в Артек: учится с тройки на двойку, никакой общественной работы не ведет, но за деньги, оказалось, можно и так, с двойками. Мать Веткина, Клавка, всю жизнь спекулирует, всегда у нее какие-то вещи для продажи: "купила по случаю, да не подошло", готова тут же с себя кофточку сорвать и продать по повышенной цене; на ней вещи неплохо сидят, она этим и пользуется: то пальто продаст с себя, то юбку, то платок; у нее с продавцами есть договоренность, они ей товары поставляют — она с ними прибылью делится, так соседка говорит.

Так что, если Ветка сейчас домашние вещи распродает, то, может, она у матери и научилась, нечего тут шум поднимать.

Я сейчас на многие вещи смотрю по-другому. Вот, например, религия. Не то чтобы я решила в бога поверить, а просто мысли такие иногда в голову приходят: хорошо бы на *небе* кто-нибудь был, чтобы все-все видел и понимал и чтобы все было у него под контролем, всякая несправедливость, всякое вранье, обида, нанесенная человеку. Главное — знать, что все учитывается, что ничего даром не пройдет и что каждый человек под защитой находится, о нем бог или кто-то еще в этом роде думает! Иначе очень уж неуютно жить, хаос какой-то получается, все что хотят, то и делают, и в ответе только друг перед дружкой; а это, как в суде, — правды не найдешь.

Еще почему у меня такие мысли: я теперь с Катькой Прохоровой сильно сдружилась, возвращаемся из школы каждый день вместе. Катька после того, как я в туалете школьном психанула, меня в чувство привела, потом вызвалась домой проводить, всю дорогу про себя рассказывала, как одна с бабушкой старой живет и отцом-инвалидом, а мать, оказывается вышла замуж и переехала на другую квартиру. Так Катька сначала возненавидела свою мать, которая их бросила, а потом бабушка ее научила, что надо простить. Катька говорит, что за зло нужно платить добром, тогда зло исчезнет вовсе, у нее бабушка религиозная, сбила Катьку с толку совсем. Как можно за ЗЛО платить добром? Ведь это значит зло поддерживать. Нет, я на такое не способна, не хочу я зло прощать; так тогда Ольге, этой гадине, и сказала: "Я тебе этого на прощу". Сказала на вечере в честь 23 февраля. У нас сначала были организованы аттракционы (я их и организовывала), а потом была дискотека.

Всю эту неделю я сама не своя была, еще этот Ванчик, скотина, ну да ладно, много всякого было... вообще в школу ходить не хотелось. Опять увижу ее, подругу бывшую, сидит прямо, по сторонам не смотрит, и вдруг — раз, в его сторону, и минуты две смотрят — она на него, он на нее. Я сзади сижу, мне все их переглядки видны. Потом на перемене думаю, подойдет к ней или нет, не подходит, а наблюдает постоянно. С Ванчиком начинает бороться, вокруг зрители, мелюзга разная и она неподалеку с учебником. Учебник для вида держит, не читает, а на Андрея смотрит, а он Ванчика или кого-нибудь из мелкоты, как цыпленка перекидывает и на нее не глядят. Но видит. И играет с Ванчиком в борьбу только чтоб она видела, какой он сильный да ловкий. И я все это понимаю. И мне от этого кричать хочется. Мой он, мой, несправедливо это!

Ночью не сплю, все думаю, что бы такое сделать, Катька считает, надо покориться, судьбу не переспоришь, но я не такая. В тот день 23 февраля с утра было все как обычно, после школы ко мне подкатился Ванчик, ну, это ладно, про это не хочется; а вечером пошла на дискотеку. Мамаша мне для школьного вечера специально платье сшила по картинке из "Бурды", взглянула я на это платье, на себя в зеркале — и так плакать захотелось, но ничего, взяла себя в руки: пусть ОНА не видит моих слез, отправилась. До дискотеки задумана была почта, и я вызвалась быть почтальоном, даром что на каблуках; музыка звучит, все нарядные, разгоряченные. Андрей с Ванчиком и Витькой при технике, почтой вроде не интересуются.

Хожу с одного конца зала на другой, разношу записки; туфельки у меня фиолетовые, под цвет платью, на небольших каблучках, ножка маленькая, стройная, платье в стиле ретро, моднющее; наверное, хорошо я смотрелась, только как подумаю или как взгляд упадет, прямо нож острый. Даже не разглядела как следует, что на ней надето, кажется, ничего такого, хоть и "художница". Прохожу мимо троицы не глядя, и вдруг Андрей кричит: "Подожди минутку, сейчас записку напишу", и что-то быстро пишет на бумажном клочке, складывает и ставит номер и дает мне, и я вижу, что это ёе номер.

Мне сразу кровь в голову ударила; наверное, я сильно покраснела, потому что они в шесть глаз на меня уставились, а я повернулась и вышла из зала с этой запиской и с прочими в руках; чтобы я своими руками ей от него записку передала — никогда! лучше режьте. А в записке той было написано: "Приветствую тебя, коварная бледнолицая" и подпись «Вождь краснокожих". Может, и не стоило мне из-за такой ерунды так нервничать? Но это я уже потом подумала, а тогда попросила Катьку, которая следом за мной в коридор выскочила, позвать ее. Катька на меня: "Опомнись! Зачем? Дура ты!" А я ... ну в общем, позвала ее Катька. И тут я ей выдала: "Я тебе этого никогда

не прощу!" и разрыдалась, а Катька стала меня утешать и отвела домой. А записку эту я по гроб жизни буду хранить, хоть и глупость, и не мне адресована, а все же написана его рукой.

Сегодня только и разговору, что о дискотеке. Мы с Катькой диву даемся, стоило нам уйти — и началось. Оказывается, на дискотеку, часам к девяти, пришли некоторые "со стороны", кто раньше у нас учился. Среди прочих — Ветка. Говорят, одета была вызывающе и жутко накрашена, ну а потом они с Ашурлиевым стали танцевать брейк; когда это, интересно, Ашурлиев научился? А тут как раз директор. Кто разрешал! Безобразие! Здесь школа, а не притон! И Ветку с Ашурлиевым выгнал. А потом еще один казус вышел, как раз когда директор уже уходить собирался. Вдруг музыка прекратилась и пошла какая-то речь. Ванчик не сообразил сразу вырубить технику, и оттуда стало доноситься типа такого: "Юные советские граждане, придите в лоно христианской церкви!" Все подумали, что их разыгрывают, начали смеяться; тем более, Ванчик начал рожи корчить и представлять, будто он поп, и кадить всех святой водой из граненого стакана. Учителя, которые присутствовали, растерялись. Один директор проявил расторопность, подскочил к магнитофону и давай нажимать подряд на все кнопки. Говорят, Ванчик от изумления аж рот раскрыл, но потом все же догадался вырубить эту проповедь, директор позеленел и удалился.

А сегодня после урока биологии — он последний — Крыса попросила меня остаться и заперла кабинет. — Аня, сказала она, — сил моих нет, — и заплакала. Действительно, последнее время ребята па ее уроках ведут себя похамски, кричат, смеются, перебегают с парты на парту, словно это и не класс вовсе, а какой-нибудь вокзал.

Сижу, не знаю, что сказать, вроде даже жалко ее стало. "Ребята, — говорю, — у нас такие, они почти на всех уроках, кроме директорских, на голове стоят". Она еще пуще залилась: "Директор грозится увольнением, а куда я денусь? Я уже нигде, кроме школы, работать не могу". Действительно, деться ей некуда, таких только в школе и могут держать.

— Найдете, — говорю, — другую школу, там, может, ребята полегче и директор не такой строгий. Вообще надоело мне все это порядком, мало мне своих переживаний, кто я ей такая — причитания ее выслушивать?

— Извините, — говорю, — Альбина Анатольевна, меня в комитете ждут.

Тут она слезки платочком вытерла и смотрит на меня: "В комитете? А ты, Аня, не забыла, что возглавляешь антирелигиозную пропаганду в нашей школе? Я от неожиданности заикаться стала. — Не-е, не-е забыла.

— А то, — говорит, — меня только что директор вызывал насчет вчерашнего. Слышала, что вчера произошло? Снова она на меня смотрит, как удав на лягушку.

— Слышала, — говорю.

— Как ты думаешь, кто эту пленку мог принести?

— Не знаю, — говорю, — магнитофон Витькин, а кто пленку принес, — не знаю.

— Могла она принадлежать Прохоровой? Ведь ты сама говорила, что Прохорова верующая?

Я головой качнула отрицательно, а сама соображаю. Могла Катька пленку принести, как раз они перед вечером с Витькой договаривались, я слышала;

могла перепутать и принести не ту пленку. А пленку с проповедью ей могли всучить в церкви, там к ней один поп "интерес проявляет".

А Крыса свое уже в быстром темпе.

— Значит, не Прохорова? Тогда кто?

Тут уж я не выдержала: "Что я вам, ищейка? Или стукачка? Что вы меня спрашиваете? Откуда я знаю, кто пленку принес?" Крыса аж вскрикнула: "Ах, Аня, как ты можешь? Ты мне как родная дочь, я своего сына не задумываясь на тебя бы поменяла». И нудила так еще минут пять. Мое терпение кончилось: "Откройте, — говорю, — дверь, я опаздываю".

— Одну минутку, Аня, как ты думаешь, тот человек, ну, родственник Сулькиной, он эту пленку не мог принести? Я остолбенела. Поэт этот? Он-то тут при чем? Пусть она у Сулькиной спросит про ее "родственничка", у Сулькиной, бывшей подруги, ныне предательницы. Я еще немного постояла, подумала.

И сказала на этот раз вполне сознательно: "Знаете, Альбина Анатольевна, он — мог, мне почему-то кажется, что он — мог". Пришлось задержаться еще минут на десять.

На дискотеке милиционер задержал Андрея, он собирал мелочь по карманам. У нас ребята давно этим балуются — добывают себе на сигареты. В прошлом году Ванчика два раза ловили, Андрей попался впервые.

Эвелина Александровна

Сегодня меня вызвал к себе Директор. Сразу без обиняков он начал: "Ваш девятый класс — позор нашей школы, дисциплины никакой, процветают мелкие хищения. Потоком идут жалобы учителей на учащихся и родителей — на учителей. Для меня ясно, что вы работу организатора класса, его наставника и руководителя, завалили». Все время, пока он говорил, я стояла как школьница, вытянув руки по швам и глядя в пол. Смысл слов до меня не доходил, я воспринимала только звучащие в его голосе ноты гнева и угрозы. Директор остановился, очевидно, чтобы взять дыхание для новой порции обвинений. Отпираться не имело смысла, нужно было испить эту чашу до дна.

Директор встал из-за стола и подошел ко мне почти вплотную. Господи, как надоели эти проработки, когда все это кончится? Я уже не молода, но, с другой стороны, до пенсии еще работать и работать. Нет, на такой работе долго не выдержишь, последнее время постоянно болит сердце, начало дергаться веко, катастрофески ухудшается зрение, а что если совсем ослепну? Горы тетрадей каждый день, еще, слава Богу, что нет семьи... Слава Богу? Ты благодаришь Бога за то, что обделена? Ни мужа, ни детей — ситуация вполне обыкновенная для учителя. У Директора тоже нет семьи, целыми днями он в школе, хоть бы уж женился, хотя кто на него польстится? Разве он мужчина? Впрочем, он еще ничего... по своей адовой работе; сам себя, наверное, воображает неотразимым: султан в гареме, петух в курятнике, боже, как я его ненавижу.

Стоит рядом, брызгает слюной, зациклился "идеология, идеология". О чем это он? Я вслушалась. "Главное в том, что вы поощряете подрыв нашей идеологии". Что за чушь? Что он несет?

Хриплым каким-то голосом выдавила: "Что вы имеете в виду?" "Не притворяйтесь, что не знаете, вас не было на дискотеке — на сей счет вы обязаны написать мне докладную записку, почему вас не было, — так вот, то, что вас не было на дискотеке, не дает вам права уйти от ответственности за про... происшедшее», — он поперхнулся и остановился перевести дух.

Я уже поняла, о чем речь. Сама я не придала этому эпизоду большого значения, но сейчас трусливый внутренний голос ВО мне говорил: осторожно, то, что тебе кажется пустяком, человеку с его логикой должно казаться идеологической диверсией, сейчас он тебе выдаст по первое число за отсутствие антирелигиозной работы, а, возможно, судя по его пылу, будет что-нибудь и похуже.

Директор снова отошел к столу, он уже отдышался и опять зазвучал его тупой, неестественно высокий голос: «Кто должен бить тревогу по поводу вашего класса? Имейте в виду: общественность не дремлет!» Тут он схватил какую-то бумагу со стола и стал трясти ее перед моим носом. Я протянула руку, бумага спланировала ко мне, в ней было написано:

Уважаемый товарищ директор!

Просим принять срочные и неотложные меры по наведению порядка в девятом классе вверенной Вам школы. В последнее время наблюдаются попытки посеять в незрелых умах наших детей семена идеализма и религии. Один атеистический клуб во главе с А. А. Чернышевой не в состоянии справиться с этой поистине титанической работой.

С уважением Родительский комитет IX класса

Я подняла глаза, директор выхватил бумагу из моих рук и продолжал: "Общественность бьет тревогу, а классный руководитель? Знает ли классный руководитель, кто принес пленку с религиозной проповедью?»

Я молчала. Вообще-то я могла сказать, что магнитофон и импортные записи обычно приносит Витя Гладков, но неужели Ему это неизвестно? Короче, я опять погрузилась в то состояние, когда все слова, произнесенные в двух шагах от тебя, воспринимаются, как ровный гул: и-би-ми-ги-и-и-и. Интересно, кто состряпал это послание Директору? Главное, зачем? Похоже, что метят в меня. Вроде бы с родителями у меня нормальные отношения, без конфликтов. Воскобойникова, председатель родительского комитета, вполне интеллигентна, да ее подписи там и нет, там просто написано "Родительский комитет", почти анонимка, даже не почти; кто поручится, что под именем "Родительского комитета" не писал кто-нибудь другой? Да и при чем тут А. А. Чернышева с ее антирелигиозным клубом? Она? Зачем ей? Как зачем? Обыкновенная зависть. Чему завидовать? А тому, что одинока, что нет ни мужа, ни сына, стало быть, никаких забот, живи — не хочу. Не хочу, не хочу такой жизни.

Что там у него еще? Я вслушалась. "... из разных источников. Все, представьте, единодушны. Этот ваш... из института... — он не знал как сказать, наконец, нашел „специалист»... проповедует религию". И снова я на него уставилась.

"Простите, я не расслышала, что вы сказали?" "Да, да, именно это и сказал. Человек, который без всякого официального представления, втихую, был введен в нашу школу и допущен до учебного процесса, — за что вам еще придется ответить, — этот человек отравлял ребят идеализмом и религией".

Тут уж я не могла молчать: "Да что вы такое говорите? Олег Николаевич! Да ведь я присутствовала на его занятии, одно всего и было, как вам не стыдно». Вот всегда так, молчу-молчу, а потом вдруг выдаю; "как вам не стыдно" было перебором.

Директор побагровел: "Вы это сказали мне? Да, мне, действительно, должно быть стыдно, стыдно за те безобразия, которые с вашего попустительства творятся во вверенной мне школе. Да если хотите знать, я сам, лично, своими ушами слышал, как ваш Олег Николаевич проповедовал идеализм и религию».

— Как вы могли слышать — вас ведь не было на занятиях?

— Чтобы слышать, не обязательно находиться в классе.

Я не сразу поняла. Потом до меня дошло, что он подслушивал под дверью. Боже! Я впала в оцепенение.

В ту субботу после занятий литературного клуба домой мы шли вместе с О. Н. Всю дорогу я плакала. Что-то такое напало, никак не могла остановиться. Последнее время накапливалось ощущение тоски, подавленности, физического и душевного нездоровья. И вот прорвалось; мы шли вдоль троллейбусной линии, бензиновый смрад наполнял воздух, хотелось не дышать, навстречу лавиной двигались люди, спрятаться было негде. И вдруг — спасение, вход в городской парк, не была здесь сто лет, хотя расположен он на дороге между школой и домом. Когда мне плохо, я сознательно себя наказываю, отлучаю даже от этого небольшого клочка природы, пусть будет еще хуже; какой-то мазохизм в характере.

А тут О. Н., даже не спросив, взял меня за локоть и повлек в узкое пространство входа. И мы вошли в парк, здесь было сравнительно мало людей, по краям небольшого снежного пространства стояли редкие деревья, шел снег, слегка вьюжило.

Как же неказисто и серо, как уныло кругом. Природа в ее городском, к тому же неухоженном варианте. Но возблагодарим бога и за это: чуть больше воздуха, пространства, тишины. На ветру слезы мои высохли, я только изредка всхлипывала. Олег Николаевич по-прежнему, словно не замечал моего состояния, шел куда-то вперед, держа меня за рукав.

Возле заколоченного павильона остановился, произнес с недоумением: ″В детстве мне казалось, что парк большой. Что случилось?"

— Выросли, наверное.

— Даже постарел. Смотрел сегодня на ваших питомцев и завидовал: какая хорошая пора. Мне было холодно, и очень хотелось, чтобы меня пожалели, чтобы О. Н. спросил, как и чем я живу, тогда бы я, возможно, опять расплакалась, но рассказала бы ему как на духу всю мою бедную никчемную жизнь. Я бы спросила у него совета, что делать дальше и можно ли жить, когда не знаешь, зачем, и стоит ли преподавать, когда на душе такая тоска; я бы избавилась от того груза, который тащу в своей душе весь последний год... Но О. Н. ничего не спросил, отвернувшись от меня, он смотрел куда-то поверх хилых деревьев и внезапно загоревшихся фонарей.

Когда они зажглись, О. Н. повернул ко мне лицо, но меня, казалось, не увидел и быстро заговорил.

— Послушайте, Эля, я хочу вам исповедаться (как легко у него получилось — Эля, я бы не смогла назвать его Олег).

Исповедь О. Н. я выслушала молча, прислоненная к холодной доске, дрожа от холода. Говорил он, глядя мимо меня, ровным голосом без особых эмоций. Получалось из его слов, что он несчастен, даже очень. Как так выходит? Казалось бы, вполне благополучный человек — и вдруг. Или счастливых вообще

нет? Счастье понятие кратковременное, а как подумаешь, что впереди болезни, старость, смерть близких и твоя собственная смерть...

Есть счастливые люди, которым легко живется в силу их характера, они живут сегодняшним днем, у них мозг так устроен, что не натыкается на эти жуткие вопросы. Еще безусловно счастливы дети, конечно, те, в первую очередь, кто находится за бастионом бабушек — дедушек, мам и пап, они защищены, им спокойно до поры до времени. Да, а у меня на всем свете одна мама, старенькая и больная. Господи, продли ей жизнь. Мне кажется, что если с мамой что-нибудь случится, я не переживу. Как жить, если ты для всех чужая, никто тебе не скажет «Линочка», «детка», «доченька», никто не поплачет над тобой, не будет про тебя думать, когда ты на работе, не выговорит резко, что мало ешь и плохо выглядишь. Жизнь моя с мамой не идиллична, к старости у нее испортился характер, стала она ворчливой, раздражительной. И я не могу сдержаться, взвиваюсь, мы неделями не разговариваем. Почему у людей все так нескладно? Самые близкие друг другу люди ведут себя, как чужие, даже хуже; чужие так не ранят, так не кусают в самое больное место — им оно неизвестно… О. Н. все говорил.

Я его перебила: «Если не возражаете, пойдемте ко мне, выпьем чаю, я замерзла очень». Мы отправились.

Увидев О. Н. , мама вопросительно на меня взглянула.

— Мама, Олег Николаевич читал у нас в школе лекцию, мы очень замерзли и хотим чаю.

Говорила я весело, но моя проницательная мама шепнула: "Припудрись, у тебя лицо зареванное". Мы прошли в мою комнатку — двенадцать квадратных метров, стол, стул, тахта, несколько книжных полок, окно. Я ненавижу свою комнату, цвет обоев — красные — меня раздражает, и ничего не делаю, чтобы ее "украсить". Да и как украсить? Хорошая картина не по карману, дешевка не нужна. Вообще во мне нет "художественного смысла", завидую людям, которые умеют создавать своими руками красоту. Я не умею — не знаю, с чего начать. Мещанская красота мне не нужна, а к другой не знаю, как подступиться, да и времени нет и желания большого. Уже привыкла. А, наверное, хорошо жить среди красоты — совсем другое настроение.

Настроение портится и от вида за окном — вплотную подступившие стены домов — и от запаха бензинового угара. Последнее время у меня обострилось обоняние. Раньше мне нравилось, что я живу в центре города, в оживленном месте, отсюда легко добраться, куда захочешь. А сейчас ночью лежу, пытаясь уснуть, вдыхаю ту пахучую смесь, которая идет в комнату из раскрытой форточки и думаю: "Ты обречена вдыхать этот газ до скончания дней. И ничего не попишешь, дорогая". И под эти мысли с трудом засыпаю.

О. Н. сел к столу, я на тахту. Постучала мама — она принесла горячий чай и пачку вафель — аварийный запас, мама смотрела на меня во все глаза, как бы спрашивая: "Это Он"? Меня такой подход раздражал. Я хмурилась. Мама вышла. Пили чай и шепотом разговаривали — ужасная слышимость, а мама в соседней комнате наверняка прислушивается.

Я его успокаивала, говорила, что все образуется, что напрасно он так волнуется, что сколько людей куда более несчастных и обделенных, чем он, а у него работа, семья, что надо жить надеждой, верой надо жить. О. Н. встрепенулся.

— Вы — веруете?

— В бога? Как вам сказать, в традиционного — нет, но нельзя же не задумываться, откуда все это.

— Вот-вот — именно, и еще, на мой взгляд, главное: Достоевский был прав, сказав, что без бога "все позволено". Где взять основания нравственности, чем ее обосновать, освятить? Я согласен, что нравственный закон внутри нас, но здесь должен быть двусторонний процесс: "естественная человеческая нравственность", усвоевоенная с молоком матери, и нормы поведения, подкрепленные неким святым абсолютом, обещающим бессмертие. Как вы считаете?

— Поэма ваша об этом?

— И об этом тоже. Первоначально она называлась "Я — Раскольников", главная мысль в ней, собственно, та же, что и у Достоевского. Зло, что бы оно о себе ни думало, порождает только зло. Даже святая месть. Помните: мой герой, получивший право убить убийцу отца, никак не может остановиться, найти того, кто расправился с его отцом, и он вынужден убивать до бесконечности. Возникает дурная бесконечность убийств, убийцы найти нельзя, нет единственного виновного.

— Это жуткая сцена. Когда он пробирается к телу отца, а на его пути встают все новые и новые люди, как-то замешанные в этом деле, и он спускает на их головы свой страшный топор, убивающий без крови...

— Дань времени, XX век придумал бескровные убийства.

— Ваша поэма автобиографична?

— Что именно? То, что случилось с отцом, — да. А все остальное... Я подумал: а что, если бы у меня было право осуществить месть. Я понял, что это было бы равносильно самоубийству. Поэтому мой герой, так и не добравшись до тела отца, лежащего в двух шагах от него, кончает с собой. Между ним и отцом нескончаемая цепь "виновников", всех убить он все равно не сможет. Можно, конечно, выделить одного и назвать его ИСТИННЫМ виновником, но ведь это подстановка. К тому же, я ставлю вопрос так: имею ли я право карать? Для сознания, воспитанного вне бога, совершенно ясно: виновных надо карать. Вы понимаете, Эля? Я кивнула.

Как давно у меня не было гостей. Я отвыкла быть кому-то интересной. Мне нравилось, что мы сидим, пьем чай, едим вафли. О. Н. рассказывает о своей поэме; но больше всего мне нравилось, что О. Н. называет меня Эля.

И я решилась: "Возьмите еще вафлю, Олег!" И взглянула на него. И он понял. "Спасибо, Эля, вафли очень вкусные". "Да, Олег, мама покупает их по знакомству в фирменном кондитерском магазине!» Какое наслаждение называть его по имени и слышать свое имя, признесенное его голосом. Такие минуты и называются счастьем. Потом мы слушали Сен-Санса в исполнении Обуховой. Арию Далилы. *Открылася душа, как цветок на заре под дыханьем зефира*.

Я не задумывалась, пошлые это слова или нет, мелодия и голос были до осязаемости страстны, и когда Обухова пела, я ощущала эту страстность в себе, только запрятанную глубоко-глубоко. Я слушала в который раз эту музыку и радовалась, что слышу ее вместе с О. Н. Через нее, эту музыку, ему должно передаться, что я — Далила и что у меня "открылась душа".

Когда мама, робко постучавшись, вошла в комнату с вазочкой варенья в руках, мы сидели все в тех же позах — я на тахте, О. Н. — на стуле. Но я, наверное, сильно покраснела. У меня было такое ощущение, словно я только что призналась в любви пошлыми словами и страстной завораживающей мелодией романса Далилы.

После того вечера прошло несколько дней — и вот вызов к Директору, проработка, письмо родительского комитета, состряпанное Чернышевой (кем же еще?) и нелепое обвинение О. Н. в пропаганде религии. Тогда на занятии он действительно говорил о боге как о высшей правде для Достоевского. Но никакой пропаганды в его словах не было. Не виноват же О. Н., что Достоевский был религиозным человеком.

Директор подходит к вопросу как всегда дубово. Чего у него не отнимешь — оперативности, когда дело для него ясно.

Он моментально отреагировал на письмо общественности: наметил целую "серию мероприятий", список которых висел на следующий день в учительской. В целях улучшения воспитательной, а также антирелигиозной работы среди учащихся намечалось:

1) провести классные собрания, на которых заслушать отчеты активистов атеистического кружка о проделанной работе;

2) организовать комсомольско-пионерскяй патруль у входа в церковь, примыкающую к территории школы;

3) отправить письмо по месту работы О. Н. Башкирцева с указанием на недопустимость при работе с подрастающим поколением идеологических промахов;

4) объявить выговор классному руководителю 9 класса Долгиной Э. А. за серьезные упущения в организационной и воспитательной работе.

Вот так. А О. Н. мечтал продолжить свои занятия! Утопист-мечтатель. Ухватился, как утопающий за соломинку, за ребятишек, думал — они ему дадут цель и смысл жизни. Творческий кризис, свара в институте, "жена не понимает" и прочее. Тогда в парке жаловался, как тяжело ему жить, как каждый день буквально заставляет себя встать, одеться, начать что-то делать, не видит во всех своих делах никакого смысла, замучился от мыслей, от самоедетва, боится самоубийства, хочет с головой уйти в какую-нибудь необходимую людям работу, например, со школьниками.

Странный он человек, неужели не видит, что школьники эти совсем не такие, какими он их представляет. Как не заметить, что никто на литературном клубе его не слушал. Хватит с них школьной программы! О философии они только и знают, что это жуткая скукотища и нудища, думать благополучно разучились (с нашей помощью), им "модерн токинг" давай или что-нибудь еще более современное. На будущий год обязательно уйду. Буду искать места в редакции, пойду на любую работу, не могу больше. С одной стороны — Директор, с другой — ученики, вот моя школьная Голгофа, ни радости, ни покоя, ни денег, ни личной жизни.

Прекрасно знаю, что эти мысли — обман, самоутешение. Некуда мне идти. Все редакции забиты "своими" людьми, многие сбежали из школы, кое-кто пришел прямо из пединститута, это те, кто со связями, с тылом. А у меня связей никаких, тыл — старая больная мама, в прошлом врач-педиатр, ныне пенсионерка. Некуда мне идти.

Я так надеялась, что О. Н. будет по субботам приходить в школу, уже рисовала себе картины, как он вечерами после занятий провожает меня домой,

мы пьем чай, слушаем музыку. Все как в тот вечер... Все заглохло в самом начале. Сказано же: не высовывайся, если хочешь жить.

Директор через мою голову вызывал отца Оли Сулькиной "по делу О. Н.". Не знаю, что он там ему наговорил и какая у него собрана информация, но Сулькин выскочил из кабинета — бледный, хватаясь за сердце.

Что будет, то будет. Плыву по течению. На большее нет сил. Довысовывалась. Хватит.

Андрей Воскобойников

Летом буду отращивать бороду. Хотел бы сейчас, да нельзя из-за школы. Оля говорит, что с бородой у меня будет вид авантюриста или викинга. Еще говорит, что ей нравятся мужчины с бородами. А мне хочется ей нравиться. Я даже не знал, что могу так втюриться. Каждую минуту думаю, где она и что делает. Все время хочется ее видеть и слышать. Она не чета другим девчонкам. Не кривляется, не мажется. Она умница, много очень знает и рассказывает здорово. Голос у нее очень хороший, настоящий женский, не хриплый, не прокуренный, как сейчас у многих девчонок. С нею и легко и трудно одновременно. Легко, потому что она не выпендривается, держится естественно, не считает, что я ее собственность, как, скажем Анька, и не пробует на мне своих чар.

Терпеть не могу, когда девчонки начинают красоту наводить при парнях, мажутся, пудрятся, будто так и надо. У Оли этого нет, она даже, на мой взгляд, излишне стыдлива — поэтому с ней иногда бывает трудно, не знаешь, как себя вести: взять под руку или нет, а вдруг обидится? Я про нее живую ничего на знаю, я про таких девчонок только в книжках читал. Мне кажется, что я сплю и днем и ночью. Днем я вижу ее наяву, а ночью во сне. И не как-нибудь там — раздетой, я ее как бы вовсе без тела вижу, одну душу: наши две легкие души летают на воле, щебечут, как птицы, и радуются, что они вместе, что никто не мешает, что кругом так хорошо и ясно.

В школе, однако, все не так безоблачно. Крыса не дает житья, вызывает на каждом уроке и ставит единицы. Ванчик на меня дуется, что я откололся, не хожу "на хату", короче, его на "бабу" променял. Ванчику этого не понять, поэтому я стараюсь с ним поменьше разговаривать на эту тему, ему с Витькой и без меня неплохо, отыскали теплый чердачок, балдеют там с хипповыми девочками, меня как-то не тянет. Хотя раньше — было. Но это для меня пройденный этап. Оле пока про эту страницу моей биографии я не говорю, не знаю, как она к ней отнесется, точнее — знаю и хочу подождать. Но расскажу непременно, мы поклялись друг другу не врать и все про себя рассказывать. Олина инициатива, я бы ни за что не додумался. Еще одно облако — Анька, следит за нами как настоящая ищейка, пару раз я ей уже говорил — не отстает. Видно, считает что я все тот же детсадовский карапуз, вечно под ее опекой. Терпеть не могу таких баб, им бы только охомутать мужика, вот вся их задача. Главное — быть при мужике, а мужик им для того, чтобы их приказы выполнял. Оля никогда не приказывает, но для нее все хочется сделать без всяких просьб, как в старинной песенке поется: "с неба звездочку достану и на память подарю". Очень хочется что-нибудь этакое

для нее сделать. После заседания литературного клуба прошла почти неделя. Пролетела она как секунда. Завтра 23 февраля, Оля сказала, что подарит мне свои рисунки. Я еще не видел ее рисунков.

Сейчас даже трудно себе представить, что неделю назад мы с Олей считались врагами, она меня даже назвала фашистом, а я в классе над ней насмехался. Оля по этому поводу прочитала мне вчера стихи какого-то испанского поэта: "От проклятий до объятий, видит бог, недалеко". Прочитала и покраснела. Наверное, представила, что я представил, что ее обнимаю, а я вовсе ничего такого не представлял. Пусть Ванчик со своими кралями валяется по чердакам, дешевка это, от скуки да от балдежа. Там все равно, та ли девчонка, эта ли, согласна — и ладно. И делается все как-то механически, словно и не люди, ничего в тебе нет — ни стыда, ни сочувствия — только скорее дело сделать, а на девчонку эту, что с тобой, тебе глубоко наплевать, даже лица не видишь, да они все на одно лицо. Ванчик за "хату" взимает деньги — по трояку с ребят и девчонок, так что "подруги" ничего с этого не имеют, только разве по стакану да конфет горсть. А что касается удовольствия… про себя лично скажу, что сильно преувеличено это удовольствие, да и грязно как-то, пакостно, а девчонкам должно быть и подавно. Хотя всегда находятся желающие. Стоит Ванчику клич кликнуть — у него таких подружек чертова прорва. Я когда-нибудь Оле про все это расскажу. Я ей скажу, что эти дела — моя предыстория, за которую мне перед ней стыдно, а история моя — это она, Оля. Но скажу я это потом, когда уже буду уверен…

Кто я, собственно, такой? Какое у меня назначение в жизни? Можно ли меня полюбить, но по-настоящему, не так как большинство: "у него морда симпатичная — потому он мне приглянулся". Вот я, взрослый парень, здоровый, сильный, а цели в жизни у меня никакой, к чему себя готовлю — дядя знает. Ну, если не дядя, то мама. Она бы хотела меня в иняз определить, у нее там однокурсники работают. А я? Чего я САМ хочу? Пока я не ответил себе. И любить меня пока, кроме как за приметную морду да за бицепсы, не за что.

Ночью мне приснилось, что я сражаюсь с чудовищем, с настоящим драконом — из трех пастей дым валит. Я одну голову отсекаю — другая вырастает, и так я бьюсь целый день — до вечера. Вспотел весь, ноги в земле по колено, да к тому же меч вот-вот из рук выроню от слабости. Жуть такая во сне взяла — тут я проснулся. Посмотрел на часы — 7 часов, решил еще 10 минут полежать — и опять глаза закрыл. Решил сон досмотреть. У меня такая привычка с детства, сны могу смотреть как по заказу, с продолжением. Лет до семи целый сериал видел из ночи в ночь под названием "Первый милиционер". Значит, стал сон досматривать, любопытно, чем кончится, чья возьмет, хотя вроде бы ясно — у дракона три головы неуязвимых, а у меня… Но я не сдаюсь, я духом не падаю.

А продолжение было такое. Появляется, откуда ни возьмись, руководитель литклуба с большим топором. Я обрадовался, думал, что он на помощь пришел — свежая сила, а он подошел и своим топором меч из моих рук выбил. И топор рядом положил и встал рядом. Теперь нам обоим погибать.

А тут Оля идет грустная, и в руке цветы, два нарцисса, я говорю: "Почему два?"

А она плачет и показывает на дракона. Я понял: это она мне на могилку. Все зажглось у меня внутри — какая могилка, когда мне еще шестнадцати нет и вон силы сколько, схватил топор и… проснулся, как раз будильник звенел.

Пока в школу собирался, все сон разгадывал, как какая-нибудь Татьяна Ларина; ну, дракон — это понятно; говорят, следующий год, по японскому календарю, будет годом дракона, вот в голову и запало. Откуда тут руководитель

литклуба с топором затесался, тоже ясно. Его Оля к нам в школу привела, сказала, что родственник, я потом дополнительно спрашивал, говорит, — приятель отца. Он на занятиях все про топор распространялся, что в нем все зло и лучше без топора (кто спорит? лучше что-нибудь поновее, посовременнее, мы на этот счет с Ванчиком все занятие прохохотали, а потом нам надоело, и мы освободила помещение). Зануда он, хоть и приятель Олиного отца. Заладил: убить сильного, убить сильного! Да как ты его убьешь — сильного? Сильный он тебе сдачи даст, это тебе не какой-нибудь Мармеладов или там Сонечка. Дешевка все эти рассуждения. И чего Оля в нем находит? И про нарциссы тоже знаю — откуда.

В прошлое воскресенье (как раз после "литературной субботы», когда я в первый раз проводил Олю) мы с Олей поехали в Измайловский парк. Получилось это незапланированно. С утра меня била какая-то лихорадка, прямо места себе не находил, ругал себя, что не договорились о встрече — и вот воскресенье пропадает. И какое воскресенье — снег, солнце, минус пять градусов. Самая лыжная погода. И мама с утра меня дергала, воспитательный зуд напал, всю неделю за суетой некогда этим заниматься, а тут: почему постель не убрал, одежду разбросал, в комнате кавардак, музыка гремит на весь подъезд и прочее. Звонить я Оле не решался, хотя телефон знал, решил пойти подежурить возле ее дома, выйдет же она когда-нибудь. И она вышла. Всего каких-нибудь полчаса простоял. На лыжах уже было поздновато собираться, да Оля и не любит, говорит, что она пешеход. Предложила поехать в Измайлово, она там все детство жила, до четвертого класса. Правильно, она к нам в четвертом пришла, была тогда круглая, розовощекая, с толстой рыжей косой, сейчас совсем другая, можно сказать, прямо противоположная, только волосы остались длинные, очень красивые волосы. Я бы сам сроду не додумался поехать в Измайлово просто так, без лыж.

Сколько раз ездили с компанией на природу, так с музыкой, бутербродами, с обогревом. Обычно под боком была чья-нибудь дачка, и второе отделение пикника проходило там. Пока я Олю внизу поджидал, я думал, что, может, она захочет в кино пойли или куда-нибудь в музей (вот куда мне не хотелось) но она предложила в Измайловский лесопарк. И мы поехали. До чего же там здорово было! Впрочем, я даже не о природе. Мы как в троллейбус сели, я больше ничего уже не соображал, только, что она рядом. Никогда бы не поверил, если бы мне кто рассказал, что со мной случится. Какое-то сумасшествие. И легкость такая.

Все время как блажной, к себе прислушиваешься, что там внутри делается, на губах идиотская улыбка, как бывает с некоторыми после хорошей выпивки (я от выпивки злею). Забрались мы глубоко, в ту часть, где уже не парк, а настоящий лес. Под конец я уже Олю на себе тащил (в прямом смысле), так она устала. О чем мы только ни говорили! Больше всего — о детстве; решили, что это самая лучшая пора в человеческой жизни; честное слово, если б можно было, я бы в нее вернулся. Оля рассказала, как в детстве она впервне узнала, что люди умирают.

Она спросила у няни: "И ты умрешь?"

— Да.

— А я? — Тоже. И тут она расплакалась.

Она и когда рассказывала, чуть не заплакала; у меня сердце сжималось, такая она мне казалась маленькая, слабая. Я держал ее за руку, а тут взял за плечи, хотелось ее поддержать, она на меня так взглянула ... и я руку убрал. И как раз тогда она сказала про нарциссы. Вообще у нее на цветы свой взгляд. Она любит только живые цветы, которые растут в поле, на лугу или в саду, а сорванных цветов ей жалко, она их зовет ранеными или умирающими.

И рисует она только живые, не сорванные цветы, такие, каких никогда не было на земле, возможно, они растут на других планетах. Любимые Олины цветы — нарциссы.

Мы шли по еле заметной тропинке, увязая в снегу, впереди белела большая поляна, такая веселая в лучах солнца. Оля остановилась и зашептала: в детстве она решила: когда умрет, превратится в цветок нарцисса, и верит в это до сих пор. Какая она еще девочка! Так хотелось ее погладить, но побоялся. Спросила, в какой цветок я бы хотел превратиться. Мне стало смешно. Я — и в цветок, скорее уж в дерево или там, в кустарник какой. А любимые цветы у меня — ландыши. В детстве, когда мы всей семьей жили на даче (тогда еще отец был с нами), мы втроем ходили в лес за ландышами. Трогательный очень цветок и нежный. Букетик ландышей мама ставила в вазу посреди стола, и какой был запах — до сих пор помню. Так что если превращаться в цветок (ха-ха!), то в ландыш.

В общем отыскал все составляющие сна, что откуда взялось: все по науке, никакого идеализма: дневные впечатления определяют ночные видения. Единственное, что мне во всем этом не нравилось, что сон был какой-то неприятный, могильный, совершенно противоположный моему настроению. Ванчик в таких случаях говорят "Наплюй", и я наплевал.

Сегодня 23 февраля, надо потарапливаться в школу: девчонки с утра будут нас поздравлять и дарить всякую ерунду. Оля обещала принести рисунок. Тогда, в Измайлове, я признался, что ни черта не смыслю в живописи, считаю ее ненужным искусством, литература хотя бы учит жизни, а живопись? Ну, предположим, исторические картины, это куда ни шло, они представляют, как могли происходить исторические события, а вот пейзаж или там натюрморт — этого же в жизни полно — березовых аллей, и увядающих астр, и подносов с грушами и яблоками. Я, конечно, сознательно огрублял, поддразнивал. Оля засмеялась и сказала: "Какой ты ребенок, Андрей". Другая стала бы стыдить, читать нотации, объяснять всю необходимость живописи и этих картинных пейзажей, а она... Все-таки она удивительная девчонка.

А потом заговорила о своем любимом Рембрандте, как недавно в Эрмитаже один сумасшедший финн плеснул серной кислотой в картину Рембрандта и, наверное, навсегда испортил. А картина уникальная, называется *Даная*, и это такая потеря для всех людей и для нее, Оли. Я делал грустное лицо, но, честно говоря, не понимал, почему это такая трагедия — восстановят, еще лучше будет. Если по правде, кому эта Даная особенно-то нужна? Разве специалистам или художникам, которые по ней рисовать учатся. А обычному человеку — ему что попроще, картинку какую-нибудь из журнала или даже просто фотографию. Я уже стоял у дверей, когда мама меня зачем-то позвала. Что-то ей понадобилось. Когда я зашел в мамину комнату, меня словно током ударило. Мама чего-то говорит, а я не слышу. "Мама, — спрашиваю, — как называется эта картина над кроватью?» — Эта? Даная. Зачем тебе? Я ему про Фому, а он ...

Почему-то я знал еще до маминого ответа, что она, эта женщина в овальной рамке, чем-то похожая на Олю, что она — Даная.

Еле высидел уроки. Надоело, скулы сводит. Сегодня на литературе Эвелинка сказала, что на вечер по домашним обстоятельствам прийти не сможет — мать заболела. Все жутко обрадовались, кое-кто даже зааплодировал,

а зря: Эвелинка погоды не делает, в классных руководителях первый год — еще не заматерела, вот если бы на вечере вообще взрослых не было во главе с директором... То и был бы ... чердак. Точно. Ванчик потушил бы свет, разлил спиртное, сказал бы: "Девочки, один раз живем — давайте развлекаться". Ну, конечно, не все бы остались, человек десять бы слиняли, кто из трусости, кто из принципа, из девчонок первой бы Оля ушла, это сто процентов. Интересно, Анька бы осталась? Надоела она мне до чертиков.

Сегодня смотрю, перед первым уроком у всех парней на парте лежат мишки плюшевые, а у меня еще пакет какой-то, перевязанный ленточкой. Развернул, а там вязаная шапочка спортивная. Ванчик как увидел — заржал: "Подарок невесты". Гляжу на Аньку, она головой кивает, верно, мол, я. Улыбается как новобрачная. Кто я ей, чтоб мне шапочки вязать? Что она вяжется? Мы с Олей из-за нее слова сказать друг другу не можем, всегда она тут как тут. На перемене подходит: «Андрюша, тебе понравилось?» Я достал пакет и даю ей, она пятится, ребята вокруг хохочут, прямо цирк. Делает из меня идиотика, хорошо Оли рядом нет. Выбросил пакет и ленточку следом; добром не хочешь — так получай, и пошел из класса. Грубо, конечно, получилось, но я тоже не святой — терпеть ее дурость. Вчера в учебнике истории нашел листок со стишками:

Я слов тебе не говорю, ты сам пойми,

Что сердце я тебе дарю, возьми!

И две буквы в конце: А.Б. Анька Безуглова, то есть. Ежу понятно, что она, даже без подписи. Вчера сердце дарила, сегодня — шапочку ... может, я ей как мужчина нужен?

Оля сказала, что принесет рисунок вечером, на дискотеку. После уроков она поедет в салон далать прическу, я ей не советую, мне нравится, когда она просто распускает волосы — и все. Но ей хочется чего-нибудь новенького, в этом она похожа на остальных женщин. Сегодня первый раз за неделю мы с Олей не встретимся после уроков. Думаю сходить на секцию, а то как бы меня не выгнали из-за пропусков. Тренер у нас строгий. И Ванчика он уже предупредил.

Вышел из дому — и встретил Витюшу, пошли вместе, а тут и Ванчик. Ванчик предложил отпраздновать мое возвращение и воссоединение нашей тройки. Я подумал — и согласился, потренироваться можно и на каникулах. Настроение у всех троих было приподнятое; погода, правда, не задалась — пасмурно и сильный ветер. Пришли к Четырнадцатому дому. Здесь в шестом подъезде живет Оля, она уже уехала в свой салон.

Покрутились поодиночке возле пятого подъезда. У Ванчика, как хозяина "хаты", своя тактика. Всем скопом к подъезду не подходить, особенно, если перед домом старушки-пенсионерки. Но на этот раз, видно, из-за ветреной погоды, никого возле подъезда не было. Ванчик пошел за горючим, предварительно собрав со всех "налог". Витюша отдал за меня и за себя. За месяц я задолжал Витьке тридцатник. Как ни крутись, что-то надо предпринимать с финансами. Ванчик доит импортный Витькин биллиард, берет по рублю с игрока за час игры. Витюша входит в пай, но вообще-то у него дойный папаша: дает, сколько спросишь. У Ванчика отец рабочий, а я, как говорится, безотцовщина (терпеть не могу этого слова), так что надо крутиться самим, и в основном нелегально, что мне не нравится по причине "можно загреметь".

Пришел Ванчик с полиэтиленовой сумкой, сказал, что сейчас подойдут девочки, но еще до девочек приперся Ашурлиев. Его только не хватало, терпеть ненавижу этого маминого сынка. Ванчик ему так вежливо сказал, что все места забиты, что вышла неувязочка: он думал, что Андрюша отвалил, а

Андрюша не отвалил. Мы посмеялись. Когда Ашурлиев отошел, я спросил Ванчика, зачем он приваживает Шурлика, на кой черт тот ему сдался. Ванчик ответил, что у Шурлика должны водиться деньги, как у всякого армяшки. Тут вмешался Витька и сказал, что Ашурлиев вовсе не армянин, а татарин или даже азербайджанец: он не помнит, кто именно, но не армянин, это точно, сам видел в журнале.

Я сказал, что мне наплевать, кто он такой, пусть даже еврей, но дела с ним иметь на хочу, чужак он. Тут Ванчик прямо зашелся от смеха: "Нашего Андрюшеньку восточные мужчины не привлекают, только женщины, в особенности еврейские". Хотел я ему врезать, да что с дурака возьмешь? "Ванчик, — говорю, — ты эту тему оставь, помни, что до сих пор ни одного раунда у меня не выиграл, так что и в будущем головой рискуешь, хоть я и давно не тренировался". Опять посмеялись. Ванчик принял стойку, и мы шутя побоксировали, тем более, что на улице было довольно прохладно.

Решили, что Ванчик подождет возле подъезда, а мы с Витюшей поднимемся наверх. Мы уже были у цели, когда на последней площадке открылась дверь и выполз наш старый знакомый, не просыхающий дядя Степа: "Куда вы, ребята, я вас". Дядя Степа знает свой интерес, точно открывает дверь на наше почти бесшумное прохождение, Витька его успокоил: "Ничего, дядь Степ, мы тихо", а я добавил: "Поднесем тебе, дядь Степ, ты не сомневайся, сейчас Ванюша подойдет". Дядя Степа мотнул головой и на время скрылся за дверью. Чердак оказался закрыт, но нам было не впервой справляться с замком. Помещение неказистое, но довольно просторное — метров десять, маленькое пыльное окошечко над головой, три доски посредине для сиденья, по углам притащенные Ванчиком попоны.

Ничего здесь не изменилось в мое отсутствие. Через минут пятнадцать послышались шаги на лестнице. Слышно было, как дверь на шестом этаже снова открылась, это дядя Степа вновь вылез на площадку и, получив от Ванчика желаемое, заполз обратно. Взимая с нас налог, Ванчик предусматривает и эту статью расхода. Когда Ванчик с подружками (он называет их гирлы) были уже возле чердачной двери, случилось непредвиденное. Из квартиры напротив дяди Степиной выбежал человечек и бросился вдогонку за Ванчиком и девчонками, мы с Витькой из своего укрытия слышали, как он их поливал и грозил милицией. В таких случаях Ванчик быстро линяет, милиции он боится. Короче, через пять минут мы все стояли на улице, злые, как черти. Витька плевал в снег, Ванчик по-тихому матерился и ругал себя, что не вычислил быстроногого гражданина, не иначе как по болезни оставшегося дома. Вообще Ванчику хорошо известен состав жильцов подъезда и часы их домашнего пребывания, он даже хвастается, что при желании мог бы заняться наводкой.

Пока Ванчик матерился, а Витька сплевывал в снег сквозь зубы, я посмотрел на "гирл". Одну я знал, когда-то она училась в нашем классе. Ветка ее зовут, дура, каких свет не видел, как раз в Ванчиковом вкусе; вторую, долговязую, я не знал, а третья стояла ко мне спиной; что-то было в ней знакомое, я еще до конца не понял что, когда она обернулась. Анька это была, Анька Безуглова. Она в упор смотрела на меня без улыбки. Мне стало жутко. Ну Ванчик! А Ванчик в это время что-то обдумывал, видно, у него был какой-то запасной вариант.

Я отозвал его в сторону: "Зачем Аньку привел?" Он оскалился: "Она сама, спросила про тебя и это... она ж твоя гирла еще с детсада". Поражаюсь, до чего у Ванчика морда бывает гнусная, притом что он вполне симпатяга, да и фамилия у него Милых.

Давно еще мама меня спрашивала: "Чего ты с ним водишься? Он же совсем другой, у него повадки какие-то звериные (Ванчик легко шевелит ушами, смешно двигает носом и ходит очень тихо, как зверь). Интересно, с кем же мне еще водиться? С сыном американского президента?

Мы с Ванчиком с одной улицы, с одного дома, даже из одного подъезда, учимся в одном классе, в одной секция занимаемся. Чем он плох, Ванчик? Главное — товарищ хороший, не выдаст, не продаст, а что трусоват малость, деньгу любит — пустяки это. А вот бывают минуты — так бы ему по морде его симпатичной и съездил.

Ванчик тем временем предложил такой вариант. Сейчас он войдет в шестой подъезд, там наверху мастерская художника, ему, Ванчику, один пацан эту «хату» за рублевку продал. Если там никого нет и замок не очень сложный, можно рискнуть.

Я молчал, девчонки вели себя так, будто их ничего не касается и все это "наши трудности". Витька наотрез отказался. Сказал: "В мастерскую не полезу", в последний раз плюнул и ушел. Витька такой, с первого взгляда кажется рохлей, а когда ему надо, проявляет волю, недаром хочет поступать в военное училище. Витька ушел, а Ветка с долговязой начали шушукаться и хохотать и все оглядывались на Ванчика. Ванчик подошел к ним, и они уже втроем стали покатываться. Мне подходить не хотелось, я примерно представлял, о чем идет речь. Анька тоже стояла не двигаясь, словно застыла на месте. Минуты две совещались, потом Ванчик пошел в подъезд на разведку, а долговязая сделала всем ручкой и улетучилась. Ванчик не возвращался долго.

Я успел немного подумать. Чего, собственно, мне надо? Зачем я здесь торчу? Я же неделю назад навсегда распрощался с чердаком. И, самое главное, при чем тут Анька? Она-то тут при чем? Может, она считает, что таким образом сумеет меня охомутать? И сбудется ее любимая мечта? Наверное, эти мои мысли выразились на лице, потому что Анька, стоявшая в двух шагах и глядевшая на меня во все гляделки, даже ойкнула: "Ты, Андрюша, не думай, ты сейчас что-то плохое подумал. Я ведь без претензий». Без претензий, но на что-то она все же надеется? Что сумеет понравиться или разжалобить, а чего доброго, шантажировать начнет или по-настоящему... Она ведь не Ветка, ей бабские хитрости не известны. Ну этот Ванчик, ну удружил! Лучше б даже та долговязая, чем Анька. Долговязую я не знаю и знать не хочу, нет мне до нее никакого дела. До Аньки, правда, тоже нет. Она сама вяжется. Уж очень ей захотелось. И чтоб непременно со мной. И без последующих претензий. И чего мне в голову брать, я же давно понял, что нужен ей как мужчина. Потом, когда я все заново прокручивал, я подумал, что ни разу за все это время не вспомнил про Олю. Не хотел вспоминать, слишком было бы дико.

Ванчик вернулся с веселой мордой, значит, порядок. По второму кругу стали забираться на лестницу, впереди мы с Ванчиком, сзади гирлы. Оказалось, что Ванчик уже справился с замком, и мы без задержки очутились внутри. Мастерская была чуть побольше нашего чердака и не такая темная. По стенам стояли небольшие картины, стол посредине был завален красками, из мебели только и было, что этот стол, две табуретки да старая поржавелая раскладушка, которой место было на помойке. А я-то слышал, что у художников не мастерские, а дворцы, с ванной, санузлом и двуспальными кроватями; видно, не у всех, этот был из бедных.

И картинки у него были какие-то бедные, малопонятные. На одной, например, были изображены два мелких человечка, он и она, на помосте, а

вплотную по краям словно и не люди — лиц у них вообще не было, вместо лица — у кого рот, у кого нос, а у кого два глаза, вот и вся картина, да вот еще: эти рты, носы и глаза словно взбесились — глаза лезли из орбит, рты растягивались, уши раскручивались как пружины, видно, им не нравились ДВА мелких человечка и хотелось согнать их с помоста — вот что я понял из всей этой дребедени. Халтура, а не живопись; Ванчик ее тут же окрестил "абстрактным дерьмом".

Ванчик времени не терял, поставил на стол бутылку, быстро ее открыл, вывалил из полиэтиленовой сумки десяток конфет, при этом он то и дело повторял: "Пошевеливайтесь, художник не дремлет" или "Тише, кажись, идет холсты дерьмом мазать" и для понта добавлял еще несколько слов. Вообще Ванчик в выражениях не стесняется, гирлы на это хорошо реагируют, некоторые еще похлеще загибают.

Мы с Ванчиком сели на табуретки, гирлы — к нам на колени. Пили из горла, по очереди: сначала Ванчик и Ветка, потом мы с Анькой. Ветка, я заметил, пьет мало, а пьянеет быстро, тут же сходит с тормозов — делай с нею что хочешь. Анька глотнула и закашлялась, пришлось бить ее по спине, а Ванчик зажимал ей рот, чтобы не так слышно было на лестнице. Когда пили по второму разу, уже не кашляла, обмякла. На меня водка плохо действует, я завожусь; так что пил умеренно, к тому же вечером дискотека и надо быть в порядке.

Потом Ванчик и Ветка пошли к раскладушке, и она тут же заскрипела, а мы с АНЬКОЙ расположились в углу, как раз под той картиной, я ее тогда же и рассмотрел. Мне показалось, что Анька притворяется сильно пьяной, хотя вовсе не такая пьяная, она вся дрожала и прятала от меня лицо. Я ее спросил: "Может, не надо?" Она приподнялась на локтях и посмотрела на меня и что-то шепнула, я не понял. В ту минуту у меня что-то случилось со зрением, вместо Анькиного лица я увидел Олино, даже зажмурился, потом смотрю — нет, Анька, ничего похожего на Олю, хотя, может, и есть что похожее, может, глаза похожи, я особенно не вглядывался.

Теймур Ашурлиев

Если есть во мне по-настоящему восточная черта, так это ревность. Вообще-то моя семья давно обрусела; как говорят в Америке, натурализовалась. Родители с юности живут в Москве, кончали здесь институты, азербайджанским не пользуются, почти забыли, а я не знаю его вовсе. Азербайджанского во мне разве что имя, немного внешность, но внешность у меня не самая характерная, случается, меня принимают за русского: "интеллигентные мальчики в очках" везде одинаковые.

Любимый мой поэт — Лермонтов, и не какой-нибудь там «Хаджи-Абрек» или прочая экзотика, а ранняя философская лирика. Азербайджанской литературы не знаю, не читал. Лет в десять пробовал, по совету деда с материнской стороны (он приезжал к нам погостить), читать Низами, да заскучал... не дотянул до конца, не знаю, чем у этого «меджнуна» все кончилось. Сюжета, как вспоминаю, там почти нет. Один юнец, школьного возраста, влюбился в сверстницу, да так сильно, что в полном смысле слова обезумел (Дед мне объяснил, что "меджнун" значит по-арабски «влюбленный безумец»).

И все, дальше уже никакого развития, все по кругу идет: он безумен — поэтому ее за него не выдают, а безумен он, потому что ее любит; все вокруг этого и крутится, скучно, но если бы сейчас эта книжка у меня была, я

бы в конец заглянул: любопытно, чем вся эта круговерть завершилась. Ничего хорошего, конечно, не вышло... любовь — дело фатальное. Но книжки у меня нет — где-то затерялась, а в школьной библиотеке про Низами, я думаю, и не слыхали. Получается, что единственную попавшуюся мне в руки "восточную" книжку я не дочитал до конца.

Но я отвлекся от разговора о ревности. Я ревную даже маму, если она подолгу с кем-нибудь разговаривает, будь то мужчина, мой сверстник или маленькая девочка. Я тогда начинаю думать, почему мама отдает свое время не мне, а этим посторонним людям, наверно, я ей менее интересен, надоел, чем-нибудь досадил и так далее. Потом, позже, когда мы возвращаемся из гостей, я с ней не разговариваю, на вопросы не отвечаю или грублю, мама никак не может понять, в чем дело, а это моя ревность или мой эгоизм, как предпочитают говорить взрослые. Я не хочу (и так было с рождения) делить маму ни с кем.

Я уже сейчас знаю, что женюсь на очень некрасивой девушке (если вообще женюсь), желательно, чтобы родом она была из какой-нибудь глухой горной деревни и чтобы родственников у нее было немного. Но где сейчас такую возьмешь? Русские девчонки очень красивые, но распущенные, взять хотя бы эту Ветку-Иветку. Не идет она у меня из головы.

Короче, двадцать третьего февраля в пятнадцать ноль-ноль я покинул теплую и уютную нашу квартирку я вышел в дряную промозглость, направляясь к Четырнадцатому дому. По дороге я решал, как себя вести. Главное, не волноваться, не терять самообладания, что бы Ванчик ни сказал. Войти в ситуацию, а потом действовать по обстоятельствам. Подходя к дому, я притормозил, решил незаметно понаблюдать, есть ли кто из "наших". Они были на месте, и Вета была тоже здесь. Странное все-таки у нее имя. В сущности лицо у нее очень простенькое, но она как-то так красит глаза, брови и губы и так одевается, что на нее все поневоле оглядываются. Фигура у нее что надо, это я еще на пляже разглядел, а сейчас на ней было длинное красное пальто, через плечо перекинут длинный черный шарф; одежда делала ее бесформенной, но смотрелось стильно.

Она болтала с кудрявой худой блондинкой весьма потасканного вида, Милых с Воскобойниковым и Гладковым стояли поодаль и тоже о чем-то разговаривали. А между двумя этими группами находилась Анька Безуглова, носком сапога она перебрасывала снег из одной точки в другую. Идти или не идти? Милых меня звал, но от него можно ожидать любого подвоха. Я подошел. И Милых, со свойственной ему наглой улыбочкой, меня отшил, дескать, уже комплект, опоздал, дружок. Вета и ее подружка на секунду прервали болтовню, я чувствовал на себе их взгляды. Наверно, я сильно побледнел, но произнести ничего не мог: боялся, если начну говорить, голос задрожит или стану заикаться.

Так, ни сказав ни слова, я отошел. Вслед раздался визгливый смех блондинки. Надо мной? Мне всегда кажется, что что-то в моем виде или поведении не в порядке и может вызвать насмешку; последнее время это ощущение усилилось, я стал наблюдать, как люди реагируют на мое появление, особенно женщины.

Недавно я случайно подслушал разговор мамы с ее приятельницей, "тетей Ашхен с усиками". Тетя Ашхен сказала: "Как Мурик вырос, возмужал, наверное, уже и девочки есть".

Мама рассмеялась: "Он у нас бирюк, общается в основном с книжками, да и робок, девчонкам такие не нравятся».

Тетя Ашхен помолчала и выдохнула: "Боюсь ты, Люся, не знаешь своего сына, глаза у него далеко не смирные, с искрами глаза, ты еще с ним хлебнешь горя, как я с Сеней" (сын тети Ашхен отбывает наказание).

Дальше я не слышал, стукнула дверь, и я отошел, потом я заперся в ванной и долго смотрелся в зеркало, разглядывал свои глаза, что там Ашхен болтает про искры.

В целом я сам себе не понравился, и глаза из-за очков разглядеть было трудно, а снять очки нельзя — ничего не увижу — у меня близорукость минус одиннадцать. В тайнике души я сознавал, что разглядываю себя не своими глазами, а глазами окружающих, и даже не всех окружающих, а именно женщин, а за этим магическим словом — женщина — маячила фигура одной — вульгарно раскрашенной, развязной и жалкой девчонки со странным волнующим именем — Вета.

И все же я не ушел, то есть я ушел из поля зрения "честной компании", но решил понаблюдать за ними, благо выступ стены позволял это сделать. Вокруг было безлюдно, холодно и мерзко. Мерзко было на душе, во рту был какой-то горький вкус, виски сжимало; я вспомнил, что сегодня, по маминому календарю, день магнитных бурь. Я выглянул из-за уступа. Шестерка гуськом зашла в подъезд. Я подождал минут пять и только хотел выйти из своего укрытия, как дверь подъезда раскрылась и оттуда вылетел Ванчик, следом выскочили остальные. Несколько минут они совещались, потом Гладков что-то сказал и пошел не оглядываясь в противоположную от меня сторону. Следом за ним, вихляя тощим задом, поспешила блондинка.

Что у них там произошло? Может, Гладков и тощая решили порезвиться в другом месте? Милых скрылся в шестом подъезде, Анька подошла к Воскобойникову, а Вета достала сигарету и закурила. Внезапно я почувствовал себя так тошнотворно, что мне захотелось плюнуть на все и уйти. Пусть себе делают что хотят, какая мне разница? Зачем я здесь торчу и чего мне надо? Я что — приставлен к ней шпионом? Мне что обязательно нужно увидеть, как она с Милых... или с Воскобоиниковым или с обоими вместе? Снова что-то тяжелое стало сжимать голову, я сжал пальцами холодный выступ.

Милых вернулся, он и Воскобойников вошли в подъезд, за ними прошмыгнули девчонки, минут пять я простоял не шевелясь. Потом быстро пересек улицу, оглянулся — никого вокруг не было — взялся за ручку двери и вошел в подъезд. Здесь было темно и не холодно, даже тепло, спиной я прислонился к горячей батарее и несколько секунд нежился, прикрыв глаза; здесь приятный детский какой-то запах — пахло теплой гречневой кашей и пирогом; внезапно до меня донесся слабый звук, он шел откуда-то сверху — не то смех, не то вскрик, я оторвался от батареи и с бьющимся сердцем стал подниматься по лестнице. С шестого этажа пролет лестницы вел на чердак, я поднимался осторожно, ступая на носки; у входа я остановился. Замок на двери был сорван, внутри раздавались голоса, я прислушался, говорил Ванчик, слов было не понять — общий фон и смех.

Довольно нагло они здесь расположились, а если кто сюда заявится? Жилец какой-нибудь или рабочий по лифтам... Представляю картинку: он открывает дверь, а там...

А я? Сумею я открыть дверь? Зачем? Да просто...нарушить их приятное времяпрепровождение, их кайф. А что потом? Да какая разница, что потом? Главное — нарушить кайф. Нет, не выйдет, я один; вот если бы со мной были ребята из матшколы, Колька Журбин, например; он иногда звонит, распространяется об успехах (поди — проверь!), и в олимпиаде-то он отличился, и по обмену за бугор собирается, и Крюкова Алена наконец "клюнула", по-

следнее — чистейший бред, надо один разок увидеть плюгавого коротконогого Кольку, к тому же разноглазого, чтобы понять, что Крюкова ему и не снилась. Брешет. Желаемое выдает за действительное. Крюкова Алена — мечта всех парней матшколы — рослая, сероглазая, с пушистой косой. Кольке до нее как до Английской королевы. Хотя ... хотя ... кто его знает, может, и не брешет; в этих делах не красота решает, а что? Да наглость. Вон Ванчик... только наглостью и берет. Что-то тихо там стало. Горечь какая во рту, я тут уже весь пол исплевал. А вот в этой кишке можно спрятаться, когда они выйдут и начнут спускаться. Они выйдут, а я войду. Зачем? А просто так. Посмотреть. Любопытно все-таки. Скрипит что-то. Кровать? Может, в скважину заглянуть? Нет, до этого я не унижусь. Спички в кармане, не курю, а спички ношу, на всякий случай. Случай, случай... такой, например, как сейчас. Чиркнуть спичкой по коробку и... Нет, подожду, пусть выйдут. Представляю её лицо, все в саже, с закрытыми глазами, нет, не хочу.

А вот местечко поджечь можно, местечко, где она сегодня развлекалась... с Ванчиком... или с ними обоими. Ничего, больше они сюда не придут, в это логовище. Больше не придут. Я об этом позабочусь. Пусть горит синим пламенем.

А встретил я ее перед самой дискотекой, на улице.

Оля Сулькина

Какая ужасная неделя. Столько всего произошло за каких-нибудь несколько дней. В голове не умещается. Сейчас я в школу не хожу, лежу неподвижно на диване, уставившись в одну точку. Ужасная слабость во всем теле, сердце то стучит часто-часто, то куда-то проваливается, на душе пусто и скверно — и никакого просвета впереди. Вегето-сосудистая дистония по сердечному типу, так называется моя хворь, говорят, что ее у нас уже не считают болезнью — так распространена; мне от этого не легче, мне тошно и хочется помощи; но откуда ее взять, если болезнь сидит внутри, в моем сознании, памяти, нервах? И начало всего — 23 февраля, нет, пожалуй раньше, гораздо раньше. Начало — та лекция в институте, которую читал Олег Николаевич. Лекция была на тему "О некоторых аспектах мировоззрения Достоевского в их современном преломлении». Как это ни странно, узнала я о ней от отца. Какой-то папин ученик (отец репетировал по литературе) собирался пойти на «весьма любопытную" лекцию в институт, где работал Олег Николаевич. Называлась и фамилия лектора — Башкирцев, фамилия Олега Николаевича. Все во мне встрепенулось.

Я тут же сказала отцу, что поеду на эту лекцию, "так как Достоевский всегда был мне интересен, а сейчас, в связи со школьной программой, в особенности".

Отец посмотрел на меня удивленно, но не возразил. Собиралась я на лекцию, как на бал: долго думала, что надеть — брюки или юбку, надела брюки; первый раз в жизни накрасила губы маминой помадой, что для меня не характерно, осталась собой недовольна, но все же отправилась.

Минут двадцать искала нужный переулок (ориентируюсь я ужасно), едва отдышавшись, вбежала в зал, когда лектор уже был на трибуне, села с краю, в одном из последних рядов. Народу в зале была пропасть, и стоял гул, который не прекратился даже с выходом Олега Николаевича. Он был такой же, как всегда, слегка растрепанный, одетый набрежно и просто. Говорил он ни на кого не глядя и ни к кому не обращаясь, как тогда в школе; мне казалось, что ему дела нет до того, слушает ли его кто-нибудь, понимает ли: он обращался словно в безвоздушное пространство, но реальное про-

странство зала было заполнено людьми, они шумели, переговаривались. Олегу Николаевичу приходилось останавливаться, так нагло вели себя некоторые.

Я поняла, что многие в зале пришли не послушать, а побесноваться; видимо, им хотелось сорвать лекцию. Рядом со мной сидели двое, один полный в темных очках с презрительно сложенными губами, другой — тоже полный, но гораздо моложе; тот, что в темных очках, комментировал своему спутнику почти каждое слово доклада, и, признаться, на меня не так подействовала сама лекци Олега Николаевича (она была слишком для меня заумной), как этот комментарий. Изредка, давая очередное "пояснение", сосед кидал быстрый взгляд в мою сторону, глаз его я не видела из-за темных очков, но в эти минуты мне хотелось сжаться до точки, стать невидимой. Самое ужасное, что я была не готова к происходящему. До сих пор я полагала, что есть культурные интеллигентные люди, духовная опора страны, и есть люди темные, дикие, отсталые, типа неграмотных дворовых старух и безмозглых неразвитых мальчишек. Среди этих вторых — думала я — еще живет антисемитизм. Здесь, в зале, я увидела людей по виду вполне интеллигентных, и в то же время настоящих законченных антисемитов. К тому же немаскирующихся, неприкрытых, даже распоясавшихся. Одним из таких был мой сосед в темных очках.

Мне не хочется вспоминать все те гадости, что он нашептывал своему соседу. Почему я не встала со своего места, не перешла на другое? Дело не в том, что все места были заняты, просто у меня как-то сразу иссякли силы, я не могла подняться и сидела как приговоренная.

После лекции народ долго не расходился, страсти не утихали, я не знала, что вопрос отношения к евреям так сильно задевает людей. В холле вокруг моего бывшего соседа собралась группа, он стоял в центре, уже без очков, и о чем-то оживленно говорил, обращаясь к своему молодому компаньону. Говорил-то компаньону, а получалось — всем.

До меня донеслось: "национальное кушанье... на крови невинных младенцев..." Казалось, люди вокруг сочувствовали говорившему, ему не возражали. Почему? Как можно слушать такую средневековую чушь спокойно, не перебивая? А я? Я ведь тожу молчу. Но я заинтересованное лицо. Ну и что? Это не оправдывает того, что ты малодушно сносишь издевательство над целым народом, твоим народом. Я подошла к группке, я чувствовала, что, если он сейчас же не остановится, я что-нибудь сделаю, крикну или даже ударю его. До сих пор считаю это чудом: он остановился. Остановился и посмотрел куда-то поверх голов.

Я обернулась — к нам подходил Олег Николаевич. Сначала я думала, что он направляется ко мне, я даже попыталась улыбнуться, хотя это было трудно; но оказалось, что шел он к новоявленному оратору.

Они поздоровались и Олег Николаевич сказал: "Мне кажется, я говорил достаточно аргументированно. Вы согласны или будем спорить?"

Тот пожал плечами и ничего не ответил. Повисла тишина.

Я тронула за рукав Олега Николаевича.

— Оля? Вы здесь? Мы отошли и встали возле колонны.

— Кто этот? — спросила я, указывая на оратора, возобновившего свою антилекцию.

— Этот? — Олег Николаевич ответил не сразу. — Это враг. Бьюсь с ним с открытым забралом и, кажется, безуспешно. С демагогией, потакающей темным инсктинтам, бороться трудно.

— Я его боюсь! — это уже мой панический шепот. — Вдруг он или такие, как он, окажутся у власти?

— Вряд ли ... хотя... мы не договорили, но и этот обрывочный разговор застрял во мне жалом. А не договорили мы вот почему. С другого конца зала к нашей колонне направлялась женщина, высокая, худая, в строгом темно-зеленом костюме и неприятно злым выражением лица.

В двух шагах от нас она остановилась, вперила в меня цепкий взгляд и смотрела, не мигая, минуты две, после чего перевела взгляд на Олега Николаевича. "Олег, я ищу тебя целый час, а ты здесь прохлаждаешься", — голос тоже был неприятный и резкий, интонация истеричная.

— Я здесь нахожусь не более десяти минут, молодая особа попросила меня разъяснить некоторые моменты лекции.

Олег Николаевич говорил спокойно, но что-то в его голосе, в интонации и словах мне не нравилось.

Почему он оправдывается? Кто бы эта женщина ни была, как она может разговаривать с ним в таком тоне? Лягушка сушеная.

— Придется помешать вашей приятной беседе, извините, милая, Олег Николаевич устал, — и она схватила его за руку.

— Подожди! — он нахмурился и вырвал руку. — Я сейчас приду, подожди меня в гардеробе. Секунду они смотрели друг на друга. Я переводила взгляд с одного на другого. В голове мелькнула догадка: сушеная лягушка — его жена. Несчастный, иметь женой такую фурию. В конце концов фурия удалилась, но и я поспешила распрощаться. С этого вечера началась целая цепь неприятностей и несчастий.

Нет, не так, не совсем так. Сначала было счастье. Оно продолжалось почти неделю, когда вспоминаю сейчас об этом, даже не верится и хочется плакать. Я по-настоящему узнала Андрея. Он оказался совсем не таким, каким я его представляла, он чуткий и нежный в душе (чего не скажешь по его виду). Все эти дни я жила в какой-то бездумной радости, ждала встречи, строила планы, перед сном проговаривала все наши дневные разговоры — за себя и за него (запоминалось абсолютно все, каждый жест, каждая дрожинка в голосе) — словом, отреклась совершенно от всего окружающего и на вопросы мамы не могла сразу ответить, переспрашивала, так как била не здесь, а там. Да, и еще одно. Я стала видеть его на улицах.

Как-то пошла в библиотеку за книгой — смотрю: впереди Андрей. Обрадовалась ужасно, подумала, что он не утерпел до встречи (было назначено на пять часов) и, зная, что я пойду в библиотеку, тоже туда отправился. Обозналась, это был не он, но как четко я его увидела.

А потом этот ужасный день — 23 февраля. У меня и раньше были предчувствия, я понимала, что рано или поздно все кончится, но что так быстро и *так* кончится, не предполагала. После школы я поехала к тетке (маминой сестре тете Лере) за платьем, потом часа два просидела в салоне-парикмахерской на проспекте М-а и решила сразу ехать в школу, не заходя домой.

Настроение было какое-то странное, с одной стороны, новое красивое платье, черное с белым, — мои цвета, романтическая прическа в духе Ботичеллиевой Весны — "девушка с локонами", маленький черный берет на голове, а с другой — какая-то нервность, беспокойство. Тогда я думала, что это из-за Ани. В школе она создавала нам невыносимую обстановку, подсматривала,

подслушивала, буквально бегала до пятам. Андрей относился к этому спокойней, чем я, говорил: "Пусть себе бегает", "Не обращай, внимания", а мне было неловко, словно я у нее украла. В классе к Аниной слежке относились иронически, посмеивались над ней, но и мы с Андреем неизбежно становились темой для пересудов, что было противно, гадко.

В тот вечер Аня была возбуждена уже в самом начале, даже сквозь румяна было заметно, что щеки у нее пылают; она суетилась, куда-то бегала, ее длинное, безвкусное сиреневое платье то и дело лезло на глаза. Я принесла с собой подарок для Андрея, небольшой рисунок, выполненный цветными мелками, — все те же мои фантастические цветы, но в рисунке была одна тонкость, которую он должен был распознать; в нереальных несуществующих цветах я спрятала элементы нарцисса и ландыша, рисунок был вариацией на эту двойную тему, тему мою и Андрея. Но как рисунок передать? Андрей все время находился на виду, вместе с Гладковым и Милых налаживал аппаратуру перед дискотекой. В коридоре я наткнулась на Вовика, сына технички, третьеклассника, несколько раз при мне Андрей с ним "общался", обучал приемам, возился, как со щенком. Вовик и походил на щенка — маленький, быстроглазый, с мокрым носом. Вовику я и отдала сверток для Андрея.

Из этого получилось бог знает что. Андрей не мог отлучиться и попросил Вовика отнести сверток в раздевалку и сунуть в карман его, Андреевой, куртки. Сунув сверток куда надо, Вовик из раздевалки не ушел, а, воспользовавшись отсутствием дежурных, начал выгребать мелочь из всех подряд карманов. За этим делом его и застал дружинник, следивший за порядком. Когда Вовика спросили, почему он этим занимался, он сказал, что ему велел парень-старшеклассник и указал на Андрея. Чушь совершенная. Но все выяснилось потом. А тогда я только видела, что Андрей отослал куда-то Вовика вместе со свертком и продолжает налаживать технику.

Анька летала по залу с записками, мне "почта" была не интересна, просто сидела в углу и скучала, изредка перекидывалась репликами с девчонками. Так задумалась, что даже не заметила, когда Катя Прохорова подошла. Попросила выйти в коридор. Я подумала: что-нибудь с Вовиком, а тут Анька. Чего оно только ни выдала мне в туалетном предбаннике! Договорилась до того, что она Андрею фактическая жена и у нее будет ребенок от него. Ненормальная. Слава богу, никого, кроме Катьки, поблизости не было. А Катька не злая и не болтливая.

Не успела я прийти в себя от Анькиной истерики, тут новое происшествие — с магнитофоном. Я сначала даже не вникла, что произошло, почему директор остановил пленку.

Стою, хлопаю глазами, а Козодой с пеной у рта прямиком ко мне: "Сулькина, что происходит в твоем классе? Ты как комсомольский секретарь несешь персональную ответственность за все безобразия и подрыв основ".

Что-то в этом роде прокричал, он всегда штампами изъясняется, и я обычно сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться в голос, но тут мне было не до смеха.

Нервы были на пределе, и я не сдержалась, тоже закричала: "Перестаньте на меня орать, ни за кого я не отвечаю, кроме, как за себя; как я могу отвечать за всех дураков нашего класса?"

Он прямо задохнулся, сделал вдох, выдохнул и отошел. Тут я поняла, что житья мне в школе больше не будет. И, наконец, самое страшное.

Самое страшное было дома. Пришла я домой в одиннадцать (мы с Андреем немного погуляли). Родители не спали. Мама была неестественно бледна и лежала. Мама у меня сердечница, последние несколько дней она находилась

дома, на больничном. Первая моя мысль — маме худо. Отец рылся в коробке с лекарствами, руки у него дрожали, пузырьки падали, я впервые видела его в такой растерянности.

Шепотом спросила: "Так плохо?"

Он шепотом ответил: "Хуже, чем ты думаешь. Сгорела часть картин. Мама пыталась потушить огонь, очень устала, переволновалась, боюсь, придется вызывать скорую!»

Поднимаясь по лестнице, я почувствовала запах гари, но бессознательно; теперь я как бы снова ощутила этот запах. Значит, был пожар, горела мастерская? Что значит "часть картин" сгорела?

Но в ту ночь было не до картин. Маме было плохо, скорую вызывать она не хотела; боялась, что отвезут в больнлцу. Отец не ложился; я, хоть и легла, почти не спала, прислушивалась; под утро мне приснился кошмар: я шла через луг и знала, что на той стороне меня кто-то ждет, может быть, отец... Огромные фиолетовые цветы с рахитичными головками раскачивались как в танце, на ветру, тянули ко мне свои соцветья. Но только я захотела дотронуться до цветка рукой, как из сердцевины вышел огонь; я одернула руку — и проснулась. В маминой комнате было тихо. Приоткрыла дверь — мама спала; рядом, в кресле, одетый, спал отец. Слава богу! В коридоре, прислоненная к стене, стояла картина, вчера я ее не заметила. Это была картина, написанная после папиного "перерождения", называлась она "Влюбленные" и в мастерской находилась у самой двери; видно, поэтому маме удалось ее вытащить. Раньше я в нее как-то не вглядывалась — примелькалась; к тому же новая папина манера казалась мне надуманной. Но тут словно меня ударило. Эти двое — это же мы с Андреем, одни, посреди пустой арены, а вокруг зрители — орущая дикая толпа, протянувшая к нам свои жала, хоботы и щупальца. И то, что раньше мне казалось неумелостью — по-детски нарисованные наивные фигурки на зловещем ярко красном фоне — сейчас не вызывало протеста. "Влюбленные" были единственной уцелевшей в пожаре папиной работой. Мама вышла на лестничную клетку, когда огонь уже разгорелся, она вызвала пожарных и полезла наверх спасать картины; с трудом могу представить, как мама, больная, вытащила из огня и дыма папину картину, так ей хотелось сохранить для папы хотя бы одну его новую работу. А ведь лично ей эти картины совсем не нравились.

Не знаю, что будет с отцом, когда мама пойдет на поправку, сейчас его заботит только мамино здоровье, о картинах он не вспоминает ...

Внешне отец заметно переменился, в глаза бросаются морщины на его лбу, я стараюсь на них не смотреть, все равно отец самый молодой из нас, вот только... что ему делать без мастерской?

В воскресенье вечером, на следующий день после пожара, к нам приходил участковый, интересовался возможной причиной, расспрашивал, не слышали ли шума, нет ли у нас подозрений и прочее. Папину мастерскую он называл "чердак", словно там и не было картин. А папа ему ничего не сказал про сгоревшие картины.

Когда я захотела вмешаться в разговор, отец строго на меня взглянул и сказал с раздражением: "Девочка, иди делай уроки, мы без тебя разберемся". Я вздрогнула от неожиданной и незаслуженной обиды; отец впервые, да еще при посторонних, так меня унизил. У себя в комнате я "вывела" причину странной реакции отца: он боялся — чердак не принадлежал ему официально, он самовольно сделал его мастерской и теперь думал, что к нему начнут придираться. И все же простить отцу его вспышку я не могла. Сидела и разжигала себя. Какой трус, картины — самое дорогое в его жизни, а он ... значит, он смелый лишь до поры ... и вообще как ему не стыдно срывать свое

раздражение на окружающих, это простительно нашему директору, он человек малоинтеллигентный, а отец...

Весь вечер я не выходила из своей комнаты. Пыталась читать, прислушивалась. После милиционера к нам пришел еще ОДИН внезапный гость — дядя Гриша, старинный друг отца, тоже художник, только настоящий, официальный. Живет он в Перове, рядом с нашим бывшим домом, там я родилась и жила до десяти лет. Ему уже за семьдесят, поэтому бывает он у нас крайне редко, по особым случаям. Видимо, он узнал о пожаре. Они с отцом часов до одиннадцати просидели на кухне, все говорили, говорили.

Дядя Гриша временами так кричал на отца, что мне из моей комнаты было слышно: я понимала, о чем у них разговор. Дядя Гриша кричал: "Затаиться, спрятаться, чтобы не видели, не слышали — и это ты считаешь выходом? Да чем больше ты будешь прятаться, тем наглее они будут становиться, они в конце концов загонят тебя в яму, но и та, по их мнению, будет принадлежать тебе не по праву: скажут, что ты ее отнял у одного из них. Успокоятся же только когда тебя вообще не будет, тебе понятно?» Отец что-то ответил.

Снова загремел дядя Гриша: "И это говоришь ты? Да тебя уже начали сживать со свету, весь этот пожар, сгоревшие картины, думаешь, это не нарочно? Не подстроено?"

Отец снова что-то сказал. Тут уже дядя Гриша заклокотал: "Тебе смешно? А мне что-то не очень. Ося с Мариной подали документы, я их благословил. Им жить, жить, а не погибать от рук погромщиков. И я тебе скажу: не потому я так смел, что на службу не хожу, как ты тут выразился, а просто с некоторых пор начал задумываться; то все времени не было, а тут проболел почти месяц, лежал и думал: да что же это такое? почему я и мои ребята всю жизнь должны лбом стены прошибать, чтобы чего-то в жизни добиться? Там, где другие — играючи, да какие другие — бездари! Почему этот пункт проклятый всю жизнь нам отравил? Кто виной? Ты скажешь, это в природе вещей, мол, испокон веку, не только в России, но и в Европе, а также в Америке. А я тебе на это скажу: наши отцы думали, что они НОВЫЙ мир строят, где самые угнетенные получат свободу. Евреи в России били самые угнетенные, из униженных униженные, потому их так много ушло в революцию, мой отец, сын раввина из местечка, ушел в революцию, его брат ушел, их товарищи ушли, позднее все сгибли в лагерях, но я не об этом. Про сталинское время не говорю, там все ясно, и с Михоэлсом ясно, и с театром, и со школами, и с убийством поэтов, и с делом врачей, и с космополитами безродными, и с планами выселения и прочая и прочая. Но сейчас? Скажи: мы что — граничим с Израилем? Он для нас непосредственная угроза?

Почему о ближайших соседях мы месяцами не слышим, а об Израиле изо дня в день по радио и по телевидению: "сионисты", агрессоры", "военщина", и все односторонне, информация только из одного источника. Как, по-твоему, это ли не пропаганда? И получается, с одной стороны, вроде бы не одобряют открытый антисемитизм, а с другой — насаждают; обыватель-то что думает? Опять эти евреи. Все они такие, вон палестинца хотели заживо схоронить, а что тот палестинец малолетних детей убивал, кому до этого дело? Психологически все уже подготовлено, нужна только соответствующая ситуация — перемена власти или угроза катастрофы, — ну и начнут бить, как прежде, до революции, били. Вот тут твоя тактика пригодится: затаись и жди — авось, погромщики мимо пройдут».

Голос дяди Гриши сник, не слышно было и отца, по-видимому, на кухню вышла мама: сегодня ей лучше. Больше спор не возобновлялся. Ужасно мне хотелось увидеть дядю Гришу, не видела его сто лет, но характер выдержала, не вышла. Что там родители ему сказали насчет моего отсутствия — не

знаю. Сидела у себя и размышляла. Вот и дядя Гриша обвиняет отца в трусости. Неужели отец так изменился? Когда это случилось? Почему он за рабское молчание? Нужно говорить в полный голос, кричать, доказывать. Ведь времена другие! Дядя Гриша тоже не прав, чго разрешает детям уехать: кто же тогда останется, если все уедут? Я уверена: мы нужны этой стране так же, как она нам.

Я не хочу, как те испанские евреи, быть вытолкнутой из страны, оставить родину — и всю последующую жизнь тосковать по ней.

Но я не хочу чувствовать себя в моей стране без вины виноватой. А для этого нужно что-то делать, сражаться за правду и за себя. Жаль, что я тогда не выкрикнула в лицо тому — в темных очках — что я о нем думаю! Смогла бы я это сделать?

На следующий день, в школе, представился случай проверить себя. Это случилось через день после дискотеки, в понедельник. С утра школу буквально трясло от разговоров, все судачили о происшествиях. В центре обсуждений был вопрос о магнитофонной ленте с записью проповеди; гадали, кто ее принес в школу. Все были возбуждены, говорливы, до уроков ли людям в таком состоянии? Но учителя привыкшие: шум, разговоры, а урок все равно идет, тянется, как надоевшая резинка. Кое-как миновали математика и литература, третьим был урок биологии. Пришли в кабинет — в окна бьет солнце, а впереди еще целых четыре урока! Крыса как вошла, вызвала к доске Прохорову Катю рассказать об эволюционной теории Дарвина. Катя приподнялась и, помявшись, сказала, что темы не знает. Крыса спросила почему. Катя ответила, что была в субботу на дискотеке и не успела выучить, а в воскресенье было много дел. "Садись, два", — ледяным тоном проговорила Крыса и вызвала Милых. Милых поднялся и бодро отрапортовал, что параграф не выучил из-за субботней дискотеки. "Садись, два", — снова сказала Крыса.

Мне всегда казалось, что ей нравится ставить двойки, что двойками она нам платит за свои унижения, ведь за эти наши двойки она получает ежедневные "втыки" от директора. Третий и четвертый вызванные ответили так же. Крыса задумалась, больше четырех двоек за урок — это уже скандал. И она решила, что лучше прочесть нам нотацию.

— Интересно, вы только биологию не готовите или все остальные уроки тоже? Небось, математику выполнили, знаете, что Елена Акимовна спуску не даст. А биологию — можно. Подумаешь, теория Дарвина! Кому это нужно? А, между прочим, именно вашему классу необходимо всерьез заняться теорией Дарвина, что укрепит ваше материалистическое и атеистическое мировоззрение. Вот Прохорова, — она подошла к Катиной парте, — только что она отказалась отвечать научный дарвинизм, а, между тем, мне как руководителю атеистического общества стало известно, что Прохорова у нас верующая.

Милых громко засмеялся, словно услышал анекдот; со своего место я хорошо видела, как покраснела Катя.

— Милых! Прекрати смех и положи на стол дневник — я ничего смешного не сказала. Повторяю: Прохорова — верующая, и, если вы не верите мне, то спросите у нее самой. Прохорова, мы ждем! Отвечай же! Катя снова приподнялась, щеки ее горели, она теребила воротник. И молчала. Класс замер.

И тут я не выдержала. Главным образом, из жалости к Кате. Вскочила и закричала, задыхаясь от волнения: "Да как вы можете? Кто вам позволил так унижать человека? Какая в конце концов разница — верующая она или нет? Это ее личное дело, у нас свобода совести, и религия не делает человека

вредным членом общества. Может, вы и Достоевского станете уличать в религиозности?

Крыса будто того и ждала: "Нет, Достоевского, Сулькина, я уличать не собираюсь, уже потому что он жил не при социализме и не был учеником советской школы, комсомольцем. А тебе, Сулькина, я удивляюсь. Являясь комсоргом класса, ты встаешь на защиту религиозных проявлений, отклонений от советской идеологии. Впрочем, после того, что я узнала о твоем моральном облике, этого и следовало ожидать".

Я стояла как громом пораженная, буквально лишилась речи, а Крыса продолжала: "Да, да, Сулькина, и не притворяйся, что не понимаешь: от людей не укрылось ни твое времяпровождение со взрослыми женатыми мужчинами, ни амуры с одноклассниками... И я бы на месте твоих товарищей-комсомольцев еще подумала, того ли человека выбрали они своим вожаком. Или верна народная мудрость: каждый класс достоин того вожака, которого он имеет?!»

Последние слова Крыса произносила под крик, свист и улюлюканье. Все вскочили с мест, кое-кто забегал по классу, Милых кривлялся и передразнивал Крысу, Катя Прохорова плакала, Андрей... на него я не смотрела; оцепенение мое прошло, я направилась к учительскому столу, чтобы высказать Крысе все.

И тут вошел директор, вошел без стука, как всегда; видно, его привлек дикий шум.

"Что происходит?» — он говорил, глядя на меня и на Крысу, так как мы обе стояли у учительского стола.

Крыса начала что-то лепетать, он ее прервал: "Я спрашиваю, что происходит в классе?" И тут в сразу наступившей тишине я вдруг услышала свой зазвеневший от волнения голос: "Вы спрашиваете, что происходит в классе? Революция. Мы требуем уважения прав личности".

Когда я сейчас думаю, почему ничего не вышло, почему все так ужасно кончилось, я понимаю, что это закономерно. Когда-то отец говорил, что есть "МЫ" со знаком плюс и со знаком минус (так же, как "Я"). Очень верная мысль. В борьбе нужна сплоченность, четкое осознание цели и смелость. У нас же все возникло стихийно; насчет прав личности, если разговоры и велись, то только на переменках, от случая к случаю, и до выводов дело не доходило. Сплоченности и смелости тоже было маловато. В тот раз после моих слов о революции и правах личности директор, ни на кого не глядя, пробубнил: "После урока Сулькиной явиться в кабинет" и вышел. И оказалось, что никакой революции в классе не было, была только дура Оля Сулькина, которой больше всех надо, которая "на правах вожака" выступила против учителей и дирекции, пусть она, дуреха, все и расхлебывает.

Сначала, правда, было решено идти к директору всем кагалом, добиваться правды. Потом кто-то заявил, что правды все равно не добьешься, а из школы вылетишь или схлопочешь неуд по поведению. Еще один стал рассказывать похожий случай в соседней школе, когда тоже класс взбунтовался и кончилось тем, что его расформировали и учеников раскидали по школам района. Ирка Хвостова кстати вспомнила, что скоро конец года, лето, не стоит затевать конфликты с дирекцией, да и родители за такие дела по головке не погладят. Да и вообще, зря Сулькина сболтнула про революцию,

еще начнут шить идеологию. Я сидела, слушала, не вмешивалась. В конце-то концов, что бы сейчас здесь ни решили, а мне все равно идти к директору, мне никуда он этого не уйти, И за свои слова буду отвечать я сама. Сейчас меня интересовало поведение только одного человека — Андрея. Но он молчал, в обсуждении участия не принимал, сидел, как и я, не вмешиваясь. Я не вмешивалась, потому что считала себя не вправе втягивать других, а он?

Мало-помалу народ разошелся, испарился, растаял, как весенний снег. Я сидела на последней парте и чертила на листе бумаги фантастические узоры, в голове было пусто.

Ко мне подошел Андрей: "Оля, я хочу пойти к директору вместе с тобой".

— Зачем?

— Чтобы тебе было не так страшно.

— А мне и не страшно, — я улыбнулась. — Я не такая слабачка, как ты думаешь.

— Я все же пойду с тобой. Ты же выступила за весь класс, а осталась одна.

— Ну, во-первых, я защищала не столько весь класс, сколько себя, свое достоинство, а во-вторых, если ты считаешь, что я выступила за всех, почему ты молчал при всем классе? Боялся, что неправильно поймут? Ванчика слушал? Почему? Сейчас мне твоя помощь не нужна, а тогда твое слово много бы значило. Андрей стоял, опустив голову, он был похож на школьника, которого отчитывают и которому некуда деться от этого занудства, мне стало смешно. — Ты что ж, боишься меня? Чего молчишь?

— Зря ты все это затеяла, безнадежно. — Я встала и пошла из класса. Возле кабинета директора стояла Катя Прохорова. Она преградила мне дорогу, взяла за руку и потянула в сторону, в уголок.

— Я только что у НЕГО была, — зашептала Катя, — сказала, что дело во мне, что ты за меня вступилась, когда Альбина Александровна при всех объявила, что я верующая.

— И что?

— ОН спросил, правда ли это, что я верующая.

— А ты?

– Сказала, правда.

— И дальше?

— Дальше — ничего, просил, чтобы пришли родители. Я сказала, что нет родителей, есть бабушка, он говорит: пусть тогда бабушка придет. Вот и все. Так что ты ничего на себя не бери, он уже знает, что весь сыр-бор из-за меня.

Я смотрела на Катю. Почему я так долго не видела ее, не замечала? Из-за ее незаметности? Молчаливости? Катя хотела уйти, но я ее удержала. Катя была единственная, кому я могла задать этот вопрос: "Катя, как ты считаешь, Андрею можно верить?"

— Почему ты меня спрашиваешь? — Катя заволновалась и покраснела. —

— Потому что я с Аней хожу, да? Но разве я могу... не надо меня об этом спрашивать!

И она убежала. Почему она так заволновалась? Так быстро убежала? Об этом я задумалась, когда вернулась домой после того многотрудного дня.

Директор продержал меня не долго. Он только сказал, что я, по его мнению, недостойна, носить звание комсомолки, но что этот вопрос не в его власти, и его будет решать комитет, а я должна написать объяснительную записку по поводу позавчерашнего и сегодняшнего своего поведения, а также предупредить родителей насчет сегодняшнего вечера, он их ждет в школе.

Я ожидала долгого унизительного распекания, я приготовилась не молчать, а вступить в бой, но боя... не было. Предупредить родителей — и все. Нельзя сказать, что я была раздосадована. Я, признаться, даже обрадовалась, что легко отделалась, что уже на свободе.

Так было тягостно ожидание противной экзекуции у директора, проговаривание своих ответных слов, которых в итоге не дано было сказать; устала я страшно, обессилела, нервы были на пределе.

Прежде чем сказать отцу (он сегодня работал дома), что его вызывает директор, я прилегла. Стала вспоминать все слова, прозвучавшие сегодня, и вспомнились Катины: «...Не надо меня об этом спрашивать!»

Мне стало нехорошо, лежать я уже не могла, вскочила и стала ходить по комнате, стараясь забыть и Катины слова, и интонацию. Не могла. Вспомнила, что у меня где-то был Катин телефон, пересмотрела все старые записные книжки, все листочки, когда-то в них засунутые. Нашла.

Набрала Катин номер, долго никто не подходил. Потом трубку взял мужчина с хриплым неприятным голосом: "Вам к-кого? — и он ругнулся, похоже было, что он пьян. В этот момент трубку взяла Катя. Я подумала, что у Кати и без меня по горло забот, живет без матери, с пьющим отцом, и чего я лезу к ней со своим? хотела опустить трубку, но Катя кричала: "Не слышно, говорите громче!" И я сказали: "Катя, у Андрея с Аней что-то было?"

И ничего не услышала в ответ.

Катя на том конце провода молчала и не опускала трубку. И я положила трубку первая. А дальше... дальше уже плохо помню... туман какой-то и страшная боль в сердце.

Помню папино лицо надо мной, очень белое. Кажется, я прошептала: "Папа, тебя директор вызывал". А, может, и не прошептала, может, из школы позвонили. Во всяком случае, отец побывал у директора. Что ему там было сказано, можно только догадываться.

Сквозь полузабытье я слышала папин громкий шепот, обращенный к маме: "Почему она не сказала? Какой-то филолог... по-видимому, стресс, да, да, надо спасать!" Спасать. От кого или от чего? Можно ли спасти от себя? От мыслей? Временами мне хотелось отключить мозг, удалить душу из тела, чтобы не мучили, не болели. Хотелось все-все забыть. А папа попеременно названивал то знакомым врачам, чтобы устроить консультацию, то знакомым педагогам — он хочет перевести меня в другую школу. Он хочет, я уже ничего не хочу.

Иногда звонит телефон, мне становится страшно, сердце начинает колотиться, на лбу выступает испарина. За тонкой перегородкой стены трубку берет папа: "Нет, нельзя, неважно себя чувствует, не следует беспокоить" и кладет трубку на рычаг. Пульс постепенно налаживается, я выпиваю очередную порцию валерьянового настоя и засыпаю, засыпаю, засыпаю. Чтобы ни о чем не думать, все позабыть...

Эвелина Александровна

И все-таки я ухожу. Так получилось. Пока ухожу "на улицу", год-то не кончился, даже в школу устроиться не удастся. Но в школу я не пойду. Хватит. Поменяла несколько школ. Везде одно и то же. Недавно в газете попалось на глаза объявление: требуются машинистки. В свое время я кончала курсы машинописи, может, попробовать? Это тяжелый физический труд, но нормированный. Отработал — и принадлежишь себе, читай, гуляй, развлекайся, свобода... И потом там нет этой жуткой казарменной атмосферы, машинистки — народ независимый... В мои-то годы в машинистки... но не в

торговлю же! Говорят, в торговле много бывших учителей... Понятно, что из школы бегут.

Когда-то я считала профессию учителя лучшей в мире профессией. Но это в теории. А на практике... вот хоть последний педсовет, после которого я подала заявление. Когда я на него шла, у меня душа в пятки уходила: думала, что он будет целиком посвящен девятому классу, то есть моим промахам и упущениям в "воспитательной и организационной работе", за которые мне уже влепили выговор.

До сих пор я не подвергалась публичной порке, и эта перспектива отнимала у меня последние остатки самообладания, я не столько думала о том, что делается в классе, сколько о возможной моей ответственности за происходящее. А в классе было не спокойно. Что-то там готовилось, что-то созревало; подспудные, невидимые мною явления порождали странные необъяснимые поступки, дикие выходки...

Я уже устала от жалоб Чернышевой; она считает девятый класс неуправляемым, винит во всем меня, говорит, что к ребятам нужно применять жесткие меры. Чернышева считает, что, хотя мальчишки в девятом "не подарок", воду мутят не они, а Сулькина и Прохорова. Сейчас Сулькина больна, у Прохоровой дома большое несчастье и в школе ее тоже нет, а класс все равно бурлит. Проводить уроки в нем практически невозможно, никто не слушает, все заняты своим. Что-то случилось с Аней Безугловой, из нормальной, довольно спокойной девочки она превратилась в грубую дерганую неврастеничку; изменился Воскобойников: куда-то пропало суперменство, высокомерие спортивной звезды, за него я рада... хотя что-то во всем этом не то, что-то здесь не так... что-то постоянно ускользает, но «кода» к этому "что-то" у меня нет.

На днях заходила к Прохоровой домой. Там трагедия. Отец Кати в пьяном виде пырнул ножом бабушку, мать жены. Сейчас она в больнице в тяжелом состоянии. Спрашивается, что нужно было этому человеку? Он инвалид, без ноги, жена от него ушла, а ее мать осталась с ним и с внучкой, вела хозяйство.

Соседи говорят, он ежедневно "вымещал на ней зло", крики слышались каждый вечер. И в таком аду живет Катя! Теперь я вспомнила, как после изучения Достоевского, она подошла ко мне и сказала: "Мармеладов был прав, что пил". Меня это удивило — какая правота в пьянстве? А Катя стала доказывать — горячо, убежденно; ясно было, что ее не Мармеладов волновал, а что-то свое нужно было решить.

Помнится, она говорила, что водка для Мармеладом — единственное спасение, она как наркотик, как обезболивающее лекарство. При его жизни, если у него еще водку отнять, что же тогда останется? Какие у него цели в жизни, радости какие? Жена его не любит, презирает. Ни друзей у него нет, ни родных — одна Соня, но в ней самая его рана, так что лучше бы ее не было. Вот и выходит, что водка для Мармеледова на тот отрезок жизни, что ему остался, — спасительница. Иначе одни злоба да ненависть останутся.

В чем-то Катя права. Не помню, что я тогда ответила. Но вот что приходит в голову: Катин отец, сегодняшний Мармеладов, не был пьян, когда набросился на мать жены с кухонным ножом. Возможно, его злые инстинкты искали выхода, а наркотика под рукой не оказалось... И в результате пострадала бабушка — самый беззащитный член семьи, ухаживающая за ним, инвалидом. Почему именно она? Сильный ищет для самоутверждения слабого, слабый — еще более слабого, не потому ли? Опять тот же вопрос, что и в поэме О.Н. Есть ли воистину виноватые? И не будут ли виновные выбраны

произвольно, чьей-то волей? Трудно, порой невозможно найти истинного виновника, проще его назначить или ИЗБРАТЬ по жребию.

Студенткой я слышала, что некоторые племена имеют непохожее на наше "дологическое мышление", причинно-следственные связи в котором отсутствуют. Когда у них случается что-то плохое, они начинают копать землю и первое попавшееся на глаза существо — дождевого червя, например, объявляют виновником несчастья. Может, и все мы недалеко от них ушли? Когда-то поэма О.Н. показалась мне слишком головной, сконструированной, теперь я думаю иначе. О.Н. очень обрадовался, когда я ему это сказала.

Ему сейчас нужна поддержка. Он только что выписался из больницы, но об этом потом. Об этом хочется думать долго, обстоятельно. Об ином же мечтаешь поскорее забыть; к сожалению, не удается. Да, тогда на педсовете я сидела, как на вулкане, ожидая: вот сейчас, вот сейчас начнется. Но не начиналось, полтора часа прошло от начала, а не начиналось.

Вообще педсовет был посвящен вопросу реформы школы и тому, как она осуществляется в нашем коллективе, ну и итогам третьей четверти. По первому вопросу с большим докладом выступил Директор, долго и обстоятельно, читая по бумажке, доказывал, что реформа вообще и в нашей школе в частности пробуксовывает и что во всем виноваты мы, учителя.

Я почему-то представила другой зал, наполненный директорами, и докладчика, соответственно более высокого уровня, который тоже говорил о пробуксовке реформы, но с иным выводом: "Во всем виноваты директора". Первую часть доклада я слушала в пол-уха, но затем Директор перешел к конкретным именам, сердце мое сжалось: вот сейчас. Но он назвал трех учителей, не хуже и не лучше других", которые ничего не делают для реализации реформы".

После директора выступала общественность — как-то так получилось, что все школьные должностные лица оказались на выборных общественных должностях и выступают «от имени коллектива» единым фронтом с Директором. Некоторые из них даже пытались говорить, а не читать по бумажке, но впечатление все равно было унылое и тягостное.

Говорилось о состоянии классных комнат и о безобразиях в столовой, о необходимости экономить электроэнергию и проводить трехминутную зарядку в середине урока и много о чем еще, и при этом ругали, ругали, ругали учителей, ругали даже без сладострастия, привычно.

Три раза звучала моя фамилия. Один раз в связи с тем, что проведенный месткомом опрос среди учеников показал, что зарядка на моих уроках не проводится. Еще раз я прозвучала как отстающая, когда зашла речь о посещении чужих уроков, были названы и рекордистки, среди них на первое место вышла Альбина Анатольевна. Она же вышла на первое место по использованию технических средств на уроке. И, наконец, еще одна моя оплошность, на которую мне публично указали, состояла в том, что я не вывожу детей в столовую и, предоставленные сами себе, они безобразничают. Все три раза, услышав свою фамилию, я вздрагивала, прижималась к парте, во рту пересыхало, но затем с исчезновением опасности это состояние проходило. Через полтора часа, когда завуч начала сообщение об успеваемости и итогах четверти, я решила, что опасность окончательно миновала и слегка успокоилась.

Перевела дыхание, огляделась учителя сидели с сосредоточенными лицами, не переговариваясь — переговариваться у нас запрещалось; были случаи, когда за шепот и реплики с места выгоняли из класса. Больше половины учителей были мне плохо знакомы; это были молодые специалисты, которых

наш Директор набирал взамен ушедших старых специалистов, молодые его устраивали больше: они были послушнее и, кроме того, на ближайшие три года попадали в полную крепостную зависимость без права перемены места.

Пожилые учительницы математики и физики, с измученными до синевы лицами, сидели, ни на кого не глядя, погруженные в какие-то свои невеселые размышления. Трое мужчин — трудовик, физрук и военрук, — случайно затесавшиеся в компанию женщин, отличались от них, казалось, только шириной плеч.

Унылая тягучая тишина разрывалась упругими четкими цифрами, приводимыми завучем; в подтверждение приведенных цифр она стала вычерчивать на доске диаграмму падения успеваемости в младших, средних и старших классах. Судя по кривым, картина везде была примерно одинаковая и безрадостная.

Завуч закончила свое сообщение на оптимистической ноте, заявив, что учителя школы приложат все усилия, чтобы повысить успеваемость как в младшем и среднем, так и в старшем звене и закончить год с хорошими показателями и отличным качеством знаний у учащихся. Завуч села, педсовет шел уже два часа, многие стали поглядывать на часы, но тут возникло какое-то движение в среднем ряду, какое-то шевеление, невнятный шорох.

Директор кинул в ту сторону недобрый взгляд: "Что там еще?" "Разрешите сказать пару слов", — Альбина Анатольевна приподнялась и, втянув голову в плечи, ждала решения.

Директор махнул рукой, что могло означать и "что с тебя взять — валяй", и "а пошла ты... ". Чернышева поняла этот жест в первом смысле; видимо, ей придало решимости сегодняшнее упоминание ее фамилии в числе рекордсменок.

Откашлявшись, она начала. С первых слов я поняла, что речь пойдет о моем классе. С этой стороны, по правде говоря, я не ожидала удара. Чернышева сказала, что у нее вызывает беспокойство атмосфера вседозволенности и моральной распущенности, установившаяся в девятом классе. Она как руководитель атеистического общества замечает усиление влияния вредной идеологии на сферу сознания учащихся, случай на дискотеке а этом смысле прямо-таки показательный, в нем, как в капле воды, отразились результаты порочного воспитания.

Внутри класса рассадниками заразы, по ее мнению, являются Сулькина и Прохорова, ну и конечно, большая вина лежит на нас, педагогах, а особенности на классном руководителе, Эвелине Александровне Долгиной, не сумевшей оградить юные души от чуждых и вредных влияний. Во время этого выпада Чернышева на меня не смотрела, но имя произнесла очень выразительно, со смаком. Закончив, Альбина Анатольевна продолжала стоять и села только после нетерпеливого жеста Директора.

Он спросил не без раздражения: "Еще желающие выступить есть? А то к концу обычно приходит охота... может, кто-то хочет добавить по девятому классу?» Оглядев безмолвные притихшие ряды учителей, он продолжал: «Альбина Анатольевна несколько опередила события. По девятому классу у нас запланирован специальный апрельский педсовет, а пока идет сбор материалов, проводятся консультации с учителями, учащимися и их родителями... Классный руководитель девятого класса, как известно, уже получила выговор за упущения в воспитательной и организационной работе». Я всегда удивлялась, как гладко этот человек складывает канцелярские фразы, как ни одно живое слово не может проникнуть сквозь барьер мертвечины. Кончил он в том же духе: «На апрельском педсовете будут приняты новые

неотложные меры по урегулированию обстановки в коллективе девятого класса». Тот же взгляд на те же безмолвные ряды: «Есть еще вопросы?" Вопросов больше не было, после двухчасового неподвижного сидения учителя спешили разойтись. Я тоже спешила.

Поскорее на улицу, на воздух, мне уже тяжело отсиживать два часа в душном помещении — жмет сердце. На улице же было солнечно: весна, конец марта. Воздух, хотя и нес в себе бензиновые примеси, стал чуть свежее, вольнее. Я была спокойна. В сущности, я все уже решила, решила в ту минуту, как услышала о грядущем педсовете. Именно тогда я написала заявление, которое оставила в кабинете Директора.

Пережить весь этот ужас ожидания еще раз, а потом быть в положении девочки для битья, ждать "неотложных мер", которые будут тут же, на педсовете, приняты — ну нет, лучше уйти куда угодно, в машинистки, в торговлю, на улицу. Ребятам от моего ухода хуже не будет, у нас не было взаимной любви, так что разлука будет без печали. Конечно, я привыкла... привыкла к работе ... к стенам... даже к Директору. Кто знает, может, на новом месте вздохну о "своей тюрьме"?! Действительно, тюрьма, "слово найдено", тюрьма для детей и взрослых — вот что такое то учреждение, из которого я хочу бежать. Интересно, что скажет мама. Знаю, что будет недовольна, сама она сорок лет проработала в детской поликлинике — немыслимьи срок! Но мама — старый человек, у нее свои понятия, а вот что скажет Олег Николаевич?

Сам он тоже недавно ушел с работы, и не без помощи нашего Директора. В той распре, которая разыгралась в институте, присланное из школы письмо было кому-то очень на руку, помогло избавиться от "неудобного" человека. Уход с работы совпал для Олега Николаевича с еще одним потрясением. Ранним вечером он возвращался домой, шел по пустынному скверу. На дороге встретилась стайка подростков. Один из них (Олег Николаевич запомнил его — низенький, коренастый, с разными глазами) попросил у Олега Николаевича папироску, тот ответил, что не курит, тогда они всей стаей напали на него, сбили с ног и принялись избивать. Если бы не случайные прохожие... Короче, Олег Николаевич оказался в больнице — сначала в травматологическом отделении, а несколько позже — в кардиологии. В это время я уже знала о случившемся (узнала совершенно неожиданно — от Ашурлиева), стала навещать Олега Николаевича в больнице, возила фрукты, беседовала с лечащим врачом. За все время ни разу не столкнулась с его женой.

Из больницы Олег Николаевич вернулся не домой, а в нашу с мамой двухкомнатную квартирку, свою — со всей мебелью и причиндалами — оставил бывшей жене. Рада ли я? У меня очень сложное ощущение, его трудно обозначить словом. Помимо прочего, я удивлена таким поворотом судьбы, ведь искренне считала, что жизнь моя так и пройдет — никем не востребованная. Как оказалось, я — полная противоположность его бывшей жене: та, хоть и научный сотрудник, в быту — пошлейшая мещанка, а мы с Олегом Николаевичем очень похожи, оба не делаем культа из вещей и не замечаем пыли (что приводит в ужас мою маму). Да, о маме. Вот она действительно рада. Готовит для Олега Николаевича особые кушанья — "мужчины любят покушать", подолгу с ним беседует на научные темы. А я в это время (обычно вечером) читаю или просто сижу и думаю. Думаю о разном — о жизни своей, маминой, об Олеге Николаевиче, даже об Оле Сулькиной, судьба которой меня волнует. А недавно подумала об Ашурлиеве. Откуда он все-таки узнал про Олега Николаевича?

Анна Андреевна Воскобойникова

Не припомню, когда я в последний раз плакала. Не потому, что жизнь такая легкая — трудная жизнь, а характер такой — не слезливый; не могу заплакать, даже когда хочется. Вот сейчас мне очень хочется и, если, бы были слезы, возможно, стало бы легче, но их нет. Внутри все кричит и ноет, а слез нет, может, еще время не пришло? Всего месяц с того дня, четыре недели с того страшного дня, 30 марта…

Нет, грома с ясного неба не было, я ждала чего-то ужасного, ждала все последнее время, а первые предвестия этого ужасного были десять лет назад, когда ушел Виктор, ушел в никуда, ничего не объяснив, не дав времени на осознание того, что происходит. Пришел вечером — собрал чемодан и ушел. Андрею было шесть лет, он был копией отца — форма головы, фигура, повадка, — только волосы у Андрея темные, у Виктора — седоватые, дело шло к пятидесяти. Похожи они были и характерами, оба внешне спокойные, а внутри открытый провод, и еще: в обоих бес какой-то сидел. Виктора он гнал с одной работы на другую (по образованию он инженер), а потом с одного места на другое. По штемпелям почтовых переводов я видела, что и на Севере, куда он подался, ему не сидится на месте: Ухта, потом Сыктывкар, потом Сургут. В Сургут я послала маленькое письмецо, скорее записку: «Андрей здоров, напиши несколько слов. Аня". Ответа долго не было. Потом ... лучше бы не получать такого ответа: "Ем, сплю, работаю. Виктор". Спрашивается, зачем было ехать на край света, убегать от жены и сына? Чтобы есть, спать и работать? Немного спустя выяснилось, что он не один, что есть какая-то женщина (я позвонила к нему на квартиру, она взяла трубку, назвалась женой)... ну да что уж, я не об этом, я о том, что в Андрее с детства замечала "отцовского" бесенка, на общем нормальном фоне мог выкинуть что угодно. Когда вышел в подростки — просто стала за него бояться. Кругом наркомания, преступность, я целый день на работе, прихожу поздно — после всех очередей. Андрея дома нет, часов в десять-одиннадцать является: "Где был?" "Гулял" или "у Витьки". Не нравились мне его друзья. Витька этот, вечно молчащий, себе на уме, и особенно Ванчик, вот уж пройдоха, глазки бегают. Иногда собирались по воскресеньям у нас, слушали свой "рок", правда, я долго не выдерживала, гнала их.

Андрей как-то сказал, что Ванчик наушничает у директора, но что, мол, не всерьез и на своих на капает. Я тогда спросила: "Да ты в уме? У тебя лучший друг — доносчик, а ты... кто же ты после этого?" Обиделся ужасно, отошел, по утрам отмалчивался. Потом как-то утром — чай мы пили на кухне — говорит: "Ты зря насчет меня и Ванчика, я ведь его поначалу лупил, а теперь вижу: не от него это зависит, его директор иначе со света сживет". Тут уж я испугалась не на шутку. Собралась и в ближайшую субботу, пошла в школу, к директору. У них тогда математичка была классной, толку от нее было мало — молоденькая, не справлялась, ну и я сразу к Нему. Начала, как задумала, весьма дипломатично, сказала, что заинтересована в смычке школы и родителей, хочу помочь и т.д., исподволь перешла к главному: боюсь за сына — возраст переходный, мало ли что. Поход этот имел тот результат, что меня включили в состав школьного родительского комитета; сначала я была недовольна, а потом поняла, что в этом качестве смогу служить буфером между директором и сыном в случае каких-либо происшествий. По-моему, я стала для директора некой обобщенной родительницей, перед которой он мог играть роль Всевидящего и Всезнающего Господа Бога. В то мое первое посещение он пытался меня уверить, что без его ведома в школе

ничего не может случиться, что он обо всем осведомлен и что читает как в книге, не только в поступках, но даже в помыслах учеников. Сильно я в этом сомневалась, жаль было времени, потраченного на сиденье в кабинете и выслушивание его разглагольствований, но кое в чем я Андрею помогла. Все конфликты с Альбиной Анатольевной снимались исключительно с моей помощью (пришлось, правда, по ее просьбе, составлять один глупейший документ), февральский инцидент с Вовиком — тоже. Да, Вовик... Видеть этого выродка не могу. Трясти начинает. Прямо роковой какой-то малец, специально для Андрея припасенный. И чего Андрей так был к нему привязан? Возился с ним, обучал приемам борьбы; бывало, вечерами Вовик под окна прибегал: "Андрюша, что я тебе принес". Андрей спускался. Что он брал у этого щенка? Когда я спрашивала, отмахивался: пустяки. Марки? Открытки? Или деньги? Наркотики? Сейчас все можно предположить. Спросить вот не у кого. Правда, Вовик жив, да лгунишка, я ему ни в одном слове не верю. А, может, записки от его девушки? Это было бы вполне в духе Андрея — заиметь посыльного для переписки. А девушка была. Я ее знаю. И вовсе не Аня, хоть она из кожи вон лезет, чтобы я поверила, что она — его девушка. Ходит сейчас каждый день, альбомы старые смотрит с фотографиями, она с Андреем выросла, с детского садика вместе. Только не она. Помню, в начале февраля в классе проводилось родительское собрание. Новая классная руководительница (пятая по счету) посадила родителей на места их детей, я сидела в первом ряду за третьим столом, возле окна — Андреево место. И вот тут в глаза мне бросились три буквы, нацарапанные чем-то острым в нижнем углу стола: ОЛЯ.

Оля Сулькина, комсорг класса. Я их видела вместе — его и Олю; возвращалась с работы и в окно троллейбуса их увидела — оживленные, ничего вокруг не замечающие. Красивая пара, она — тоненькая, изящная, он — широкоплечий, с атлетической фигурой. Она мне всегда нравилась, казалась светлой девочкой. Думаю, не без ее влияния Андрей вдруг заинтересовался искусством. У нас дома много книг и альбомов с репродукциями, когда-то все это свободно лежало в магазинах и стоило недорого — мы с Виктором покупали, кое-что подарено сослуживцами — как-никак двадцать лет трублю в нашей конторе, перевожу техническую литературу с трех европейских языков. Когда Андрей был маленьким, он иногда брал альбомы, рассматривал картинки, но чем больше взрослел, тем меньше этим интересовался. Появились новые стойкие увлечения — техника, спорт, дикая молодежная музыка. Пару раз в воскресенье я предлагала ему сходить в музей, но, по правде говоря, мне самой было не до музея — и домашние дела, и настроение не то, и просто усталость, хотелось посидеть почитать. Андрея я родила в тридцать лет, из-за возраста и по другим причинам я ему, конечно, чего-то недодала, всегда это с горечью сознавала. А тут как-то утром он поинтересовался, что за картина висит над кроватью. Я ответила. Он спросил, кто художник. Я назвала. А вечером, он вдруг спрашивает: ″Мам, у нас ничего нет про Рембрандта?" "Как же нет? Целый альбом!» Эрмитажные работы я ему принесла. Часов в одиннадцать заглянула в его комнату — смотрит. "Нравится?" "Нравится". Я говорю: "Шестнадцать лет тебя дожидался". А он: "Главное, что дождался, я ведь еще молодой, все успею". Не успел. А еще как-то попросил, чтобы я прочла стихи по-испански, я произнесла какую-то фразу. "Красиво, — говорит, — жаль, я к языкам неспособен". Действительно, неспособен, в отца. В последний месяц перед тем роковым днем что-то с Андреем случилось. Был не похож на себя, плохо ел, с друзьями, по-видимому, не встречался, стал больше бывать дома. Сидит у себя в комнате — чем занят — бог весть: музыки, вроде, не слышно, книжек и альбомов не видно.

Один раз я заглянула, спрашиваю: "Отдыхаешь?" "Отдыхаю". "Что делаешь?" А он: "Думаю". В общем, опять я пошла в школу, поговорила с классной (между собой ребята зовут ее Эвелинка). Она сказала, что в классе не спокойно, ребята ведут себя вызывающе, нарываются на конфликты, но Андрей на общем фоне довольно сдержан, ей даже показалось, что он стал серьезнее и взрослее. Спросила я про Олю, чувствовала, что беда пришла с этой стороны. Действительно, классная сказала, что Оля больна, находится дома, и, возможно, будет госпитализирована. Назвать болезнь почему-то не захотела. По дороге домой чего я только не передумала. Может, Оля в положении? А Андрей не знает, что делать, потому и мучится, "думает". Ночью сон не шел, я перебирала различные варианты, уже ни минуты не сомневалась, что Оля ждет ребенка от Андрея. К утру измучилась от неразрешимых вопросов. Как быть с ребенком (если еще не поздно), как устроить Андрея на работу, ведь ему еще нет шестнадцати. Решила, что нужно с сыном поговорить; был бы отец, ему бы и карты в руки, а коль нет мужчины в доме, значит, должна я, мать.

Разговор наш не забуду до конца дней. Не было в сущности разговора, я произнесла-то всего несколько фраз в самом начале... зашла к Андрею в комнату и сказала: "Хватит. Давай начистоту. У тебя что-то было с Сулькиной Олей? Она в положении?" И вот тут началось. Я такого не ожидала. Не знала, что он может так орать, с такой ненавистью, будто я его злейший враг. Чего он только не выкрикнул: и что я за ним постоянно слежу, и вмешиваюсь в его дела, и зачем-то ошиваюсь в школе, и что он уже не маленький. Я не выдержала — ударила его по лицу, теперь вспоминаю — зачем я это сделала? Всякому человеку необходима разрядка, к тому же возраст сложный, нервы, — где же еще и разрядиться, если не дома? Я ведь тоже разряжаюсь, дергаю его, ворчу, что не убирает в комнате, что не помогает по хозяйству. Знаю, что мало что изменится от моих замечаний, а ворчу. Могла бы стерпеть его крик, просто повернуться и уйти, так нет — ударила. Теперь ночами снится, и все повторяется, повторяется сцена, как в заезженном кинофильме. Ну и до самого того страшного дня мы с Андреем не разговаривали. Оба гордые, оба обидчивые, так и вышло.

То, что произошло 30 марта, я отказываюсь понимать. Каким образом мог утонуть он — физически закаленный, крепкий парень, спортсмен! Почему никто не пришел да помощь, ведь происходило все днем, в центре города, на глазах у проходивших мимо людей. Как получилось, что сердце мое ничего мне не сказало? Утром, как обычно, после короткого завтрака я отправилась на работу, Андрей — в школу; как выяснилось, в школу он не пошел, часов до двенадцати бродил по переулкам, потом вернулся домой, навестил больного Ваню Милых; тот говорит, что Андрей вел себя как всегда, они поболтали, послушали музыку; Андрей попросил поставить Высоцкого, свою любимую "Кони привередливые", но не дослушал, поднялся и вышел. Я несколько раз, уже после следствия, просила Ваню вспомнить, о чем они тогда говорили, он отвечал кратко: "О пустяках». "О чем же именно? мне все важно". "О секции, о моем бронхите, о лете". "Что Андрей говорил о лете?" "Что никак его не дождется. Я сказал, что скоро лето, а Андрей, что его не дождется. — Ваня, постарайся точно вспомнить слова Андрея, здесь есть разница: "никак не дождется" или "не дождется»? — Разница? Какая разница? Сказал, что не дождется лета никак, вот и все.

А вчера Милых сам ко мне пришел, около девяти вечера, после секции. Вел себя странно — оглядывался, прислушивался, словно за ним шла слежка, а

потом шепотом, "под мое честное слово", рассказал, что Андрей просил его позвонить.

— Позвонить? Мне?

— Вы-то тут при чем? Сулькиной Ольге. Он сказал, что его голос уже родителям известен, а меня они еще не знают и, может, скажут что-нибудь новое. А ему они все время говорили, что она неважно себя чувствует и не стоит беспокоить.

— И ты позвонил?

— Ну. И они мне обратно то же сказали, что плохо чувствует и не стоит беспокоить. Андрей тогда поднялся и говорит: "Все. Замурована. Теперь хоть стреляйся — она не услышит".

— А ты?

— А что я? Сказал что-то. Сказал, что нет, если стрельнешься, — услышит. Я не в том смысле... чтобы стреляться, а в том, что стрельнешься — шухер поднимут, тут и мертвый услышит. Он, Андрюша, стреляться-то не думал, он для примера сказал. Милых замолчал, и вдруг его маленькое личико сморщилось и он заплакал. Тер глаза и повторял: "Я Андрюшу, я для Андрюши... да если бы я знал". Никогда не испытывала к Ване симпатии, а тут вдруг таким родным показался, даже захотелось погладить его по голове — волосы у него, должно быть, мягкие.

Выйдя от Милых, Андрей снова пошел бродить. Вышел на Ч-е пруды.

Было около двух часов дня. Погода в тот день была скверная: дул резкий ветер, попеременно шли то дождь, то снег. Из-за непогоды на бульваре не было ни пенсионеров, ни женщин с колясками, но несколько случайных прохожих видели, что посреди пруда на льду стоял маленький мальчик. Видели, что стоял, знали, что в конце марта лед некрепок и однако спешили по своим делам: стоит — значит, так нужно, без нас разберутся. О том, что произошло дальше, известно со слов Вовика. Он рассказывает, что Андрей увидел его, стоящего на льду, и крикнул: "Эй, Вовик, жить расхотелось? Давай ко мне!" Вовик не трогался с места. Не трогался, потому что боялся, что Андрей зовет его на расправу. 23 февраля на школьном вечере Вовик попался на краже из чужих карманов и зачем-то сказал, что его послал Андрей. Я была тогда у директора, дело замяли; но до сих пор мне не вполне понятна вся эта история. Андрей, когда я его строго спросила насчет Вовика, со смехом ответил, что Вовик мелкая шпана, воришка, и что он, Андрей, в целях наказания раза два реквизировал у него награбленную мелочь. Я была так поражена, что даже не нашлась, что сказать. А когда обрела дар речи, Андрея уже след простыл. Вечером я все же выдала, что хотела, обвиняла сына в аморальности, в воровстве и потворстве воровству. "Как вышло, — кричала я, — что у меня, человека честного до щепетильности, вырос сын, способный присвоить чужое, считающий, что это в порядке вещей? а я-то, дура, с пеной у рта доказывала директору, что ты впутан по недоразумению, что Вовик все наврал. Наврать-то он, конечно, наврал, да выходит не все». В тот вечер Андрей стоял передо мной очень бледный, на виске билась жилка, выслушал молча, а потом проговорил: "Понял, мать. Исправлюсь, обещаю". Тогда я считала себя абсолютно и во всем правой, горела негодованием, а сегодня думаю вот о чем: я давала Андрею деньги только на школьные завтраки — и все, дома всегда была какая-то мелочь на мелкие расходы. Но в целом не было у него, шестнадцатилетнего, своих личных денег. Иногда я, правда, спрашивала: "Тебе деньги нужны?" И получала в ответ: "Спасибо, обойдусь". Андрей знал, что Виктор последнее время денег не шлет, а у меня их не густо... Так вот о

Вовике этом. Вовик боялся и с места не сходил. Андрей снова ему крикнул: "Ты что — боишься?" Вовик на этот раз ответил: "Боюсь". Андрей, видно, понял в том смысле, что Вовик боится идти назад по льду. И тогда он спрыгнул на лед и пошел к Вовику. Не мог он не понимать, что лед, еле-еле выдержавший десятилетнего мальчугана, легко подломится под ним, крупным, тяжелым парнем? Я думаю, Андрей сознательно шел на риск, что-то ему нужно было проверить в себе...

А дальше... свидетели рассказывают, что услышали истошный детский крик: "Тонет! Спасите!" Шагах в десяти от Вовика, загипнотизированно застывшего посредине пруда, Андрей провалился под лед, образовалась полынья, пытаясь выбраться, Андрей хватался руками за края дыры, они обламывались и полынья все увеличивалась. Вовик орал как резаный, но не подходил близко, наоборот, побежал к берегу. Свидетели, когда их спрашивали, почему они не пытались оказать помощь потерпевшему, отвечали, что не умеют плавать, что позвонили в милицию и ждали ее приезда; кто-то сказал, что считал потерпевшего пьяным, кто же другой в конце марта будет ходить по льду? Андрей действительно вел себя как пьяный, безрассудно и опрометчиво; но с тупым равнодушием наблюдать с берега за гибелью человека, пусть даже пьяного...

Сегодня 30 апреля — ровно месяц с того рокового дня. Скоро придет Аня, поедем с ней на кладбище; за окнами яркий, красивый день. А на душе и в мыслях мрак. Чем и как дальше жить? Раньше в тяжелую минуту думала: я должна выдержать — у меня растет сын. Никогда не считала себя несчастной, ведь у меня был Андрей, насколько беднее был Виктор...

А теперь... Верила бы я в Бога — пошла бы в церковь поставила свечку, молилась бы, плакала перед иконой, заказала бы панихиду, религия разработала ритуал страдания, а что делать мне, неверующей? Суетиться по поводу памятника, ограды? Виктор на похороны не приехал, прислал телеграмму: "Хочешь — приезжай. Я один". Он один, я одна. Видно, допекла его жизнь, если зовет меня. Какие впереди у него перспективы? Близкая старость, болезни, одиночество. Но главное — некуда больше бежать, один раз попробовал — не получилось, теперь куда? Назад возвращаться — гордость не позволяет, вот зовет меня. Может, с ним что-нибудь случилось? Никуда я, конечно, не поеду. Здесь могила сына, здесь мне жить. Сейчас зашла в комнату Андрея. Ничего в ней не тронула, все как при нем, только проволоку с пола подняла. Письменный стол, проигрыватель, гора пластинок, кресло. В этом кресле Андрей сидел, когда слушал музыку. Села в кресло, рука потянулась за пластинкой, взяла первую попавшуюся, поставила. Режущие, бьющие по нервам звуки, ад какой-то. Примерно то, что сейчас у меня на душе, но я держу про себя, а они выплескивают наружу. Закрыла глаза, представилось, что в комнате он, мой мальчик, мы вместе слушаем музыку — другую — из его детства, тогда мы много покупала музыкальных пластинок. Однажды Виктор принес "Алису в стране чудес" Высоцкого. Андрюше очень понравилась песня попугая — пирата морей, он так забавно ей подпевал, так весело пританцовывал, мы с Виктором смеялись до слез. Открыла глаза, прислушалась: режущие, бьющие по нервам звуки, нету в них ни радости, ни покоя — лишь какая-то дикая тоска, страх, боль, отчаяние. Все что сейчас у меня в душе. Провела рукой по лицу — мокрое. А думала, что не смогу заплакать.

Аня Безуглова

Я недавно подумала: почему всегда гибнут лучшие? может, есть такой закон жизни, что лучшие гибнут, а сволочь всякая остается и процветает? Даже в литературе Раскольников и Соня Мармеладова гибнут, а остаются Свидригайловы и прочие в том же роде. Не помню точно, чем кончили Раскольников и Соня, но уверана, что ничего хорошего им не светило. И в жизни точно так же. Недалеко ходить — Кати Прохоровой папаша, тещу свою хотел прирезать, теперь она сама собой умерла, так он над Катей издевается, капризничает, матерится. Будто она нанялась за ним ухаживать. Или тот же Ванчик. Всего месяц, как нет Андрея, а он уже хохочет во всю глотку, анекдоты травит. Знал бы Андрюша, кого всю жизнь за друга считал. Андрюша ушел как герой — бросился спасать мальчишку. Я всегда знала, что Андрюша способен на героический поступок, всегда им восхищалась. Когда-нибудь его именем обязательно назовут дружину или школу, все же не всякий в наше время пожертвует своей молодой жизнью ради другого, да еще такого плюгавого, как этот Вовик... Когда-нибудь, но не сейчас. И не в нашей школе. У нас, когда Козодой услышал про Андрюшу, так даже испугался. Никакого сбора не было или траурной линейки, словно не геройство совершилось, а преступление, и все поспешили его поскорее забыть. А когда мы стихийно решили остаться после уроков, чтобы поговорить об Андрюше, нас, по распоряжению Козодоя, погнали на общественно полезный труд — убирать пришкольную территорию. Класс у нас совершенно развинтился, никто не учится, уроки проходят в болтовне и безделье. Учителя махнули рукой, отмечают в журнале и отсиживают, поглядывая на часы. После того, как у Эвелинки отняли наш класс, Козодой пригрозил, что сам будет нашим классным руководителям. Только ничего у него с нами не вышло. Он нам отдает приказания, а мы не выполняем, он кричит, а мы смеемся, он грозить начинает, а нам наплевать. Отступился. Сказал, что Эвелинка окончательно класс разложила и нас уже ничто не исправит, так как мы педагогический брак. А тут еще несчастье с Андрюшей. Видно, директор решил, что с нашим классом лучше не связываться, раз до летального исхода дело дошло. Теперь дневники у нас собирает Крыса, она же контролирует дежурство и уборку класса, а в остальном мы предоставлены сами себе. Кто-нибудь, возможно, нам позавидует, да только нечему: никакой общественной жизни, после школы — сразу домой, ни минуты не задерживаясь; мы теперь в жизни школы не участвуем — ни собраний, ни комитета, ни атеистического кружка... Окончательно еще не решено, но поговаривают, что нас раскидают по школам, как уже было где-то с одним взбунтовавшимся классом.

Не знаю, как у кого, но у меня планы изменились. Я уеду. Уеду навсегда. Мамаше еще не говорила, но, думаю, она возражать не будет, тем более, что поеду я в ее родные места, в деревню Мошенки Калининской области. Недели три назад написала по старому адресу бабе Груне, мамашиной родительнице, моей бабушке, я ее сроду не видела. А два дня назад получила ответ, пишет бабы Грунина внучка, Света, она учится в седьмом классе — ошибок миллион. Одним словом, баба Груня жива, даже еще по хозяйству помогает; Светка с родителями живет рядом, в соседнем доме. Значит, если я приеду, я бабу Груню не стесню; пока о моих планах знает только Катя, я ей предлагаю вместе ехать, но у нее отец на руках, может, потом... А тут на днях Ивановна, соседка, на крыльях весть принесла: Ветка, бывшая моя подружка, вышла замуж. Ничего себе! Ивановна уже и мужа Веткиного видела — в летах, говорит, и богатенький — разжился на азартных играх. Казино у него или что-то в этом роде. Клавка, Веткина мать, зятя своего побаивается, хотя

вида не подает и даже хвастает, что Ветка «хорошую партию» сделала. Мне лично кажется, что без милиции здесь не обойдется.

Да, наш класс и насчет милиции отличился. Ашурлиев был недавно задержан: в компании таких же недоумков избивал прохожих, дело передали в суд, после чего наш директор окончательно уверился, что мы — педагогический брак. А я-то всегда считала Ашурлиева тепой: значит, верно, что в тихом омуте черти водятся. В тихом омуте...

Она в больнице, в кризисном отделении — какой-то психоз; я сначала хотела туда съездить, все-таки дружили когда-то, а потом подумала: чего себя и ее растравлять? Видно, ей тоже не сладко пришлось. В общем — пусть выздоравливает, я ей зла не желаю.

Вот и все. Стихов я больше не сочиняю — не для кого; сердце как-то очерствело, ожесточилось. Что там ждет впереди? Что бы там ни было, Андрея я никогда не забуду. И если у меня когда-нибудь будут дети, я расскажу им о нем. И если существует загробная жизнь, как считает Катя, то пусть Андрей там, в том мире, знает и чувствует, что нет на земле другого человека, который бы так, как я, его любил. Всю жизнь. До самой могилы. Что бы ни случилось.

А сегодня я была на кладбище. Там пахнет землей, настоящая весна, почти что май, солнце печет. "Андрей, — сказала я, — ты меня слышишь? Я принесла тебе цветы — ландыши.

Ты ведь их любишь, Андрей?»

Март 1988,

Москва

Дмитрий Близнюк. «Бабочки Брэдбери». Стихи

Родился в 1979 г. и вырос в г. Харькове, Украина. Писать начал в 1994 году — афоризмы и миниатюры. С 2011 года пишет стихи и лирические миниатюры.
Публикации в сети: "45 параллель", "Зарубежные задворки", "Московский Комсомолец" и др.
Публикации в журналах: "Сибирские Огни", "Вокзал", "Порог", "Стожары", "Харьковский Мост" и др.
Лауреат нескольких международных литературных конкурсов.

Поэт мыслит ассоциативно. Он разобран на винтики, Его мозг слеплен из остатков раздробленных картин Дали. Словно тибетский йети, бредёт его смысловое, его губы проговаривают забытый (а может, нерождённый) мир. Дмитрий Близнюк буквально взрывает строчками восприятие обыденного. И это потрясающе. Неотрифмованное пространство будоражит строками, которые вольно слеплены автором, но при этом нет хаоса, Есть нечто тамтамное и стучащее в стихах. Недаром автор говорит — "Тишина — это дорога из другого мира". Конечно, из другого. В мире Дмитрия, взрывающемся стихотворной вулканной лавой — наблюдается ежесекундное потрясение.

Ирина Жураковская

***

Ну и резанула же — кривыми ножами
идея возвращения.
Иероглиф чернильной боли на молоке
медленно расползается по темени.
Кто-то прошелся вальвулотомом по клапану сердца.
Вернуться? К тебе? Невозможное — возможно? Да ну его к черту!
Так трощит скрипку подбородком безумный музыкант,
так удивленный стекольщик
сдавливает пальцами перерезанную вену,
но музыка пробивается — толчками, сгустками, овалами.
Маэстро, смертельно простуженный временем,
отхаркивает на ноты мелких красных улиток без панцирей.
Голые деревья валятся в ряд под натиском ветра —
валится шеренга из костяшек домино.
Идея вернуться к тебе торчит между лопаток,
как шпага тореадора.
Вибрирует тяжелой уродливой струной.
Стоит ли возвращаться?
Идти сквозь паутину прошедшего,
выставив пятерню и сощурив глаза?
Может, и не существует никаких возвращений?

То, что вчера было блюдом со слезами влюбленных,
сегодня — банальность, салициловая кислота.
Я никогда не вернусь — но мысленно делал это не раз,
обвязавшись веревкой — уходил в буран невозможного,
веревка натягивалась, скрипели колки тысячи скрипок,
предательски тонко визжал стальной трос буксира.
Может, не стоит тревожить призраков и богов?
Не стоит возвращаться? Возвращение —
ностальгия котлеты по говяжьим ляжкам и травяной благодати.
Каждый третий здесь инопланетянин.
Плотник Иосиф
построй мне деревянный вертолет, чтобы смог я вернуться -
инкогнито. На несколько минут
пролететь над замершими в дивных позах днями —
над спящими прозрачными младенцами,
а внутри младенцев цветочным роями
кружатся, беснуются души миров,
утраченных навеки.

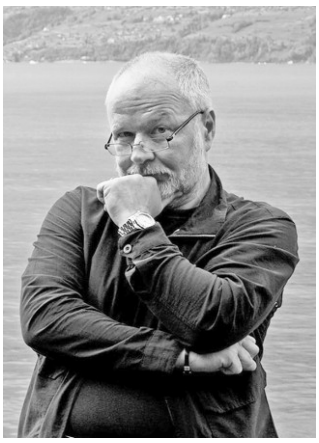
* * *

Ветка легонько бьётся в окно.
Равномерное постукивание вязальных спиц.
Звуки сливаются в оглушительное волшебство тишины —
тишина на фоне мелкого шума, как девушка,
что вышла из моря — она по-русалочьи ловко отряхивает волосы,
выжимает их и кладёт себе на плечо, как солдат мушкет.
И я беру девушку за руку — доверчивая и нежная —
и иду вместе с ней по парку, усыпанному звуками
(шапка Мономаха тишины утопает в драгоценных каменьях).
Монета падает на асфальт,
воздух царапает чирх зажжённой спички,
и где-то вдалеке позвякивают кастаньеты трамвая.
Слепой человек на скамейке причмокивает губами —
его глаза-улитки ввалились внутрь, а рядом с ним
терпеливо сидит женщина, прямая и плоская,
как дева на иконе, и держит его за руку.
И сосны неподвижны в небесах, точно скалы. Так тихо,
что слышен скрип крошечных челюстей белок на соснах.
Тишина — это дорога из другого мира.
Фундаментальная стезя богов, проложенная через
музицирующий бедлам человечества.
В тишине мы зрим вечную сюрреальную толчею
и шествие слоновьих идей, образов, призраков.
Отодвинь бахромчатую ковбойскую завесу ноября.
И прислушайся к тишине... Это всё,
что останется от тебя.

* * *

Вагон метро качается, как метроном кошмара.
Берлинская стена из лиц и искривлённых взглядов.
Вот базальтовая женщина в очках. Что ей сегодня снилось?
От этого зависит судьба целой планеты.
Неужели она третья лишняя в самодостаточном мире?
Посторонняя насквозь, с мигренью и страстью
к белому шоколаду?
Жизнь непоправимо стареет и теряет каштаны.
У вселенной опускаются руки с фломастерами —
все миллиарды, всё летит к чёрту в тартарары!
Неужели в спектр радуги не входит цвет
её карих настороженных глаз? Кто-то выдрал
провод из кабеля человечества — авось никто не заметит.
Я смотрю на неё и чувствую —
что-то в мире идёт не так. Логика эгоиста мечет бисер,
но я не свинья разумная — бери выше!
Она — один из каратов алмаза, смысла моей жизни.
Без неё вчерашний день развалится на куски,
как халабуда бродяги под ливнем. Без неё
строки растекутся растаявшим мороженым.
А она по-носорожьи прямо смотрит в меня,
инстинктивно прижимает сумку к бедру,
где кошелёк и ключи от дома. От иного мира.
И вся планета безнадёжно кишит бабочками Брэдбери,
полыхает людьми Брэдбери, как в немом кино.
И лик мира меняется ежесекундно,
ежеминутно, ежечасно,
точно его нещадно бьют током, танком, танку.

Андрей Оболенский. Два рассказа о войне



Оболенский Андрей Николаевич родился и живет в Москве. По основной профессии детский врач.

Пишет прозу. Тяготеет к чистому реализму, который, увы, редко встретишь сейчас, и к мистической, а точнее, магической прозе — также с элементами реализма, иногда довольно жесткого. Публиковался в журналах ”Лампа и дымоход”, ”Эдита Гельзен” (альманах),”Homo legens”, ”Новый берег”, ”Za-Za”, ”Кольцо А”, ”Великороссъ”, ”Поляны”, в региональных изданиях. Его рассказы ”Любовные похождения писателя Глохова на даче” и ”Боги старухи Фонкац” вошли в шорт-лист последнего Волошинского Конкурса.

Перекрестки чужих дорог

У Человека всегда есть выбор. По крайней мере, он так думает, полагаясь на свободу воли, которую ему даровал Господь. За одним исключением. Если он не рожден в СССР. Коммунизм выбора Человеку не оставляет. Система устроена для уничтожения Человека и делает это методично и последовательно. Сначала маузерами и пиками Конармий, потом отравляющими газами и артиллерией Тухачевских, Якиров, Уборевичей. И расстрелами, голодом, непомерным трудом на воле и убийственным в лагерях. Потом — руками фашизма, выпестованного тем же коммунизмом. Вторая мировая война для населения России — не страшный этап, не «ужасное, выпавшее на его долю испытание», а всего-навсего эпизод советской истории нашей страны, где мирное время страшнее и жертвеннее военного. Истории, не оставляющей выбора.

Она, кстати, так и не закончилась…

Георгий Тарасов

Деревня сгорела быстро. Будто никогда не была живой, наполненной криками ребятни, мычанием коров, ветром и птицами, шумно взлетавшими с крон корявых яблонь. Глинистая почва затвердела от пожаров, потрескалась, причудливо извивалась следами танковых гусениц и мотоциклов. Бывший господский дом, отремонтированный в тридцатые и ставший тогда же филиалом Истринской психиатрической больницы, глухим торцом выходил на главную улицу сгоревшей деревушки. А фасадом смотрел на реку, образующую прямо напротив приземистого дорического портика, длинную песчаную косу.

Психов давно эвакуировали, персонал мобилизовали. Население же постепенно разбежалось кто куда, чтобы схорониться от быстро наступающих немцев. Не боявшиеся никого деревенские старики и старухи приняли быструю смерть, явившуюся утром. Немцы легким дыханием смели роты курсантов и мобилизованных штатских, оборонявших Истру с близлежащими деревнями. Бойцы, зелёные и необстрелянные, по большей

части вооруженные винтовками Мосина образца 1891 года, бежали, лишь завидев танки и идущую цепью пехоту. Не помогали надсадные крики замполитов, командиров из кадровых военных, героизм не помогал. А кто и проявил его, навсегда там остался. Тишина воцарилась над рекой и несуществующей уже деревней.

Километров на десять ближе к Москве, немцы не спеша и по науке укрепили рубежи, расставили посты, выпустили патрули. Потом откатились к городу обосновываться на новой немецкой территории, чтобы отдохнув, стремительно наступать дальше. Танковая колонна возвращалась в Истру большой дорогой, на которой все мосты остались целы. Один из танков отвалился от колонны вбок, дал крюк по бездорожью. Остановился на краю сгоревшей деревни, поводил башней влево и вправо, будто живой человек, осматриваясь. Заметил почерневшее, но почти целое здание больницы. Подумал: ”непорядок” и снова поворочал башней, выплюнув снаряд в сторону здания. Бело-чёрной доминошной пылью центральная часть дома вместе с портиком осыпалась как песчаный замок, загорелась. Но пожар почти сразу прекратился, — деревянные стропила быстро потухли, наверное, из-за клубов кирпичной пыли. Танк подумал ещё, крутанул башню в сторону новенькой водоразборной вышки, но стрелять не стал, сберегая немецкое теперь имущество. Развернулся и на полном ходу двинулся к городу догонять своих, прошивая на всякий случай из пулемета чёрные кубики обезглавленных домов.

На реку вместе с темнотой и холодом упал туман, скрывающий обгорелые стены изб, огрызки сосен, берёз и яблонь. Потом внезапно крупными каплями пошёл дождь. Картина разнообразилась звуками, — треском, шипением; тёплый пар перемешался с ледяным туманом и застыл грязно-серым маревом невысоко над землёй. Ночь скрыла нанесенные земле раны, которые вскоре залечатся буйной зеленью, — кустами малины с крупными тёмными ягодами на радость не родившимся ещё детишкам. Они, эти кусты, быстро и буйно растут как раз на пожарищах и сведённых человеком лесах…

Но пришло утро. Пришло поздно, часу в десятом, опять же туманом пришло, но уже иным, — более чистым и прозрачным. Потом, будто желток в сыром яйце, в тумане возникло солнце, не спеша выкатилось из-за поворота реки вверх, в небо. И изуродованное людьми место обрело, наконец, свой окончательный вид. Оно виделось мёртвым, птицы уже не пели, только тёплый воздух колебался волнами вокруг чёрных остовов изб и скорбного дома, хоть и закопчённого основательно, но всё равно казавшегося ярко-белым на фоне обгорелого дерева.

В одной из комнат полуразрушенного здания остались люди.

— Мать твою, — выругался сержант Субботин. — Завалило, — он всем телом налёг на дверь, но та даже не шелохнулась. — Ничего, через окно можно выбраться. Хорошо ещё уцелели, повезло. Слышь, Кукин?

Командир роты услышал сержанта, понял, что тот сказал, но ответить сумел лишь тихим, невнятным хрипом. Субботин оглядел тускло освещённую дневным светом комнату и сразу вспомнил, что вчера, когда свои побежали, а немцы шли цепью, не особо торопясь и поливая всё вокруг автоматными очередями, он оказался рядом с командиром роты. Тот, сорвав шинель, катался по земле, брючина выше правого колена набрякла кровью. Субботин осмотрелся и увидев, что они остались левее и впереди своих, а выстрелы трещат в отдалении, навалился на командира всем телом, лишив его возможности двигаться. Вырвал из кармана бинт, который всегда носил с собой, крепко перетянул бедро командира у паха. Чуть ослабил хватку, командир тонко завизжал, перевернулся на живот и пополз в сторону.

Субботин ухватил его за сапог, подтянул к себе и большим кулаком ударил по затылку. Кукин обмяк. Теперь Субботин имел возможность сориентироваться, понять, где можно укрыться и далеко ли до этого места. Опытный глаз сразу высмотрел торец здания психлечебницы с наглухо заложенными свежим кирпичом окнами. Субботин, моля бога, чтобы хоть какая-нибудь дверь оказалась не запертой, поволок на себе тяжёлое от неподвижности тело командира. Волок долго, старался не останавливаться, в глубине души опасаясь, что вернутся немцы. Шинель расстегнулась, глина, застывшая из-за пожаров, острыми иглами царапала кожу даже сквозь гимнастерку и брюки. Дыхание сбивалось от напряжения и сильного запаха гари, пропитавшего лёгкие и кожу. Но Субботин не собирался сдаваться, — помогала зековская выучка. В морозы на лесоповалах, когда телесная оболочка, казалось, покрывалась льдом изнутри, а душа, по физическим законам расширялась до невозможности, замерзая, бывало и хуже. Субботин мозжечком чувствовал, что вход в оставшееся почти целым крыло лечебницы имеется, а немцы будут возвращаться к Истре крупными дорогами. Так и вышло.

Уже в темноте Субботин со своей ношей ввалился в большую сводчатую комнату и сбросил с себя тело Кукина. Тот застонал, а Субботин обрадовался, что командир жив. Действуя на ощупь, ослабил жгут, ощупал ногу, с удовольствием убедившись, что бедро ниже жгута тёплое, а кровь если и есть, то засохшая. На всякий случай, подождав минут пять, слегка затянул жгут и влил из фляжки в открытый рот командира глоток воды. Потом напился сам, каким-то чудом разглядел, что посередине комнаты стоит стол, расстелил на нём шинель. На удивление легко после выпитой воды поднял и уложил командира на стол, потому что не годилось ему лежать на холодном каменном полу. Так и подумал сержант, что негоже командиру, да ещё раненому, на холодном полу. Сам отполз от стола, почувствовал вдруг невероятную усталость, ноющую ломоту в пояснице, да и в душе, пожалуй, привалился к стене и моментально заснул. Сон на несколько секунд сбился грохотом взрыва и пулемётными очередями, но, как ни старался Субботин, сил двинуться не сыскал, проснулся и ощутил себя живым только утром, когда уже совсем рассвело. Проснувшись, первым делом ринулся к двери и испытал секундный леденящий страх, что завалило наглухо. Но быстро осознал, что имеются два больших разбитых окна, через которые в комнату вместе с холодом проникает тусклый утренний свет начала ноября.

Субботин посмотрел вокруг и понял, что они с командиром попали на кухню. На полу валялась разнообразная утварь: сковородки, битые тарелки, ложки, два половника и дуршлаг. Сержант приподнял крышку большой кастрюли, стоявшей на плите, запахло прокисшим супом и плесенью. — ”Ничего”, — подумал Субботин, — “пусть пристрелят, так хоть с голоду не помрём. У меня-то желудок лужёный, а вот командир….Хотя, наверное, и запасы остались, эвакуировали, видать, спешно. Поискать надо будет”.

Субботин повернулся к столу, на котором лежал лейтенант. Тот тяжело дышал, однако лицо не было бледным. Субботин вдруг с ужасом обнаружил, что Кукин лежит на столе для разделки мяса, рядом валялись два почерневших от крови топора. Сержант на секунду представил, как на этом столе рубили освежёванные туши, как стекала с них кровь, бросился к командиру, стащил со страшного стола, подхватил под колени и оглянулся, куда бы уложить. Не нашёл ничего подходящего, положил тяжёлое тело на пол, бросил к стене свою шинель, на неё — шинель Кукина и осторожно переложил командира на мягкое. Осмотрел рану, кровотечения не было, перевязал, жгутом решил не перетягивать. Щёки Кукина были в нездорово-

красных мелких жилках, но веки подрагивали. Субботин знал, что это верный признак того, что раненый скоро придёт в себя. Дал командиру попить ещё, попил сам, решил сбегать к реке за водой.

Холодный воздух пах гарью, заболоченным заливом правее песчаной косы, чем-то сладковатым ещё, — Субботин понял, что порывы ветра доносят от домов запах сгоревших трупов. Пройдя метров двести до реки, он увидел несколько скорчившихся тел. Под обугленной берёзой валялась рука в коричневой перчатке, оторванная по локоть. Субботин оглянулся, ему на секунду показалось, что сгоревшие срубы и ослепительно белый на их фоне каменный дом с развороченным портиком и чёрными дырами в стенах, парят в воздухе, стараясь оторваться от земли и улететь туда, где царит другая тишина. Но он знал, что другой тишины нет, тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение, быстро спустился к реке набрал воды во флягу и котелок и, уже ни на что не обращая внимания, вернулся в дом. Влезая через окно в комнату, расплескал половину котелка, чертыхнулся, подумал вдруг, что немцам в ближайшие дни делать тут нечего, а за это время было бы большой удачей найти какой-нибудь выход.

Командир, как и рассчитывал опытный Субботин, очнулся. Он даже переполз подальше от окна туда, где было теплее, перетащил за собой и обе шинели. Лежал на спине, укрывшись ими по самый подбородок, внимательно наблюдая, как сержант лезет в окно.

Субботин приблизился к командиру и увидел, что глаза его прояснились, блестят.

— Ну вот и славно, — пробормотал Субботин, — вот и славно, теперь бы выбраться как-нибудь.

— Ты не бросил меня, сержант, — вдруг громким, отдающимся высоко в сводах комнаты голосом, проговорил Кукин. — Это хорошо. Ты не бросай меня, я поднимусь, я сумею. Где наши?

— Не могу знать, километрах в двадцати, надо думать.

— В каком направлении? — строго спросил Кукин, а Субботину от строгости и деловитости его голоса вдруг захотел вытянуться по стойке ”смирно”. — В направлении Москвы, товарищ командир. Другого направления в движении войск, судя по всему, пока не было.

— Это вражеская чушь, — неожиданно зло и надрывно прокричал Кукин. — Мы отступили на заранее подготовленные позиции, чтобы контратаковать. Но я ранен и устал. Голоден. В глазах темнеет, — голос вдруг упал совсем до шёпота.

— Немцы не вернутся сюда, — озабоченно сказал Субботин, — делать им покамест тут нечего, Истра в сорока километрах. Остановились ненадолго и обустраиваются. Пойду, съестное поищу. Что-нибудь, да осталось.

Он снова полез через окно на улицу. Задул ветер, унося прочь все запахи поражения и позора, — два последних слова ветер и занес в мысли, Субботин испугался их. Снова собирался дождь, небо потемнело, и картина вокруг сгладилась, показалась Субботину не такой страшной. Он огляделся и, держа наготове автомат, который в первую вылазку просто позабыл взять с собой, прижимаясь к стене, прошёл вдоль неё метров сто, до пробитого снарядом большого отверстия в стене. Дальше был виден порушенный портик, туда идти не имело смысла, сержант разглядел там сплошную каменную кашу. Поэтому нырнул в дыру и оказался в длинном коридоре с множеством дверей. Субботин прошёл по коридору до конца и уперся в солидную деревянную дверь с расколотой по диагонали внушительной табличкой: "Главврач Морзон И.И.". Субботин толкнул плечом дверь и оказался в большом кабинете, почти не тронутом войной, в нём даже пахло

кожей, немного кофеем и царил удивительный порядок, — ни одной вещи не валялось на полу. Субботин подумал, что товарищ Морзон, несмотря даже на неразбериху начала войны и спешную эвакуацию, был на редкость аккуратным человеком. Порылся в столе, ничего кроме карандашей там не нашёл, зато в шкафу обнаружил несколько коробок с конфетами, пачки чая, сладкие сухари, печенье, даже несколько бутылок Массандровского портвейна. «Живём», — подумал. Сгреб всё в вещмешок, хотел было уходить, но не стал. Положил вещмешок на пол и уселся в кресло за массивный, покрытый зелёным сукном стол. Сидеть в кресле было удобно, оно плотно облегало уставшую поясницу.

Потянуло в дрёму. Субботин, будто бы и уснул на секунду, сон увидел даже, свой собственный кабинет увидел, где имелись такое же мягкое кресло и необъятный, гораздо больше этого, стол. «Тридцать восьмой год, — подумал Субботин во сне-дреме, — как раз Октябрьские праздники, как раз вышла статья в "Правде" о моём заводе. Знаменитым проснулся, приглашение на парад получил, на гостевую трибуну, заехал на работу, чтобы взять галстук, самый лучший, да, ведь я мог оказаться рядом с товарищем Сталиным, никак нельзя задрипанный галстук… Но не оказался. Только потом его видел в Кремле, когда орден Ленина мне вручали».

Субботин нагнулся, поднял вещмешок и достал оттуда бутылку портвейна, а ещё — плитку пористого шоколада "Красный Октябрь", такой он часто брал в продуктовом распределителе для сына. За неимением штопора продавил пробку в бутылку, разорвал на шоколадке бумагу. Прямо из бутылки сделал большой глоток, зажевал шоколадом. Вино с голодухи и усталости резко стукнуло в затылок, вставать не хотелось, идти куда-то тем более, хотя позабытый за три лагерных года вкус шоколада пробудил волчий голод. Субботин дожевал плитку, достал вторую, тоже съел. Голод несколько поутих, зато до безумия захотелось с кем-нибудь поговорить. Жена умерла в лагере, ей тоже пришили вредительство, а как может навредить стране микробиолог, проводящий весь рабочий день с микроскопом? У Татьяны были слабые лёгкие, она не вынесла и года лагерей, о её смерти Субботин узнал только через месяц после начала войны, когда его неожиданно выпустили, сняв все обвинения, а потом сразу мобилизовали, не дав, правда, офицерского звания. Сына он помнил совсем маленьким, он не годился для душевного разговора, нескольких близких друзей тоже арестовали по одному с ним делу, с дальней родней говорить не хотелось. Тогда Субботин вспомнил о своей секретарше Ольге. "Интересно, что теперь с ней?" — подумал. И она вдруг, как живая, возникла перед ним. Ольга не была молода и красива, жена внимательно следила, чтобы в бытность директором завода, он не брал молодых секретарш. Субботин знал, что Ольга влюблена в него и почти боготворит. Яростно оберегала от назойливых посетителей, в основном, позабытых приятелей и дальних родственников, нескончаемой чередой потянувшейся к новоиспечённому директору и члену коллегии наркомата.

— Вот такие дела, Ольга Юрьевна, — пожаловался сержант возникшей в двери секретарше, — вот такие дела. Этот кабинет похож на наш с вами, правда? И кресло похоже, я отсидел в нём почти три года. И брали меня здесь. Я-то помню, как вы старались удержать слёзы, но плакали, плакали и боялись, как бы кто чего не подумал. Потом я забыл о вас, лагерь, война, жена вот умерла, как всё смешалось.… А теперь вот разговариваю с вами, а сам прекрасно знаю, что меня ждёт только смерть. Но сейчас всё-таки есть выбор, а тогда что я мог? Знал, что сяду, не знал только, когда. Такие дела, Ольга Юрьевна, — закончил он. — Идти надо, командир ждёт и голоден.

Обратно он пробирался уже без страха, не оглядываясь, карабин повесил за спину, чтобы не мешался. Добравшись до нужного окна, бросил вещмешок с продуктами, потом пролез сам. Командир сидел, опершись спиной о стену и пронзительно-ясными голубыми глазами, не отрываясь и не моргая, смотрел на Субботина.

— Нашёл продукты, — хрипло проговорил Субботин, — теперь не пропадём.

— Тебя долго не было, сержант, — всё так же звонко, глядя перед собой, произнес Кукин. — А я, признаться, думал, что ты к немцам перебежал.

Субботин вздрогнул. То, что произнёс командир, было страшно и несправедливо, но Субботин понимал: когда он подумал о наличии выбора в ситуации, не предполагающей выбора, то искал ответ на вопрос, возможно ли такое. Но от слов командира к горлу всё-таки подкатило бешенство.

— А какая разница теперь, лейтенант, — сдавленно проговорил Субботин, — всё равно не выбраться, немцы кругом.

— Ага, — не меняя тона сказал Кукин, — значит, мысли были. Знал я, что ты с гнильцой интеллигентской, не зря тебя посадили. Только выпустили зачем, не пойму.

Субботин задохнулся, бешенство из горла рвалось наружу.

— Не тебе, Кукин, судить. Выпустили, значит, нужен стал.

И вспомнил тут Субботин рассказ жены о том, как исследуют они под микроскопом реакцию амёб (кажется, она назвала их простыми или простейшими, — Субботин не помнил). Одну жидкость капнешь, — живее становятся, как водки выпили, другую — дергаются беспорядочно, с похмелья будто, а третью — и вовсе умирают. Есть и такие капли, от которых в спячку впадают, — вроде живы, но не реагируют ни на что.

— Я еды принёс, командир, — с усилием выговорил Субботин. — Поешь, тебе силы нужны.

— Не надо мне от тебя ничего, контра, — плачущий голос Кукина, будто вода в сосуд, влился в сознание Субботина. — Сам жри.

— Я сдаваться пойду, — неожиданно успокаиваясь, просто ставя командира в известность, буднично сказал Субботин. — Жить хочу. Хоть как, но жить. Потому что кроме жизни мне ничего не оставили, всё отобрали. Раньше думал, так надо. А теперь думаю — кому?

— Ах ты сволочь, — завизжал лейтенант, — сейчас ты у меня…

Субботин не понял, что "он у него" до тех пор, пока не увидел направленный на него пистолет, который командир, облившись потом от слабости и потери крови, достал из-под шинели.

— Стоять, гад, — также визгливо крикнул лейтенант. — Молись дьяволу своему, сука, предатель!

Но силы изменили Кукину, пистолет дрогнул и с глухим звуком упал на бетонный пол. Кукин тут же потянулся за ним всем телом, не в силах подняться, но Субботин кирзачом со всего размаха припечатал кисть командира к полу.

Кукин взвыл от боли, его лицо исказилось, в глазах прыгал страх, он, подвывая, попытался встать, но упал навзничь. Тут же поднял голову, страх в глазах исчез, в них появилась мольба.

— Не убивай, сержант, — сбиваясь, пуская слюну из угла рта забормотал он. — Все равно погибнем тут, дай пожить ещё чуток, а выберемся, — век помнить буду, ни слова никому не скажу, клянусь, у меня ведь дочка маленькая, сержант, а хочешь — оба сдадимся, я с тобой пойду…

Командир червяком шевелился у ног Субботина. — «Пойдешь ты, как же, — подумал он. — Чтоб пристрелить меня пойдешь, это да. Только не будет этого». Он поднял пистолет, и методично, патрон за патроном, пока не

стали раздаваться сухие щелчки, стрелял и стрелял в шевелящуюся на полу шинель, сукно которой медленно набухало темной кровью…

Командир лежал на спине, худые волосатые ноги торчали из-под шинели. «Когда он успел снять брюки, да и зачем, холодно ведь», — подумал Субботин. Отметил про себя, что ногти на пальцах ног тёмные и волнистые, тут же забыл об этом. Отбросил пистолет в сторону, прислонился спиной к стене, почувствовал внезапную слабость, сполз вниз, присел на корточки, закрыл руками голову, раскачиваясь. Хотелось плакать, но не умел. Вспомнил, что в вещмешке есть ещё бутылка портвейна. Снова утопил пробку в густом, пахучем вине, залпом проглотил полбутылки, закусил шоколадом. Вернулась способность соображать, хотя бы трезво оценивать ситуацию, в которую попал… нет, которую ему предназначили. «Вот что бывает, когда попадаешь в мясорубку всеобщего счастья», — откуда-то прихромала ненужная, ущербная мысль. А что оставалось другого, как не философствовать, выпив чужое вино на только что занятой врагом территории. Субботину внезапно стало весело. Труп командира уже не внушал ужаса, пришло понимание, что выход только один. И не самый худший, потому что умереть в любой момент не составит труда. А жизнь одна — это подспудно сидело в Субботине всегда, хотя он и не отдавал себе в этом отчёта. Как сидит понимание этого в каждом человеке, зажатое условностями, приличиями, идеями.

Субботин поднялся и накрыл с головой труп Кукина. «Жаль мальчонку, совсем молодой, а что было делать?», — подумал отстранённо, забросил на плечо вещмешок, оружие брать не стал, и вылез на улицу. Светило послеобеденное осеннее солнце, холодное и неживое. Всё вокруг создавало картину ирреальности. Но уже принявший решение Субботин не уделил ей внимания, да и видел он такие картины не раз. Затянул ремень и широко зашагал по проселку, ведущему по его расчетам к дороге, которая не могла быть пустой.

Расчеты оправдались. На дорогу Субботин и вышел, почти сразу услышав вдалеке звуки мотоциклетного мотора. Он сошёл на обочину, опустил вещмешок на землю и стал ждать. Мотоцикл мелькнул на горке, пропал. Субботин сделал шаг вперёд и поднял руки. Водитель остановился метров за двадцать от Субботина. В коляске сидел офицер, прямо державший спину. «Как кол проглотил», — подумал Субботин. Офицер стал с интересом рассматривать долговязого русского солдата с лихорадочно блестящими глазами. Солдат был совсем седой, хотя лицо не выглядело старым. Он стоял, подняв руки, потом, не опуская рук, подошёл ближе, водитель мотоцикла крикнул "Halt!" и сорвал с плеча карабин.

— Я сдаюсь, — громко и внятно сказал солдат по-немецки. — Хочу сотрудничать с оккупационными властями и быть им полезным. Работать переводчиком. Я… преклоняюсь перед мощью немецкой армии.

Офицер отвернулся к водителю и что-то быстро сказал ему. Снова повернулся к усталому русскому солдату и внезапно на его красивое лицо наползла улыбка, обнажившая белые, один к одному, зубы. Но глаза не улыбались, они были грустны и смотрели сквозь стоящего перед ним поверженного врага куда-то вдаль, за лес, реку, за почерневшие от дыма купола, туда, где, наверное, лежала его страна и жили родные ему люди. Немец ловко выбрался из мотоциклетной коляски и подошёл ближе. Медленно покачал головой, не сгоняя улыбки с лица, достал из кобуры пистолет. Русский не шевельнулся, выражение лица не изменилось, даже тени испуга не отразилось на нём.

— Стреляй же, ну, стреляй, — сказал только по-русски. — Сомнения должны разрешаться быстро, нас так учили.

Немец сделал два шага назад и поднял пистолет. Улыбка исчезла с его лица, палец шевельнулся на курке, сухо протрещали несколько выстрелов подряд. Русский согнулся в поясе, зашатался, пытаясь сохранить равновесие, медленно опустился в грязь обочины на колени, уронив в эту грязь и лоб, будто кладя земной поклон. Потом завалился набок и замер.

Немец постоял перед трупом, поднял глаза на виднеющиеся вдали купола и спрятал пистолет в кобуру. Сел не в коляску, а сзади мотоциклиста, стеком тронул его плечо. Через минуту дорога была пуста, только сизый дым недолго стлался по ней, потом рассеялся в прохладном воздухе.

В обочине на боку лежал мёртвый человек в замызганной шинели, крупные комья жёлтой глины налипли на его сапоги. Радом валялся вещмешок, из которого торчало горлышко бутыли с вином. Сквозь неплотно вставленную пробку вино выливалось и текло по плотной глине, не впитываясь в неё, ручеек тёк, становясь всё тоньше и тоньше. Вечерние облака скрылись, низкое солнце освещало голову мёртвого солдата, пряталось в успевших отрасти седых волосах. Если смотреть против света, можно было легко разглядеть вокруг головы солдата подобие геометрически несовершенного, колеблющегося, некрасивого нимба…

Апрель 2012

Служу Советскому Союзу

Конечно же, мне хочется спорить с автором. До хрипоты, до…

Но одинаковых людей не бывает, а, стало быть, и мнений. Я хорошо это знаю, у самого вся шкура в дырках от этих знаний. И я сижу и пытаюсь понять, кто же ты такой, Лепешев? Представитель ненавистной мне касты? Несомненно. Человек, достойный всякого уважения? А то… Ходячее противоречие? Хм. А вот это и называется человеком.

Есть такое клише, «Плыть по течению». Если глянуть очень свысока на жизнь героя, то именно так он ее и прожил. Но никто не имеет права смотреть на жизнь свысока. Течение-то бешеное. Головокружительное, с суводями, бросающими на камни и скалы, затягивающее в омуты, и бьющее с размаху обломками вселенского кораблекрушения — железом, сталью, порохом, ненавистью, равнодушием, властью, такими же людьми, угодившими в эту реку…

И просто выжить в этой реке под силу только герою. Но рассказ не ограничивается жизнью героя. Он еще и о реке. Буйной, бешеной, бестолковой. Домчавшейся до водопада, и рванувшей, очертя голову, вниз, увлекшей в бездну всех, кто в ней барахтается.

Почему я хочу спорить? Я умею выполнять приказы, но терпеть не могу этого делать по двум причинам. Во-первых, я всегда задумываюсь о том, кто мне их отдает, и имеет ли он право это делать. А, главное, я сам ненавижу их отдавать. Так лишают людей права выбора. А этого нельзя. Но это мое мнение, пусть и выстраданное, но мнение одного человека. А выход для страны может оказаться в той плоскости, о которой говорит в последних строках автор. Недаром многие страны выходили из хаоса через диктатуру. Чили, Греция, да мало ли… Об этом надо много и упорно думать.

А прочитав этот рассказ, не хочется закрывать книгу. Хочется думать.

Георгий Тарасов

Старику Лепешеву под майские праздники исполнилось восемьдесят девять. День рождения он справлял один, как и все последние годы. Звать было некого, — малочисленная родня давно забыла его, старые друзья поумирали один за другим. Так что день прошёл обычно, разве что купил Лепешев в супермаркете неподалёку два красивых дорогих пирожных, которые и съел с вечерним чаем. Выпивать не стал, поскольку почти всегда делал это строго в отведённые дни два раза в месяц.

Вполне может статься, что принадлежал Лепешев к неизвестной науке когорте бессмертных. Годы не били его, не гнули, а пролетали мимо, лишь шлёпая слегка по загривку. Оставляли, конечно, пролетающие годы кое-что, но так, мелочи всякие; небольшую гипертонию, ишемию сердца, ночные боли в коленях, бессонницу, — не в счёт это. Молодцом держался Лепешев, даже зарядкой утренней занимался: гирь, конечно, не тягал, но разминался по старой привычке с удовольствием. Гулял, опять же, в любую погоду, благо неподалёку от дома располагался хороший парк, чистый, ухоженный. Шпана всякая там не кучковалась, предпочитая заброшенный недострой, — поликлинику рядом со станцией метро, зажатой палатками и разными магазинчиками. Молодёжь затаривалась в торговых точках трёхлитровым пивом и шла тусоваться в сырые и загаженные бетонные комнаты, гоняя оттуда тамошних бомжей, иногда устраивая на них натуральную охоту.

В парк молодые люди и барышни заглядывать опасались: туда часто наезжала полиция. Блюстители вязали, не разбираясь, поскольку место отдыха было на виду как лицо района и с пристрастием контролировалось высоким чином из Управы. В самом парке Лепешева радовали полный и привычный с детства порядок. Зимой старик степенно прогуливался по расчищенным дорожкам, натянув на уши генеральскую каракулевую шапку, сильно изношенную и потёртую, подняв воротник перелицованной, генеральской же, шинели. Летом сидел на лавочке с шахматами в руках, ждал, чтобы кто-нибудь подошёл сыграть. Шахматы Лепешев любил, играл сильно, а вот домино и шашки ненавидел. Появлялась под заковыристую партию чекушка и пластиковые стаканчики с расплывчатой надписью ”Россия, вперёд!” или с рекламой какой. Лепешев, помимо отведённых дней, изредка за компанию позволял себе выпить лишь самую малость, — здоровье берёг, тайно мечтая до ста лет дожить, чтобы увидеть, какой страна станет к тому времени. Думал, что ничем он, Лепешев, не хуже горцев, доживающих в своих саклях до ста, а то и до ста десяти. Правильно думал старик: ничем он не хуже, а закалённей — уж точно.

Лепешев был одинок как перст. С шестьдесят второго жил вдвоём с сестрой в её квартире, куда чудом, а может, по ошибке, его прописали. Сестра умерла в шестьдесят девятом, оставив Лепешеву молодую дворнягу Кару. Дворняга по случайности наелась в подвале крысиного яда и умирала гораздо дольше и мучительнее, чем сестра. Лепешев вспомнил тогда своего хорошего друга, бывшего начальника дивизионного СМЕРШ, а потом высоко воспарившего генерала МГБ Сергея Стародубцева, его кошмарную смерть в вонючем лагерном лазарете. И с тех пор, как умерла Кара, Лепешев собак не заводил, памятуя о том, что век собачий короток и непредсказуем. Людской смертью Лепешева трудно было удивить — насмотрелся, а вот бессловесную тварь жалел до слёз. Накрепко решил доживать бессобачным.

В детстве Лепешев частенько удивлял родителей смекалкой, бойкостью, недетскими вопросами. В школе же некоторые учителя даже пугались, когда он тянул руку. В училище недолюбливали и налагали взыскания за то, что без интереса относился к политзанятиям и при всяком удобном случае

норовил пренебречь строевой подготовкой. Говорят, что большие печали — от больших знаний; однако Лепешев считал по-другому: большие печали проистекают от больших раздумий… ведь недаром Советская власть прилагала столько усилий, чтобы думать за народ и тем самым сохранять в нём радость жизни и здоровый оптимизм. Лепешев с самого отрочества отличался от большинства других тем, что имел склонность к этим самым раздумьям и запретить их себе не мог. Вот и надумал он к старости, что именно это скверное свойство его натуры привело к тому, что пройденный им от рождения путь в конечном итоге оказался не гладок, а усыпан камнями, которые кто-то, хорошо помня о времени разбросать, начисто забыл о времени их собрать.

Имел старик Лепешев и свою тайну. Он, как ни силился, не мог понять страну, в которой жил, её историю и настоящее. И хоть самую малость предвидеть будущее. Безрезультатного напряжения ума старик опасался, — на это требовалась энергия, которую он берёг и оттого на страну злился. Лепешев никому, даже соседу Витьке, иногда навещавшему его с парой чешского пива, не рассказывал о своей тайне. Неприлично как-то: истолкуют вкривь, шептаться будут за спиной. Скажут — сбрендил старик, любая эпоха в нашей стране была особой. Нам — современным, подтянутым и успешным, — на это плевать: мы знать не знаем, что такое особое имелось во времени и эпохе. А кто постарше и в курсе дела, — те помнят, как трудно жили люди ради мира на земле. Ничего, выжили, великая держава движется вперёд, среди стран могучих и крепких не последняя, — побаиваются её… нельзя злиться на Расею, нашу Расею, никак нельзя. Чай, не еврей наш герой… вот и держал старик свою тайну при себе.

Вспоминать Лепешев любил. Наверное, потому что лично для него всё закончилось, никаких потрясений не предвиделось. Воспоминания, правда, не слагались в целое; они возникали пятнами, когда даже самые короткие периоды жизни распадались… из них вываливались иногда значительные, а иногда и совсем пустые эпизоды. Легче всего вспоминалось, сидя в худосочном кресле шестидесятых годов, купленным сестрой в паре с ещё одним таким же в Доме Мебели по записи. Лепешев закуривал “Приму”, наливал в гранёный стакан коньяку, который покупал один раз в три месяца, откладывая на него определённую сумму с каждой пенсии. В холодильнике всегда была квашеная капуста, которую старик посыпал крупным и желтоватым сахарным песком из старых нескончаемых запасов, — лучшей закуски под коньяк он не знал, — куда там лимону, или шоколаду.

После — откидывался на жёсткую спинку кресла; вспоминал… думал. Бывало, что одно незаметно перетекало в другое, и Лепешев засыпал. Сны ему снились разные, но никогда — страшные. Старик рано исчерпал лимит кошмаров, предоставляемый среднестатистической жизнью. Поэтому избегали его кошмарные сны.

***

Тогда, в один из осенних дней сорок первого, оба Подольских училища подняли по тревоге. Курсанты знали, что это произойдёт, только не знали, когда и по какой причине. Причину курсант Лепешев узнал много позже — она была простой. Вчерашние полковники, в одночасье занявшие генеральские посты, удивительно часто освобождавшиеся перед войной, не имели военных талантов и немалого опыта своих предшественников. Они просто прозевали вражескую танковую колонну длиной в двадцать

километров, быстро шедшую сквозь полную пустоту к Москве по Варшавскому шоссе. Два лётчика, доложивших об этом командованию, были расстреляны за паникёрство. Когда же всё стало ясно, то по тревоге подняли курсантов, — больше поднимать было некого. В бой их вели не генералы свежей выпечки, те недавние полковники, а совсем другие люди. Курсантам было приказано умирать… за что? За чужие амбиции, чужую хитрость, чужую глупость, шпалы в чужих петлицах, а уж в последнюю очередь — за Родину.

Среди посланных умирать был и Вася Лепешев. Он не умер; выжил, так уж получилось. Вася понял, что значит стрелять в человека, пусть и в чужой форме, пусть и со звериным оскалом врага, — но в человека. Понял, что значит видеть нависающий над тобой танк, рвать чеку, скрипеть зубами от ярости и страха… страха смертельного, корёжащего, скручивающего душу винтом, рвущегося наружу и упирающегося в чужую ярость, в чужой страх и в чёрную дыру чужого автомата. Курсанты держались пятнадцать дней. Продержались. Выживших отвели в Иваново. А теперь в Подольске, Лепешев знал, хотя никогда и не видел, есть памятник, к которому съезжаются хмельные свадьбы и пьют из горла водку, а из бокалов — шампанское. Бокалы бьют об асфальт у постамента, на счастье бьют и пьяно орут "горько!". А на девятое мая ровесники его, тогдашнего, сосут пиво и гогочут, разбирая Георгиевские ленточки — халява! И машут ими, и привязывают к антеннам старых ”Мерседесов” и раздолбанных ”Опелей”, пригнанных с немецких, кстати, барахолок. Ребята счастливы. Им плевать, почему Георгиевские ленточки полосатые, почему толпа, и что написано на камне памятника — не читали просто. Ребятам приказано жить. Как жить? На своё усмотрение.

Лепешев стал одним из курсантов, досрочно получивших звание младшего лейтенанта и отправленных на фронт. В ноябре сорок третьего капитан Лепешев уже командовал стрелковой ротой. Он свыкся с войной, сросся с ней, был частью её: как раньше учился в школе, сидел за зелёной партой, под крышку которой удобно было прятать томик Жюля Верна и читать на ненавистных уроках химии… как маршировал на плацу в училище, конспектировал Ленина и Сталина, так и теперь — воевал. Испытал Лепешев многое. Леденел в окопах под Брянском, голодал; вот только страх притупился, заполз внутрь и жил там своей собственной жизнью, копошась и видоизменяясь. Лепешев понял, что не страшно, когда тебе в грудь упирается дуло автомата. Убить могут, но — необязательно. Не страшно, когда рядом бухает взрыв… отбросить волной, контузить — может, но — необязательно. Действительно страшно становится, когда этот самый копошащийся страх выползает наружу и без видимых вроде причин, заставляет бросить автомат и, закрывая руками затылок, бежать прочь, в лес, куда угодно. Упасть в воронку, чтобы присыпало землей, не шевелиться, прикинуться мёртвым. Или даже не прикинуться, а умереть по-настоящему. Потому что это не страх смерти, а страх жизни.

Однажды в бою его рота дрогнула. Лепешев очень чувствовал момент, когда людей справа и слева от него накрывает неведомая волна. Они кричат ”ура!”, ”вперёд!”, ”за Родину, за Сталина!”, но волна накрыла, и, хоть противник далеко, через секунду люди побегут. Тогда Лепешев сам отбежал назад, чтобы опередить, чтобы столкнуться лицом к лицу со своими отступающими солдатами и крикнуть им: ”Вперёд, сволочи, не отступать, вперёд!”. Он знал, что оскаленное лицо командира, вставшего в полный рост и плюющего на свист пуль действует на бойцов безотказно. Но Лепешев поскользнулся и, ударившись головой о камень, потерял сознание, а когда пришёл в себя, ощутил странную тишину. Он лежал на животе, вывернув голову вправо и упираясь виском в глину. В плечо вдруг ткнулся чёрный,

явно не советский сапог, и толчком перевернул потерявшее способность к движению тело на спину. Глаза наполнились голубым небом, и Лепешев вдруг представил себя князем Андреем. Глаза скользнули чуть вбок, и он увидел неправильную, коротконогую в извращенной перспективе фигуру немца в полевой форме войск СС. Сначала в глаза бросились молнии в петлицах, и только потом, в одно мгновение Лепешев разглядел, нет, впитал взглядом округлое, пухлое, совсем юное лицо с веснушками и небольшим прыщавым носом. Немец задумчиво смотрел на Лепешева, покусывая нижнюю губу. Ткнул в бок дулом автомата. Лепешев шевельнулся от боли, сжал у груди руки, ожидая трескучей очереди и тишины за ней. Но немец вдруг громко проговорил что-то на своем лающем языке, посмотрел вверх и его губы беззвучно задвигались, будто в молитве. Снова глянул на Лепешева, перекинул автомат в правую руку и затрусил прочь. У Лепешева мелькнула и тут же пропала мысль, что надо дотянуться до оружия и выпустить длинную очередь в колеблющуюся спину. Он попытался, но до автомата дотянуться не сумел. А через полчаса его подобрали вернувшиеся бойцы собственной роты, отпоили водой, нашли даже глоток водки. Хотели отправить в медсанбат, но не стали. Лепешев потерял каску и просто ударился головой о камень. Потом он долго думал, не пригрезилось ли ему всё это.

Наезжали с проверками толстомордые, лоснящиеся штабные, они несли перед строем трескучую чушь, учили уму-разуму его, Подольского Курсанта и подобных ему, заглянувших в тёмные глаза смерти. Особисты перед строем расстреливали дезертиров, просто запаниковавших, или тех, на кого донесли. Особисты были холодны, почти всегда худосочны и подтянуты, а хлопки их табельных пистолетов глухи и почему-то совсем не похожи на выстрелы. Несколько раз перед важными боями или наступлением дивизию выстраивали в каре и комиссар госбезопасности Пронин, начальник Особого отдела, медленно шёл вдоль строя. Если ему не нравились чьи-то глаза, внешность, или рядовой просто казался маленьким и хилым, Пронин костлявыми пальцами вцеплялся в рукав солдата, выдёргивал его из строя, умело делал подсечку так, что солдат кулём падал на землю. Потом, не спеша, доставал пистолет, два раза, почти не глядя, стрелял в лежащего у его ног солдата, всегда попадая в голову. Аккуратно прятал пистолет в кобуру и высоким, срывающимся голосом, чтобы было слышно всем, замершим в каре, кричал, что так будет с каждым, кто дрогнет, что предатели и дезертиры среди нас, их надо распознавать и ни в коем случае с ними не церемониться.

После освобождения Брянска триста двадцать третью стрелковую дивизию отвели для пополнения в деревянный и почему-то совсем не выгоревший городок Болхов, освобождённый ещё летом. Наступил период недолгого покоя и тишины. Думали-гадали куда перебросят, что ждёт, что будет. Командира дивизии вызвали в штаб фронта, кто-то говорил, что в Москву. Прибывало свежее пополнение, совсем необстрелянные юнцы. Лепешев смотрел на них немного свысока, но и рад был за этих молодых, немного испуганных ребят, понимал, что не придётся им испытать им кошмара первых дней войны, когда повсюду вокруг плавали тяжёлые сомнения и, страшно сказать, разочарования. Потом вдруг прислали нового командира дивизии, о котором никто ничего не знал. Ходили слухи, что он служил в Генштабе, чем-то проштрафился, был разжалован в подполковники и направлен на фронт. Новый комдив сразу собрал всех офицеров, обрисовал обстановку, наметил перспективы, словом, показался дельным, несмотря на тыловое прошлое. Особо суровым быть не пытался, пока не хотел строгостей, присматривался, наверное.

А Лепешев, размякший от покоя и тишины после непрерывных боёв, вдруг влюбился. Это случилось с ним впервые. Школьные увлечения давно забылись, а те, что помнились, казались забавой. Мария была медсестрой, молоденькой, совсем девочкой, но Лепешев знал, что хлебнула она войны здорово; сама не рассказывала, но лепешевские друзья говорили, что вытащила она на себе под огнём не одного раненного. Когда Лепешев наведывался к ней в медсанбат и видел её, казалось, что войны нет, всё кончилось. Что впереди не тягучая неизвестность, а вся жизнь, как на ладони; светлая, спокойная и протяжённая, с семейными обедами, детишками, прогулками, разговорами и бесконечным, счастливым бытом. Лепешев знал, что это обманчиво, что судьба его — опять и опять окунаться в войну, а пока радовался моменту. У Марии ухажёров хватало, но она отличала Лепешева, не стеснялась оставаться с ним наедине, болтать. Всё случилось быстро, как это бывает на войне, когда возникшее вдруг между людьми тепло удивительным образом сочетает в себе и душевное, и телесное, в обычной жизни редко соединимое. Их роман заметили: в полку удивлялись, — ну и девушку отхватил капитан, повезло. А Лепешев парил над землёю, и был счастлив. До тех пор, пока однажды не вызвал его новый комдив.

Удивлённый Лепешев прибыл в штаб дивизии. Ординарец принёс чай в подстаканниках с изображением Кремля, комдив задал несколько вопросов о положении в роте, то да сё, и внезапно заговорил о Марии. Лепешев не сразу понял, что речь о ней. Расслабленный чаем, молча слушал и кивал, лишь в какой-то момент поняв, о чём на самом деле идёт речь.

«Василий, — говорил комдив, — меня на несколько дней вызывают в штаб Армии, дивизию готовят к переброске на Южный фронт. Твоя Мария поедет со мной. Ты плюнь, — он поднялся, обошёл стол и, наклонившись к Лепешеву, обнял его за плечи, Лепешев почувствовал запах гнилых зубов. — Найдешь себе другую подстилку, капитан, вон их сколько, все твои, а мне Машка нравится, ласковая, наверное? — комдив коротко хохотнул. — Я ласковых люблю. Боевой подругой моей будет. Перечить мне и в голове не держи. Оторву голову, и пёрнуть не успеешь».

Лепешев впоследствии никак не мог вспомнить, что он ответил комдиву. Воспоминания начинались с того момента, что его, Лепешева, держали несколько человек, а комдив, скрючившись, зажимал обеими руками рот, пытаясь унять текущую между пальцами кровь, уже сворачивающуюся в сгустки. Китель комдива был тоже в крови и разодран, орден Красной Звезды, оторванный с куском ткани, валялся в тарелке с лимоном, а фуражка с чётким следом сапога лежала у ног Лепешева. Он почему-то очень ясно увидел и запомнил эту фуражку и след на ней.

Впереди был трибунал и, видимо, расстрел. Лепешев томился ожиданиями под арестом, история стала известна в полку. Кто-то из друзей кинул в окно записку, что комдив отбыл, а Мария осталась.

Но Лепешев избежал трибунала. Через два дня его под конвоем доставили в Особый отдел армии. Ещё два дня Лепешев провёл в нервическом ожидании. Он ни в чём не раскаивался, только очень хотелось жить, а сомнений в том, что его расстреляют, не было. Думал только, почему тянут… но на третий день его навестил приветливый подполковник Госбезопасности. Опять появился чай и подстаканник с Кремлем, от вида которого Лепешева затошнило. Подполковник, тепло улыбаясь, сказал, что он полностью в курсе произошедшего, и поведение капитана Лепешева, — голос подполковника налился металлом, — безусловно заслуживает трибунала. Однако, — продолжал подполковник, — имеются данные, позволяющие без

излишнего формализма рассматривать тяжкий проступок капитана. И почёрпнуты эти данные из рапорта сержанта медицинской службы Марии Носовой, направленного в Особый отдел.

Покончив со вступительной частью, особист расстегнул пуговицу кителя, откинулся на спинку стула и спокойно рассказал Лепешеву, что его дело, согласно указанию свыше, прекращено, а сам капитан Лепешев будет направлен в Особый отдел округа, в связи с готовящейся организацией новых подразделений НКВД в армии. Позже Лепешев узнал, что речь шла о СМЕРШ. А пока спросил только, почему избрали именно его, собственно говоря, преступника, ожидающего трибунала.

«Вы подходите нам более, чем кто-либо, — улыбнулся подполковник. — Мы ищем людей свежих, преданных родине и, — особист сделал акцент на последнем слове, — смелых. Есть и другие причины, о которых вам знать не следует. И вообще, отвыкайте задавать лишние вопросы. Решение уже принято. Мои поздравления, капитан».

Так круто изменилась судьба Лепешева. Он недолго прослужил в СМЕРШ округа. В сорок четвёртом был направлен на учёбу в Москву, потом служил в центральном аппарате МГБ и встретил Победу в звании полковника. Лепешев работал в Госбезопасности так же, как и воевал, всего лишь настраивая себя на каждую конкретную ситуацию, в которой оказывался. Он много думал, и сомнения, глубоко запрятанные, не были ему чужды; порой он сам пугался дефицита слепой веры, но считал, что этот пугающий дефицит с лихвой компенсируется образцовым выполнением обязанностей, возложенных на него родиной. В России всегда было принято искупать грех сомнения молитвами, Лепешев же, как убежденный атеист, искупал то, что считал грехом, путем образцового исполнения. В сорок восьмом его приметил Берия, приблизил к себе, давая поручения весьма деликатного свойства по советскому атомному проекту. А потом умер Сталин. Берию расстреляли, Лепешева разжаловали, судили, отобрали все военные и послевоенные награды, а вместо них дали восемь лет, из которых Лепешев отсидел семь, до самого расформирования ГУЛАГА. Вышел поражённым в правах, два раза подавал на реабилитацию, оба раза получил отказ. Подал в третий раз, напирая на участие в военных действиях, после чего был вызван куда надо, призван успокоиться и радоваться тому, что живёт в Москве и имеет разрешение работать завхозом в ПТУ. В восемьдесят первом Лепешев вышел на пенсию: положили ему сорок рублей. Родственников, кроме родной сестры, не было, разве что двое дядьев, немолодых уже, но пока в силе. Отыскал их Лепешев, позвонил, но они и разговаривать не стали с бывшим пехотным капитаном и бывшим же, генералом Госбезопасности. Оба сволочью обозвали, как сговорились. Лепешев плюнул и больше родственников искать не стал, — кому хочется от родни такое слышать. С сестрой жил душа в душу, пока не умерла, а потом один. Научился сам справляться по хозяйству и заботиться о себе. Выработал строгий распорядок своей новой жизни, а что до пережитого, до ям, в которые его бросала жизнь, до вершин, на которые она же возносила, — всё постепенно стало казаться сном. Одно время думал Лепешев мемуары написать: о себе, о людях великих, с которыми его сталкивала судьба, о событиях, вершителем которых или просто участником он был. Потом подумал хорошо и понял, что не стоит этого делать. — «Кто я? — рассуждал старик, — простой человек, выполнявший приказы. Если все такие, как я, начнут писать мемуары, полная неразбериха наступит. Да и кому это интересно, всё давно кануло, будто и не происходило никогда. А сейчас, вон сколько событий важных одновременно случается, только успевай телевизор смотреть».

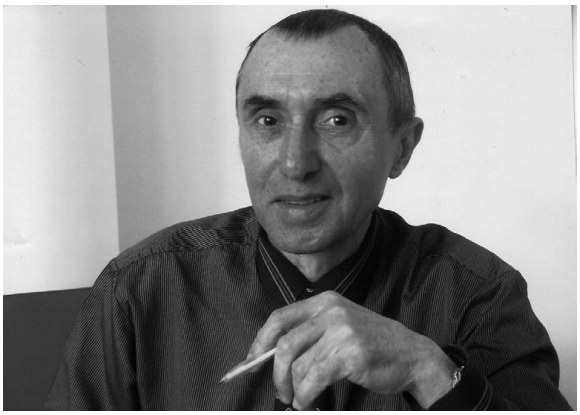
Окончательное же решение забыть о мемуарах старик принял после того, как на скамейке в парке нашёл кем-то забытую тоненькую черно- белую книжку с картинками. Книжка называлась вроде бы слышанным раньше словом "Комиксы". Лепешев забрал её домой и вечером внимательно изучил. Ничего интересного для себя, конечно, не нашёл, но сама книжка, где было много картинок и очень мало текста, вдруг до слёз, до боли напомнила ему всю прожитую жизнь. — «Вот если бы нашелся художник, — думал старик, — и согласился бы нарисовать мою жизнь такими вот картинками, может и стоило бы взяться за мемуары. Приказ отдан — приказ выполнен, как наглядно получилось бы. А мысли мои, — кому они интересны». После этого старик совершенно успокоился, выбросил листки, на которых уже начал писать крупным стариковским почерком, и больше о мемуарах не вспоминал. Выбросил в мусоропровод и книжку с комиксами, только сразу после этого стали сниться ему странные сны-картинки, почти такие же, как в выброшенной в мусоропровод книжке. Такие, да не совсем: не плоские, а объёмные, живые, и маячил за ними будто сам он, Лепешев, или тьмы и тьмы таких как он. Но они жили позади персонажей, хаотично перемещаясь… и все вместе казались туманом, дымкой, просто колебанием атмосферы. Зато впереди всегда были хорошо прорисованные, очень знакомые лица, начиная от лагерного вертухая Кандидыча, и кончая самим Лаврентием и всеми грозными его заместителями. Эти сны не пугали Лепешева, — чего бояться, все мертвы давно, он и при жизни-то их страха не испытывал, уважение только, даже к Кандидычу. Знал тот, как всяких-разных зеков в узде держать без рукоприкладства и без докладов начальству. Поэтому Лепешеву стало даже интересно, — он пытался угадать, кого увидит в очередном сне. Не думал и не гадал он, какое интересное влияние может оказать простая истрёпанная книжка, если её вовремя выбросить в мусоропровод.

А в остальном всё продолжалось как обычно. Мечта Лепешева почти сбылась, он умер, чуть не дожив до девяноста восьми, и увидел, что произошло в России после того, как мы познакомились с нашим героем. Нам неизвестно, что увидел Лепешев, потому что рано. Ещё почти десять лет должно пройти. Многое изменится. Но хватит ли нам сил жить в этом изменившемся мире? Ведь всё повторяется в России. А мы, нынешние, очень плохо умеем выполнять приказы.

Примечание: В основе некоторых эпизодов рассказа лежат события, описанные Николаем Никулиным в книге мемуаров “Воспоминания о войне”. Всех, сомневающихся в правдивости автора, отсылаю к этой книге.

Май 2010 — Сентябрь 2013

Анатолий Николин. Двое между льдинами. Эссе



Николин Анатолий Игнатьевич — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1946г. в Екатеринбурге. В возрасте шести лет вместе с родителями переехал на Украину. Окончил факультет русской филологии Донецкого государственного университета. Автор восьми книг стихов и прозы, выходивших в издательствах Киева, Донецка, Симферополя и Санкт-Петербурга. Публикации в журналах и альманахах «Брега Тавриды» и «Манускрипт» (Крым), «Ренессанс» (Киев), «Москва», «Белый ворон» (Екатеринбург), «Семь искусств» (Ганновер), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф). Весной 2015 года в издательстве Za-Za вышла девятая книга автора «Кодекс Тетис». Член Союза писателей Республики Крым. Член-коррес-пондент Крымской литературной академии. Живет в г. Мариуполе.

«Двое между льдинами» — не легкое чтение. Автор честно и очень сдержанно дает разбор литературных произведений двух разных авторов: как они видят войну, как они создают своих героев и антигероев, тех, кто поддерживал фашистов и тех, кто боролся с нацистами. Он показывает, как современный мир смотрит на тысячи погибших, и как легко меняется отношение к фашистам, развязавшим смертельную бойню.

Ирина Жураковская

ИСТОРИЯ О ДВУХ КОНЦАХ

Люди, не жившие в тоталитарном обществе, к любому общественному событию относятся по-разному. Любая житейская мелочь, не говоря уже о вещах серьезных, имеет как своих хулителей, так и адептов.

Можно спорить, насколько эффективен современный вариант демократии. Но то, что многообразие представлений не исключает мнения, разделяемого большинством — факт несомненный.

Интерес общественности ФРГ к теме Второй мировой войны, несмотря на ее более чем семидесятилетнюю историю, не иссякает до сих пор. Но это интерес выборочный и неполный. Как отмечала в своей статье «Пожива для моего МГ»: Современная немецкая литература о войне с Советским Союзом» Е. Степанова, *«в официальной политике памяти ФРГ…, СМИ и большей части научного сообщества национал-социалистический геноцид еврейского народа занимает с конца 1970-х годов более значимое место, чем Вторая мировая война и в частности война на уничтожение Советского Союза»[1].*

Холокост единодушно оценивается современными немцами как преступление против человечности, которому нет и не может быть прощения. А вот в отношении Русского похода, как следует из статьи Е. Степановой, подобного единодушия не наблюдается. Имеет место, конечно, общее мнение, что гитлеровская Германия совершила акт агрессии против

Советского Союза. Но на этом тривиальном признании покаяние и исчерпывается.

«Советские граждане, ставшие жертвами этой войны (по последним подсчетам, речь идет о 27 миллионах убитых, среди них 13 миллионов мирных жителей), не являются частью немецкой «культуры памяти» и политической культуры»[2].

Да, вермахт совершал преступления против советских военнопленных и гражданского населения. Но это были меры ответного воздействия. Война есть война, и русские по отношению к немцам вели себя отнюдь не лучшим образом. При неправильной жизни, утверждает философ Адорно, невозможно жить правильно. История Второй мировой войны превратилась в палку о двух концах: одним она бьет виноватых, а другим концом наказывает правых.

Как указывает Е. Степанова, едва ли не единственным писателем, открыто и прямо поставившим вопрос о виновности немцев, был Э.-М. Ремарк.

«Роман Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать» — уникальное явление в немецкой послевоенной литературе по ясности авторской позиции в отношении вопроса об ответственности за развязывание войны и осознании вины за совершенные германской армией преступления на Восточном фронте». [3].

Волна оправданий немецкого солдата и — шире — всего немецкого наро-да — не только не утихает, но, напротив, ширится.

Не так давно автор с интересом следил за бурной дискуссией, развернувшейся в Сети. Полемика велась по поводу шокирующей реплики русско-берлинской писательницы А. Шнайдер-Стремяковой.

Родом она из семьи русских немцев, проживавших на Алтае. Ссылаясь на друзей покойного отца, сидевших с ним в Гулаге (отец там и умер), А. Шнайдер-Стремякова утверждает, что начальниками лагерей для советских немцев в СССР были евреи. И предложила «истребление» советских немцев в сталинских лагерях признать холокостом немецкого народа.

Нынешнему поколению немцев как будто нравится изображать своих отцов мучениками и страстотерпцами. Таким способом они избавляются от снедавшего их десятилетиями (и навязанного извне) комплекса национальной неполноценности.

Но, может быть, это вовсе не оправдание нацизма, а неподдельное чувство обиды и горечи за пережитые отцами и матерями испытания?

Время идет, и что-то с его течением в застарелых стереотипах начинает медленно и незаметно меняться. Как заметила писательница Е. Минкина: *«Все, что касается Германии — вызывает много вопросов, иногда очень непростых и болезненных»[4]*

ПЕРЕКОСЫ БИОГРАФИИ

В 2002 году в ФРГ из печати вышел роман широко известного писателя, лауреата Нобелевской премии Г. Грасса «Траектория краба». Роман ни фашистский, ни антифашистский, а весьма неопределенный.

В молодости будущий писатель несколько месяцев провел на Восточном фронте. И воевал не как-нибудь, а в элитной танковой дивизии СС. Это неприятное обстоятельство серьезно осложнило биографию будущего писателя. За службу в войсках СС Г. Грасса навеки лишили права посещать государство Израиль — под любым предлогом и по любому поводу. Много

раз после войны ему приходилось объяснять и доказывать, что военных преступлений он не совершал — был такой же солдат, как все. Но клеймо военного преступника осталось на нем навсегда. Хотя в душе (вероятно, так и было на самом деле) виноватым в преступлениях нацизма он себя не считал…[5]

Личная раздвоенность «невиновного виновного» Г. Грасса определила его отношение к теме войне и ответственности немцев.

В качестве сюжетного стержня в романе «Траектория краба» использована история потопления русской подводной лодкой под командованием капитана третьего ранга А. Маринеско одного из лучших пассажирских кораблей Рейха, парохода «Вильгельм Густлофф». Это был самый дорогой и совершенный морской лайнер в мире. Писатель не скрывает своего восхищения, описывая его.

«Вильгельм Густлофф» был заложен на гамбургской верфи «Блом унд Фосс» в январе 1936г. Спуск лайнера на воду состоялся в присутствии Гитлера 5 мая 1937 года. Сметная стоимость подряда 25 миллионов рейхсмарок — огромные деньги! Водоизмещение корабля 24 484 тонны, длина — 208 метров, осадка — 6-7 метров. Максимальная скорость — 15, 5 узла. Экипаж 417 чел., а проектное количество пассажиров — 1463 человек».

Корабль — великолепная демонстрация экономической мощи Рейха.

Изумительная по красоте белоснежная громадина была построена по заказу Германского трудового фронта, — был такой весьма удачный заменитель профсоюзов в гитлеровской Германии. А, точнее, его дочерней организации «Сила через радость».

Ваш автор не мог сдержать любопытства. Отыскал в Сети коллекцию фотографий «Вильгельма Густлоффа», — его красотой и величием можно и сегодня любоваться очень долго. Даже теперь внешний вид и внутреннее убранство корабля поражают воображение.

Мы многое знаем о националистической сущности германского фашизма. Но плохо осведомлены о его социалистической составляющей. Она впечатляет не меньше, чем сам пароход. Но говорить об этом вслух и восхищаться не принято — дурной тон.

Любопытствующий автор обратил внимание на внешность запечатленных на всех этих фотографиях людей — у них ухоженный вид, они красиво одеты. Спортивны и моложавы. Веселы и беззаботны. Предвоенные фотографии наших соотечественников в дрянной одежонке и со следами изможденья на лице не впечатляют. Или впечатляют, но в обратную сторону…

Фотографии «отцов и матерей» в предвоенной Германии были вторым по силе потрясением, испытанным автором. Первым стали документальные фильмы певицы «триумфа воли», кинорежиссера Лени Рифеншталь. В кадрах старой, но хорошо сохранившейся — опять немецкое техническое превосходство! — кинохроники видишь прекрасные старинные особняки древнего Нюрнберга. Чистые, нарядные улицы. Довольных, жизнерадостных людей… Страна дышит оптимизмом, благополучием и довольством.

Созерцаешь с завистью приметы чужого комфорта и думаешь: а ведь можно понять немцев, рукоплескавших перед войной Гитлеру. В кратчайший

исторический срок он совершил невозможное: сделал блага цивилизации доступными каждому гражданину Рейха!

По замыслу руководителя Германского трудового фронта Роберта Лея, пароход «Вильгельм Густлофф» должен был стать символом немецкого бесклассового общества. Единства всех немцев, независимо от их социального положения. В знак общественного согласия каюты на пароходе были оборудованы по единому образцу. Исключение было сделано лишь для кают Гитлера и Лея — они отделывались по индивидуальному проекту. В огромной столовой пассажиры питались сообща: за одним столом могли оказаться крупный предприниматель, партийный деятель и простой рабочий. Да и вся затея с «Густлоффом» была рассчитана на поддержку простых людей. Рабочие, ничего в своей жизни не видевшие, кроме тяжелой работы и дома, могли по льготному тарифу отправиться в круиз по любому маршруту — от Средиземного моря до норвежских фьордов.

Вот как рассуждает на эту тему героиня романа Г. Грасса Тулла Покрифке.

«Нынче-то все не так, как прежде. Папа мой был в столярной мастерской всего лишь подсобным рабочим, он в те поры ни во что уж не верил, а вот СЧР («Сила через радость») все перевернула, потому что он с мамой впервые в жизни совершил путешествие».

«Мама никак опомниться не могла, потому что в столовой все отпускники вместе сидели, простые рабочие вроде папы, и чиновники, и шишки партийные. Хорошо там было, почти как у нас в ГДР, даже, видать, почище…»

Даже беглый осмотр круизного лайнера производит на путешественников неизгладимое впечатление.

«Я увидел просторную, освобожденную от всего ненужного солнечную палубу, увидел душевые и санузлы…. Мы смогли полюбоваться безупречно отлакированными переборками нижней прогулочной палубы и отделанными под орех кают-компаниями. С удивлением разглядывали мы Актовый зал, Фольклорный зал и Немецкий зал… Украшением интерьеров служили живописные пейзажи, исполненные в манере старых мастеров».

Сын главного героя романа Пауля и внук незабвенной Туллы Конрад — из поколения двадцатилетних — основательно взялся за изучение истории создания и гибели «Вильгельма Густлоффа».

По окончании своих штудий этот юноша середины шестидесятых пришел в неописуемое восхищение. Он сравнивал стоимость круизов СЧР со стоимостью нынешних туристических круизов:

«Вот где был истинный социализм, — восторгался он. — У коммунистов ГДР так и не вышло устроить нечто подобное. Они даже не сумели толком достроить огромный комплекс СЧР на острове Рюген на 20 тысяч отпускников».

Описания в романе красот и технических мощностей новенького лайнера напоминают перечень произведений искусства в Древнем Риме накануне вторжения варваров. И их неизбежную, неотвратимую гибель…

Наряду с восторгами по поводу лайнера в романе подробно описана жизнь и судьба главного виновника гибели «Густлоффа», советского капитана-подводника А. Маринеско. Две эти темы идут в романе параллельным курсом, чтобы в конце пересечься вопреки общепринятым представлениям о двух прямых…

Подводник Маринеско был скорее неудачливый, чем счастливый. Особых подвигов за ним не числилось. Так, мелкие достижения. За два года до уничтожения «Густлоффа» он потопил немецкое транспортное судно водоизмещением 7 тыс. тонн. Потом оказалось, что в рапорте начальству командир приврал: водоизмещение было всего лишь 1 800 тонн… Затем отправил на дно безобидный океанский лайнер «Зигфрид». Да и то потопил его неумело: три выпущенные торпеды прошли мимо цели. Командир приказал всплыть и уничтожить непотопляемый транспорт огнем из носового орудия. Этот прием, не забывает отметить Г. Грасс, Маринеско позаимствовал у изобретательных немецких подводников, применявших его в морских сражениях в Атлантике.

Деликатно и ненавязчиво при каждом удобном случае романист подчеркивает техническое и военное превосходство немцев. Так, подводная лодка С-13 «Сталинец», потопившая «Густлофф», вовсе, оказывается, не советская, а — немецкая. Ее проект разработали немецкие и голландские специалисты, когда по Версальскому договору Германия не имела права создавать подводный флот. И в Советский Союз техническая документация попала перед войной в рамках двустороннего германо-советского сотрудничества.

… Так вот — о Маринеско.

Он — неважный воин и аморальный человек. В молодости — одесский босяк. Люмпен, как и подобает настоящему варвару. Характером необуздан, неадекватен и непредсказуем. Человек с низменными потребностями и привычками: запойный пьяница, картежник и бабник. Из-за этих качеств он не раз подвергался наказанию со стороны флотского начальства. Накануне потопления «Густлоффа» Маринеско не явился на подлодку, так как загулял на берегу. Начальник политотдела дивизиона подводных лодок за этот его проступок получил десять лет лагерей за упущения в воспитательной работе. Самому Маринеско грозило разжалование и военный трибунал. Тюрьма или расстрел были отсрочены до окончания боевого дежурства.

И только «Атака века», как прозвали военные историки действия Маринеско в том походе, перевернула ситуацию с ног на голову. За успешное потопление вражеского транспорта 30 января 1945 года он был осыпан милостями и представлен к званию Герой Советского Союза. Недавние грехи капитана были забыты и прощены…

Любопытно, что советские источники сообщают о Маринеско такую же неприглядную правду, что и Г. Грасс. Но в наших глазах, глазах русских читателей, эта неоднозначная личность приобрела странное, необъяснимое обаяние. Мы по-настоящему им очарованы и прощаем ему все его «недостатки». Учимся у него, как говорили в советское время, любить Родину и по-настоящему «бить врага». В то время как у Г. Грасса Маринеско — человек, заряженный исключительно отрицательной энергией. Существо неприятное и даже отвратительное…

При чтении романа помимо воли срабатывает чувство, которое следовало бы назвать «эффектом обобщения». В художественном произведении любая житейская мелочь наполняется несвойственной ей глубиной. Низкий, отвратительный Маринеско уложил на дно Балтийского моря символ немецкого благополучия, технического и эстетического совершенства. Это

была ситуация Рима, павшего от рук безжалостных варваров. Противостояние прогресса и регресса, дикости и цивилизованности.

Да-да, потому что «Вильгельм Густлофф» перевозил на всех своих шести огромных палубах вовсе не военных, а мирных, гражданских людей. Это были беженцы из Восточной Пруссии.

Когда Красная Армия с боями вошла на территорию Рейха, для спасения гражданского населения немецким командованием была разработана операция с кодовым названием «Ганнибал».

Надо отдать должное Г. Грассу: фактическую сторону событий он описывает правдиво и скрупулезно. Старается быть взвешенным в моральных оценках — по крайней мере, в видимой их части.

Но с моралью все же оказывается сложнее…

Объективно Маринеско — герой, сражавшийся с мировым злом. Объективность Добра совпадает с нашим личным, субъективным представлением о справедливости.

Но в глазах миллионов немцев объективность добра в лице Маринеско приобретает отчетливо выраженные очертания Зла; Зла субъективного, персонального. Немцу невозможно смириться с потерей родных и близких, ведь на пароходе «Густлофф», перевозившем беженцев, погибло свыше 10 тыс. пассажиров!

Так происходит раздвоение личности. Грасс чувствует противоречивость своей позиции, и с трудом пытается сохранить равновесие.

После войны организовывались ежегодные встречи оставшихся в живых ветеранов Потопления.

«Для них война никогда не кончалась, — с осуждением отмечает главный герой романа Пауль. — Для них русские оставались Иванами, а три выпущенные торпеды — орудиями убийства. А для Владимира Курочкина, боцмана советской подводной лодки, отправившего в цель эти три торпеды, потопленный корабль был до отказа набит фашистами, напавшими на его родину и оставлявшими за собою при отступлении выжженную землю».

Сердце немца не может смириться с правдой, которую нашептывает ему разум.

Из рассказов немецких ветеранов, разыскавших его после войны, боцман узнает, что «после торпедной атаки погибли более четырех тысяч детей, которые утонули, замерзли или были увлечены водоворотом от пошедшего на дно судна».

Заставляя страдать от сознания своей вины престарелого русского боцмана, автор выносит «немецкий приговор» всем русским.

Жалость к своим перевешивает понимание справедливости неизбежного возмездия.

Лучшие по эмоциональной насыщенности фрагменты романа Г. Грасса посвящены драматическому исходу немцев из Восточной Пруссии. Едва Советская Армия пересекла границу Рейха, как тут же началось…

Страницы, повествующие о бесчеловечности русских, написаны слезами и кровью.

После войны о страданиях прусских беженцев говорить было не принято. Ни в «справедливой» ГДР, ни в «несправедливой» ФРГ. Тема жестокости русских солдат и трагедии мирного населения была всеобщим табу.

«Важнее (их страданий. — А.Н.) казалось признание собственной огромной вины и горячее покаяние…»

И снова льются слова, похожие на сдавленный крик.

«… скольких женщин изнасиловали (по некоторым подсчетам, приблизительно 2 млн. — А.Н.), а потом убили или пригвоздили к воротам сараев русские солдаты. «Тридцатьчетверки» нагоняли беженцев, давили их гусеницами. Застреленные дети валялись в палисадниках и придорожных канавах. Были ликвидированы даже французские военнопленные, занятые на сельскохозяйственных работах…»

Илья Эренбург со страниц массовых советских изданий призывал *«… убивать, насиловать, грабить, мстить фашистскому зверю за опустошенную родину».*

«Я не могу описать этого. Никто не может»…

Часть беженцев сумела достигнуть портовых городов Пиллау и Данциг, чтобы оттуда морским путем перебраться на запад.

Мать героя романа Тулла Покрифке — героя, от имени которого ведется повествование и который до поры до времени прячется в тени грандиозных событий, — оказывается на борту перегруженного парохода «Вильгельм Густлофф».

Кто же он, этот раздваивающийся и мечущийся в поисках правды герой?

Зовут его Пауль, и это единственная бесспорная достоверность. Его мать в молодости была мужелюбивой женщиной, и от кого она зачала ребенка, она и сама не знает. Он — сын множества отцов. Великого множества немцев, приносивших страдания другим и страдавших точно так же.

Мать Пауля пережила Потопление, и эта незаживающая рана осталась у нее на всю жизнь. Она поверяла теперь свою жизнь одной-единственной зимней ночью в ледяных водах Балтики.

«До сих пор снится, как в последний момент над водою раздался крик. И детки снятся между льдинами…»

Его бабушка и дед — коренные жители Восточной Пруссии — репатриированы и умерли в изгнании. Без денег, без жилья, — без привычного достатка и образа жизни…

И единственная подруга матери Йенни — балерина с искалеченной во время бомбежки ногой — и судьбой…

Если русские вершили суд и расправу на земле, то их англо-американские союзники помогали им с воздуха. Грасс (как бы вскользь) сообщает, что англо-американская авиация вместо того, чтобы бомбить военные объекты в порту Данциг, подвергла нещадным бомбардировкам тыловой город и порт Готенхафен.

Всюду, куда ни глянешь, следы страдания и смерти. Искалеченное настоящее, прошлое и уродливое будущее…

Пауль родился в первые минуты после катастрофы. С первых секунд жизни он и жертва, и искупление. Преступление и наказание в одном лице.

После того, как его беременную, бултыхавшуюся между льдинами мать выловили вместе с немногими уцелевшими после атаки советской подводной лодки пассажирами матросы миноносца «Лёв»…

«Мое рождение совпало с гибелью корабля…»

Знак катастрофы, как расплата за чужие грехи, родимым пятном лежит на судьбе Пауля. Его жизнь не задалась и не сложилась. После рождения *«… я продолжал катиться под уклон…»*

Врожденная раздвоенность лишила героя духовной цельности, а жизнь — так необходимой человеку осмысленности. Он, мелкий журналист, сотрудничает с правой прессой, они как будто осуждают Потопление и призывают к мщению. Разочаровавшись в реваншизме, он уходит к левым, сочувствующим «жертвам фашизма». Но и там Пауль не находит себя. Живет сначала в ГДР, затем перебегает в Западный Берлин. Жена его бросила, сын Конрад не понимает (или он не понимает сына, тут уже не разберешь). Приезжает на съезд ветеранов Потопления, но чувствует себя среди них чужим — фальшивое братство одних и карьеризм, стремление сделать имя на памяти жертв у других…

И, главное, Пауль не испытывает сочувствия и сострадания к жертвам трагедии.

«… получается, что все перекосы моей биографии объясняются исключительно гибелью корабля…, да и вообще живу я лишь по чистой случайности».

Пауль такая же жертва русских торпед, как и те, кто утонул в водах Балтики. Даром что он живой. На самом деле он такой же бесчувственный мертвец как и они, только ходячий и зрячий. Чувства в нем просыпаются, чтобы сделать очередное признание в собственной ущербности.

«Временами мне ненавистно то, что я остался в живых…»

Он не скрывает, что ненавидит мать за то, что она его родила.

И еще он ненавидит целеустремленных людей, каким, по его мнению, растет его сын Конрад.

«Мне чужд, у меня вызывает недоумение любой человек, который упорно преследует одну-единственную цель, как, например, мой единственный сын».

Целеустремленным человеком, бесспорно, был Адольф Гитлер. И глава Германского трудового фронта Роберт Лей, создатель СЧР и красавца-корабля «Вильгельм Густлофф». Ими были Сталин и Маринеско. И самодовольный биограф «Густлоффа» Хайнц Шен, и старательный боцман подводной лодки С-13, выпускавший свои торпеды… И многие другие с обеих враждующих сторон.

Целеустремленность — первоисточник, психологическая составляющая тоталитаризма, единственного виновника разыгравшейся трагедии. Тоталитаризма всеобщего, прячущегося под разными личинами.

« … МОЙ ПОСЛЕДНИЙ РОМАН»

Зимой 2002 г. живущий в Мюнхене русский писатель Б.Хазанов в письме своему другу, писателю М. Харитонову сообщает:

«Я… стал заниматься более объемистой работой — может быть, романом»[6].

В письме от 26 января 2002 г. он несколько расширительно отзывается о будущем произведении:

«Я взялся что-то царапать, само собой, все через пень-колоду, и опять, как в разные прежние времена, мне начинает казаться, что избранное время действия было самым важным временем не только в моей собственной жизни, но и в жизни страны».

В письме от 7 июля он уведомляет своего адресата, что роману нашлось наконец-то название: «К северу от будущего», — цитата из Пауля Целана. А несколько ранее, в апрельском письме, извещает его, что роман имеет отношение к потоплению советской подводной лодкой немецкого транспортного судна «Вильгельм Густлофф».

Очевидно, немецкое объяснение событий показалось автору недостаточным. Или слишком немецким. А вместе с ним и трактовка последствий Войны и Победы —

«…избранное время действия было самым важным… в жизни страны».

Итак, замысел начатого романа относится к 2002 году — году выхода в свет романа Г. Грасса «Траектория краба». Окончание своей работы Б. Хазанов датирует 2003 годом, хотя в декабрьском 2002 г. письме М. Харитонову он признается:

«Я закончил свой роман. В Париже мне казалось, что я поставил последнюю точку, но потом пришлось все заново прочесывать…»

«Может быть, это вообще мой последний роман. У меня всякий раз, когда я сочинял что-то длинное, было убеждение, что я подвожу итог; всякий роман есть итог»…

Готовясь к написанию, он несколько раз просмотрел немецкий документальный фильм «Das Boot» («Лодка»). Листал одноименный роман, по которому этот фильм был сделан, «читал разные материалы, рассматривал альбомы и т.д.».

«Познакомился я и с другим романом, правда, вышедшим уже после того, как мое сочинение было готово — «ImKrebsgang» нобелевского лауреата и довольно вульгарного писателя Гюнтера Грасса, где описана вся история корабля «Густлофф»…»

Несмотря на тщательный подбор фактического материала, противоречий и разночтений писателю избежать не удалось. Сложившийся в голове замысел требовал некоторого позволительного допущения ошибок.

Главным героем романа (если вообще можно говорить о таковом) выступает советский офицер-подводник Юрий Иванов. Он служил на той самой подводной лодке С-13 под командованием А. Маринеско, что в ночь на 30 января 1945 г. вышла на боевое дежурство к берегам Восточной Пруссии.

Огни перегруженного немецкого транспорта обнаружил (по Грассу) стоявший на мостике старший помощник капитана. А у Бориса Хазанова это был то второй помощник, то простой вахтенный офицер, он же — Юрий Иванов.

«Густлофф» у Хазанова вышел в море из немецкой гавани Пиллау, в то время как эвакуация гражданского населения из Восточной Пруссии согласно плану операции «Ганнибал», осуществлялась — по Грассу — из портов Данциг и Готенхафен.

Кстати сказать, подобной масштабной эвакуации гражданского населения, насколько известно автору, советское командование не проводило. Наши спешно вывозили на Восток оборудование, заводы и обслуживающий персонал. Воюющей стране нужны были работники, а не просто люди… Остальные бросали дома и имущество и выбирались из опасной зоны как могли, рассчитывая лишь на себя.

Подобная ситуация сложилась у родителей вашего автора. Отцу было поручено организовать вывоз в тыл заводского оборудования и технического персонала. Брать с собой на Восток семьи категорически воспрещалось. Мама с малолетним сыном, моим старшим братом, осталась одна в оккупированном городе. Притом, что отец был членом партии и известным хозяйственным руководителем…

По замыслу автора, Юрий Иванов должен был пострадать в результате атаки подводной лодки на пароход «Густлофф». Когда лодка С-13 выпустила по немецкому транспорту три торпеды, один из кораблей сопровождения, миноносец «Лёв», забросал подводную лодку глубинными бомбами. Поврежденная субмарина легла на дно рядом с поверженным ею немецким транспортом.

На самом деле никаких бомбометаний не было. Стоял сильный мороз с ветром, градусов восемнадцать (у Б. Хазанова — минус двадцать); «Густлофф» и корабли сопровождения обледенели, и боевая техника отказывалась повиноваться. Миноносец «Лёв» не смог сбросить ни одной бомбы, и С-13 благополучно ушла от преследования.

Нашего героя спас от смерти некто неведомый: «вахтенный офицер Юрий Иванов не помнил, как был выловлен из ледяной воды».

Так зеркально повторилась ситуация с героями Гюнтера Грасса — выловленной из зимнего моря Туллой Покрифке и ее будущим сыном Паулем.

Кто же такой этот счастливо избежавший смерти, но на всю жизнь оставшийся калекой Юрий Иванов? Какую антитезу грассовскому Паулю он представляет?

С первого взгляда становится ясно: Юрий в отличие от его раздвоенного и мятущегося немецкого собрата — натура цельная, не знающая сомнений и колебаний. Таково, во всяком случае, внешнее впечатление. Он не говорит, а цедит слова, «глядя поверх толпы». Взгляд его из-под старомодного пенсне холоден и высокомерен. Повидавший войну, он свысока относится к своим юным, не знающим жизни товарищам по филологическому факультету университета. Хотя по возрасту Юрий ушел от них недалеко — ему двадцать два года. И выглядит он не так, как все. Элегантен, в темно-синем, в полоску, костюме с галстуком. Носит черное, перешитое из морской шинели пальто. Опирается на толстую трость с набалдашником. Важно курит, «сверкая стеклышками и положив на трость негнущуюся ногу». Сидит, «вальяжно развалившись на скамейке»… Словом, молодой послевоенный денди, презирающий всех и вся.

Как все высокомерные люди, Иванов — консерватор. Это человек, не ведающий сомнений и не испытывающий любви к переменам. Он любит

официозных советских поэтов — Маяковского, Исаковского и Симонова. Стихов своего приятеля по факультету Марика Пожарского не понимает, просит уточнить некоторые слова и самый смысл стихотворения.

«После Блока, — сказал Марик, — поэзия кончилась».
«Как это кончилась?» (реплика-вопрос Ю.Иванова).
«А вот так. Один Исаковский остался».
«А что, — сказал Юра, — поэт как поэт…»
И вообще — «стихи, если уж начистоту, — чушь собачья».

Юрий — член бюро комитета комсомола факультета. В правильности марксизма-ленинизма, в отличие от беспокойного, подвергающего все сомнению Марика, он не сомневается. Юрий — заурядный ортодокс, ничего не наблюдается в нем оригинального и свежего. Его не сравнишь с Паулем, для которого не существует ничего абсолютного и непререкаемого. Похожесть, невыделяемость из общей массы для Юрия — эталон добродетели. Он и вести себя в повседневной жизни пытается, как все. Ущербным людям свойственна горячая любовь к тому, что им недоступно — к общепризнанному…

Юрий — инвалид. После ранения во время гибели подлодки он лишился ноги. И по этой банальной причине ему недоступны элементарные человеческие радости. Однако всеми силами души и тела он имитирует повседневное счастье. По вечерам ходит в университет на танцы, старательно выполняет, насколько ему позволяет протез, положенные танцевальные па. Привязывается к девушке Ире, студентке их факультета, которая не то из жалости, не то по недостатку мужчин, опекает инвалида-сокурсника. Она его учит танцевать, оказывает ему всевозможные знаки внимания, а он старается выглядеть влюбленным, пытается овладеть Ирой, но терпит неудачу.

В один из вечеров Юрий оказывается в сомнительной компании на подмосковной даче, — здесь пьют вино и развлекаются с девушками.

Но и здесь Юрия ожидает неудача. Его избивают незнакомые, бандитского вида люди и вышвыривают его, когда он теряет сознание, на улицу…

Жизнь Юрию не дается. Ни в каком виде. Она его вычеркнула из списков живых, оставив мучиться своей неполноценностью.

Дело не в инвалидности Юрия, — жизнь знает множество примеров жизнелюбия, оптимизма и успешности искалеченных, физически неполноценных людей. В случае с Юрием Ивановым инвалидность — метафора внутренней, сущностной ущербности. Ее подлинная причина — гибель в морозную январскую ночь 1945 года злосчастного корабля «Густлофф»…

Б. Хазанов приводит цифру погибших на транспорте: 8 800 людей, — беспомощных женщин, детей и стариков. Из них более 4 тысяч — без малого половина! — маленькие дети.

Когда эти цифры становятся известны выпускавшему торпеды по «Густлоффу» советскому подводнику В. Курочкину, «эти дети долгое время снились боцману в ночных кошмарах».

Для большей убедительности (и большей аморальности содеянного) Б. Хазанов приписывает «Густлоффу» санитарный флаг с крестом на

пароходной трубе; это был знак, что на корабле находятся раненые и гражданские лица, и одновременно призыв к пощаде.

В действительности — Г. Грасс и тут беспристрастен — на судне помимо мирных граждан находились немецкие зенитчики и курсанты-подводники, и флага с крестом на трубе парохода не было. Корабль шел, как военное судно…

Юрий Иванов всех этих подробностей, конечно, знать не мог. Его находит после войны выжившая, уцелевшая в ту страшную ночь бывшая пассажирка «Густлоффа» Аннелизе фон Ирш.

Трудно сказать, что заставило Аннелизе все послевоенные годы искать кого-нибудь из оставшихся в живых членов экипажа советской подводной лодки. Она пытается завязать с Юрием беседу, что-то пробует у него выяснить, о чем-то его спросить. Но диалога у них не получается: Аннелизе не в состоянии из-за охватившего ее волнения сформулировать свой вопрос, он дамокловым мечом висит над всей ее жизнью: за что? За что наказана она и тысячи ей подобных, оказавшихся на корабле. Миллионы немцев, растерзанных советскими солдатами, как это было в первом, взятом русскими немецком городке Неммерсдорф. Только за то, что они голосовали в свое время за Гитлера? Но фюрер обеспечил немцам райскую жизнь, разве не принято за это во всем мире любить вождей? Неужели кто-нибудь принимает в расчет чужие интересы, чужие судьбы? Возьмите любую страну и любой народ — везде люди ведут себя точно так же…

Она никого не убивала и не казнила. Не расстреливала и не морила голодом; она — нейтральная сторона, насколько могут быть нейтральны люди во время войны. Поэтому так смутился и набычился при встрече с нею Юрий Иванов, — не захотел беседовать, потому что возразить ему было нечего. Угар битвы, сражения, когда безразлично, кого пощадить, а кого предать смерти, давно прошел, наступило отрезвление. И все время ему мерещится злополучная январская ночь 1945 года. Даже после избиения бандитами на подмосковной даче воспоминания накрывают его тяжелой волной.

«В полутьме Юрий Иванов прижимал к губам и носу окровавленный платок, осколки пенсне блестели на песке. Тупо, тяжело проворачивались мысли, плескалась вода, его качало, он стоял, держа перед глазами тяжелый морской бинокль».

Вот он в военном госпитале, — у него обострились боли в нездоровой культе. И снова его посещают воспоминания о той ночи.

«Потух вечерний свет, улеглась суета, сделан укол… В коридоре шорох, плеск воды; сейчас начнется качка — которую ночь одно и то же».

Вот он с Ирой поздно вечером оказывается на станции метро. Они возвращались домой с очередного вечера танцев в студенческом клубе. Поезда уже не ходят — лишь последний поезд где-то далеко, уходя в депо, гудит так, что подрагивает пол под ногами.

«Пол слегка ходил под его ногами; штормило.

Голос из темноты сказал: «Приказ есть приказ».

Мало ли что. Пошел ты со своим приказом, с меня хватит. Хватит! — чуть было не крикнул он.

Ответа он не мог различить, ветер рвался из туннеля, колючие льдинки бьют в лицо, вахтенный в меховом комбинезоне, на площадке командной башни, рядом с антенной и трубой перископа, медленно поворачивает голову с биноклем и видит сквозь снежную мглу, прямо по носу, как светлячки, две, потом четыре точки. Он нагнулся к переговорной трубе,

тотчас на мостик поднялся командир, точки превратились в огни, командир вполголоса отдавал вниз команды…»

«Не мое дело вас осуждать, — сказала ему напоследок Аннелизе. — Но если бы вы знали, что там происходило… Все проходы, лестницы, все забито, люди топчут детей, стариков… Меня втащили в лодку, ночь, снег, огромные волны, кругом крики тонущих, шлюпка переполнена, если бы вы только знали...»

«Знаю без вас, — сказал он».

У всех этих людей, не успевших уехать на запад, опоздавших на последний транспорт, и у тех, кто уцелел во время Потопления, остался пожизненный, как глубокий шрам, страх перед русскими. И ненависть к победителям, несмотря на признание своей «исторической вины». Это чувство неистребимо, оно исходит изнутри, — кровью, памятью, генами, — и не устраняется никаким увещеванием.

ТОРПЕДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Прошло больше двадцати лет после войны. Ваш автор, совсем молодой человек, служит в армии в послевоенной Германии. Казалось, все ужасное с обеих сторон за эти годы забыто и прощено.

Но — только кажется…

Летнее воскресное утро, я нахожусь в увольнении. Впереди у меня целый свободный день!

Воинская часть, где я служил, стояла неподалеку от городка Науэн. Я не спеша гуляю по его чистеньким улицам, по старинной городской площади с остроглавой Ратушей и средневековым фонтаном.

По периметру фонтана в скорбных позах застыли мраморные фигурки Двенадцати апостолов, из-под них бьют сверкающие струи воды, — символ живительности христианского вероучения…

У фонтана, несмотря на жаркий день, свежо и прохладно. Вокруг играют дети, и старинные часы на Ратуше мерно отбивают четверти…

Я сижу в гаштетте, за столом с белой крахмальной скатертью и с наслаждением потягиваю холодное свежее пиво. Хорошее пиво у немцев — чистое, светлое…

К вечеру — городок в течение дня исхожен мною вдоль и поперек — оказываюсь на окраине.

Это типичная окраина маленького немецкого городка: аккуратные сельские одноэтажные домики, уютные палисаднички с непременными тюльпанами, основательные хозяйственные постройки…

От жары и выпитого пива меня томит жажда.

Я окликнул хозяйку с лукошком, посыпавшую корм курам:

«Битте, фройляйн, — вассер…»

Во дворе визжала пилорама. Высокий худой немец в егерской кепке распиливал толстые доски. Завидев меня, он выпрямился и замер. Диск пилы позванивал, вращаясь вхолостую, а немец словно окаменел, не сводя с меня выпученных глаз.

Надо было видеть его лицо! Глаза его выкатились, нижняя челюсть мелко дрожала, как у парализованного. А на лице застыло выражение ужаса.

Я опешил. Немец, судя по всему, пережил ужасы войны и, возможно, русский плен. Иначе чем объяснить его паническую реакцию?

В Германии, когда я приехал в эту страну, я был готов ко всему: к проявлениям ненависти и агрессии. К холодному равнодушию и презрительному — «арийскому» — неприятию русских. К отторжению их ментальному и цивилизационному… Но ужас!

Нет, такого мне видеть не доводилось.

Страх передо мной, русским солдатом, незнакомого, пожилого немца, — чувство беспомощное и беззащитное, — заставил меня испытать угрызения совести. Как же так: я, гуманный, благовоспитанный юноша, внушаю не врагу, а обычному пожилому человеку неприкрытый страх. Как будто я, кого семья и школа воспитывали в духе любви и уважения к людям независимо от их национальности, — кровожадный палач. Или садист-надзиратель…

Мне было неловко и стыдно. Кажется, лучше бы этот немец меня оскорбил или ударил.

В тот далекий летний день я пережил, испытал на своей шкуре чувства немцев к миллионам русских солдат, ворвавшимся в их страну в 1945 году. Всех убитых, ограбленных, изнасилованных и распятых во имя праведного мщения. Мщения, оправдывающего по общепринятому мнению любые злодеяния…

В этот день в городке Науэн я заболел недугом, который Б. Хазанов называет «болезнью расколотого зеркала». Потерей цельности ума, характера и души в том, что касается оценки событий и последствий прошедшей войны.

Стендаль утверждает, что революционный энтузиазм народа не может длиться более одного столетия (a propos одна из причин крушения Советского Союза). Он, энтузиазм, иссякает, гаснет со временем, как костер без хвороста. Ему на смену приходят усталость и безразличие к некогда «священным» идеалам.

Точно так же обстоит дело и с войнами и их последствиями.

История любой страны и ее народа обладает даром всепрощения: невозможно ненавидеть то, что ты сам не пережил. И что пережил ведь тоже нельзя ненавидеть вечно. Не испытывает вражды к испортившим ему жизнь русским вечный неудачник Пауль; не чувствует ненависти к немцам и Юрий Иванов. Они оба — жертвы, а не герои, пораженцы, а не победители.

«Разгромлены оба противника; проиграли оба».

Победителей назначает история. Она ставит им памятники, она же разрушает кумиры. Их ценность относительна и переменчива, как и сама жизнь.

С фактом поражения Германии в Великой войне все хрестоматийно ясно и понятно еще со школьной скамьи. Неправедная, человеконенавистническая система национал-социализма рано или поздно должна была быть повержена.

А победители? Те, кто одолел в тяжких испытаниях «коричневую чуму», — кем они оказались по истечении времени?

Роман Б. Хазанова дает на этот вопрос ответ парадоксальный и на первый взгляд нелогичный. Победители — такие же жертвы войны, как и те, кто потерпел сокрушительное поражение. Советская *«победа обернулась поражением, досталась, как ни странно это звучит, ценой поражения самого страшного, может быть, за всю одиннадцативековую историю нашей страны».*

И «человек этот (инвалид Юрий Иванов — А.Н.) олицетворяет собой катастрофу, которую называли победой».

Катастрофу, равной которой у нас еще не было. Она была почти незаметна в первые послевоенные годы. Так заболевший человек не сразу распознает симптомы неизлечимой болезни.

Болезнь Победителей, их поражение в прошедшей войне во всей своей гибельности проявятся полвека спустя. Но первые ее признаки можно было наблюдать в годы Ликования.

«Марик задрал голову.

«Так вот, я вам скажу. Марксизм-ленинизм приказал долго жить», — изрек он.

«Это как понимать?» — усмехнувшись, спросил Иванов.

«А вот так. Война доконала. Ты разве не заметил, что вдруг все исчезло: классовая борьба, мировой пролетариат…»

«Не заметил. Не до этого было».

«Вместо всего этого — великий русский народ».

«Ну и что. Он действительно великий».

«Не просто великий, а самый великий. Все изобрел. Иностранцы только и делали, что воровали наши открытия. Своровали радио, своровали паровоз».

«При чем тут марксизм?»

«Вот именно, что не при чем. Все ложь, — сказал Марик вдохновенно. — Ложь и неправда! И нечего притворяться».

Славословия в адрес народа-победителя сменились поклонением всему русскому. Русской истории и культуре. Нашей военной доблести и широте русской души. Мессианской ролью России на фоне слабого, погрязшего в пороках Запада.

Десятилетия елейного восхищения и самолюбования завершились безумием выхода России из Советского Союза и уничтожением страны, в невиданных испытаниях победившей гитлеризм.

«И вот этот морок рассеялся…». И остались двое, так и не осознавшие, что же с ними произошло. И слабое утешение, что Зло в любом случае было наказано. Как с одной, так и с другой стороны…

22 ноября 2013г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] — «НЛО», 2010, №102

[2] — Там же

[3] — Там же

[4] — Блоги журнала «Семь искусств». «Документальный фильм «Вопросы к Богу». Беседа Е. Минкиной и Е. Берковича 6 ноября 2013 г.».

[5] — «Подразделения СС армейского типа… имели на своем счету ничуть не больше преступлений, чем регулярные подразделения немецкой армии…» (Х. Арендт, «Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла»).

[6] — Борис Хазанов, Марк Харитонов. «… Пиши, мой друг». Переписка 1995-2004 г.г. Санкт-Петербург, «Алетейя», 2013 г.

Клавдия Смирягина. Перевал. Стихи

Смирягина Клавдия Валентиновна, 56 лет, родилась, живет и работает в Ленинграде-Петербурге. Окончила с отличием ЛГПИ им. Герцена, несколько лет работала учителем математики в школе, затем перешла на работу в ХК «Ленинец», где трудится до сих пор. Замужем, два сына….

Стихи начала писать в юности, но держала их преимущественно в столе, пока в 2007 году не зарегистрировалась на сайте Стихи.Ру. Общение с единомышленниками, участие в конкурсах на сайте дало новый толчок творчеству, благодаря чему появились стихотворения, удостоенные публикаций в сборниках "Неразведённые мосты" (СПб.-Нью-Йорк, 2011), "Поэзия Северной Пальмиры" (Москва, 2011) , журналах "Окна" (Германия), "Союз писателей" (Новокузнецк), газете Школьник" (Москва), в "Русском переплёте", «Сетевой Литературе» и ряде других сетевых изданий. На сайте Book on the Move издан сборник "Логарифм счастья". Финалист первого и второго Открытых чемпионатов России по литературе в номинации «Поэзия» (Сетература-МК), лауреат Международного литературного конкурса "Второй открытый чемпионат Балтии по русской поэзии-2013", лауреат первой степени в номинации "Поэзия" литературного фестиваля "Каблуковская радуга-2013", финалист конкурса «Пятая стихия» памяти Игоря Царёва, финалист конкурса «Народный поэт-2014» на сайте «Стихи.Ру».

Нет ничего сложнее естественности, и самая длинная дорога, наверное, путь к самому себе.

Л. Зорин. Авансценна

Как всегда первый, самый наивный, но и самый искренний вопрос: «Почему так притягательны эти простые рифмы, почему так прожигают «бытовые» сюжеты стихотворений Клавдии Смирягиной?»

И первый ответ самый верный, как и первое впечатление — эти легкие для восприятия картины сплетены из серебряных витых нитей мастерства.

В поэтических пьесах Смирягиной очень русский узор, в него хочется вглядываться, узнавая что-то из своей жизни, постигая нечто истинно национальное. И знаешь и чувствуешь каким-то непости-жимым тридцать пятым чувством, — это они, не заболтанные лживыми языками, настоящие скрепы. Здесь знаешь свое место в каждом сюжете, во всем участвуешь и всему сопереживаешь. Лица этих дедов, матерей и вдов выплывают из строк поэта узнаваемы до последней черточки, иные же, увидены во сне. Ах, если бы привить эти стихи в молодое, формирующееся сознание! Никакая ложь не способна была бы пробить в их душах драгоценную кольчугу истинной, терпкой и горькой любви к тому, что мы чувствуем русским.

Наташа Борисова

Стрельчиха

Стрельчиха караулила зарю, синицею застыв оцепенелой: ей утром обещали выдать тело, подвешенное в пыточной на крюк, обрубленное катом неумелым и брошенное сверх сырых дерюг.
Соколик, разве был он виноват? Опутали царевнины посулы, она их, горемышных, всколыхнула…
Мол, каждый будет волен и богат. Да дух стрелецкий требовал разгула… Вот сдуру и ударили в набат.
Детишки на подворье у кумы. Наплакались, меньшому только годик, одела впопыхах не по погоде. Куда податься, кто возьмёт внаймы? Всё сгинуло, беда одна не ходит. Увидим ли теперь конец зимы?
Стрельчиха караулила зарю. Но кровью напоённое светило, упавшее за кромку, как в могилу упившийся до чёртиков бирюк, на небе появляться не спешило — оно давало выспаться царю.
А царь не спал. Зарывшись с головой в лавандовую немкину перину, всё видел и не мог прогнать картину: Матвеева на копьях над толпой, за матушку убитого невинно, раззявленные рты, да бабий вой.
Сестра. Змея. Родная кровь. Сестра. С тяжёлыми мужицкими шагами, искусно раздувающая пламя, забывшая про бабий стыд и срам, играющая пешками-стрельцами. Так выжечь зло! Пора. Давно пора.
И Софья в Новодевичьем не спит, последние надежды провожая. Навек замкнулась клетка золотая. Какой позор? Какой девичий стыд? Повисла жизнь на ниточке у края. Монашеский клобук и мрачный скит.
Она ли затевала эту прю? А братец рвался к трону, как волчонок, настырный и припадочный с пелёнок. Пригрел вокруг себя рваньё, ворюг.
А ей смотреть из окон на казнённых…
…….
Стрельчиха караулила зарю…

Про кота

Детей у них не было, видимо, Бог не дал,
а может, не больно хотели, хотя сначала
она колыбельку частенько во сне качала.
Потом перестала. Устала. Прошли года.

Он стал ей и мужем, и сыном, но вышел срок,
и он не проснулся обычным осенним утром.
Она на поминках не плакала почему-то.
Друзей проводила, защёлкнув дверной замок.

Отчётливо зная, что утром к нему уйдёт,
легла на кровать, примостившись привычно с края.
И вспомнила вдруг, окончательно засыпая,
что завтра голодным останется рыжий кот.

С тех пор миновало двенадцать протяжных лет.
И кот вечерами на кухне мурлыкал звонко.
Когда схоронила кота, принесла котёнка.
Зовёт его мальчиком. Гладит.
И в сердце – свет.

Сначала из дома ушли тараканы

Сначала из дома ушли тараканы,
шушукались с вечера где-то за печкой,
а ночью исчезли внезапно и странно,
включая детей, стариков и увечных.
Хозяин на радостях хлопнул рюмашку,
хозяйка засиженный пол отскоблила.
Лишь дед, озабоченно сдвинув фуражку,
под нос пробурчал, что пора, мол, в могилу.
По осени вместе с антоновкой спелой
попадали как-то на землю синицы.
И встать на крыло ни одна не сумела.
Зарыли. Забыли. Подумаешь, птицы.
И только старик, опираясь на палку,
подолгу бродил по листве облетевшей,
и, морщась, шептал: «Внуку малую жалко,
расти бы, расти ей, да кукол тетешкать».
А в марте, открыв зимовавшие ульи,
хозяин увидел, что гнёзда пустуют.
Выходит, что пчёлы из них улизнули,
оставив без мёда ребят подчистую.
В тот вечер старик, похороненный в Святки,
приснился хозяину с речью туманной:
«Ищите, покуда не поздно, ребятки,
дорогу, которой ушли тараканы…»

Про пианино

А и правда, как без пианино,
если ходит девочка в кружок.
Доченька, единственная, Нина…
Доченьке двенадцатый годок.
Вот в многотиражке на заводе
дочкин напечатали портрет.
Пишут, что талантливая вроде.
Жалко, инструмента в доме нет.
Клавиши рисует на газете
да играет в полной тишине.
Пальчики испачканные эти
видятся родителям во сне.
А девчонке снятся песни Грига,
Сольвейг на заснеженной лыжне.
Толстая растрёпанная книга
дремлет рядом с ней на простыне.
И однажды утром на рассвете
в доме появился наконец,
перебудоражив всех соседей,
новый удивительный жилец.
В Стрельне, у немецких колонистов
куплен и доставлен, как хрусталь,
вымечтанный, красно-золотистый
беккеровский сказочный рояль.

Мне бы вас порадовать, да нечем.
В сорок первом, где-то в декабре
выменяли «Беккера» на гречу,
слёзы мимолётно утерев.
Пальцы огрубели от работы,
ссадины, мозоли, волдыри…

А без пианино в доме, что ты!
Всё мечтала внукам подарить…

Не плачь, мама

Когда от глухой канонады подрагивал воздух густой, и с запада шедшее стадо мычало, топча хлебостой, когда вы вгрызались упрямо в суглинка горячую твердь, тогда ты боялась ли, мама, в шестнадцать свои умереть?

Держа неумело лопаты,
на лужском сквозном рубеже
вы были ещё не солдаты,
и были не дети уже.

Когда в недорытых окопах от бреющих травы атак вы прятали лица, а попы укрыть не умели никак, и белый от страха инструктор кричал про измену и долг, кто именно этим маршрутом направил ободранный полк?

Ощерившись зло и щербато,
сипел почерневший комбат:
- Паскуда, погибнут ребята!
Немедля назад в Ленинград!

Когда пробиралась болотом навстречу голодной зиме, буржуйке, цинге и налётам, и штампу на сером письме, когда, поседев за неделю, навстречу подкинулась мать, как свято вы верить умели, надеяться, верить и ждать…

Тебя не касается скверна
журналов, сетей, передач?
На небе не плачут, наверно…
Пожалуйста, мама, не плачь…

В.Д.

В медном подсвечнике сальная
Свечка у няни плывет...
Милое, тихо-печальное,
Все это в сердце живет... (с)

И. Анненский. «Сестре»

Ночь кудель сонливо тянет, перематывая дали,
заполняет сном корзинку, на скамеечку присев.
Под пушистыми кистями вижу кружево педали
и литые буквы «Зингеръ» на чугунном колесе.
По зелёному жаккарду бродят уличные тени,
звон последнего трамвая вязнет в плотных облаках.
И мурлычет песни барда наш приёмничек настенный,
сам себя перебивая позывными Маяка.
Стол, ночник, на гриб похожий, две кровати по соседству,
между ними дверь в кладовку, пола узкая межа.
Сладко-сладко, не тревожась, спит твоё смешное детство,
сдвинув узенькие бровки, мишку бережно прижав.
Спи, малыш, пока мы вместе. Сон с годами всё короче.
Жизнь таких узлов навяжет без раздумий и стыда!
Пусть тебе послужит вестью нежность этих междустрочий.
Может быть, прочтёшь однажды. Может, вспомнится когда...

Перевал

Попавшее в оконный переплёт,
сырое небо бьётся грудью в стену
гостиной, где безмолвно и степенно
сто лет столетник бабушкин растёт,
где ходики воркуют в тишине,
где вазочки на вязаных салфетках,
где кенар спит в накрытой пледом клетке,
присвистывая тоненько во сне.
И бабушка, вздыхая, прилегла
на круглый валик старого дивана.
В студёном ноябре темнеет рано,
и сделаны домашние дела.
И снится нашей бабушке вокзал,
прощанье на заснеженном перроне,
а после — степь, дорога, сани, кони,
и ночь, и узкий горный перевал…
……
Её нашёл наутро старший внук,
когда принёс продукты, как обычно.
(Она с годами стала склеротична -
обычный в этом возрасте недуг).
Что дальше было, что там за дела,
не помню... помню только снег и дали,
и тёплый свет на синем перевале,
который я когда-то перешла.

_____

Инна Иохвидович. Пять маленьких рассказов

Инна Иохвидович родилась в Харькове. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Прозаик, также пишет эссе и критические статьи. Публикуется в русскоязычной журнальной периодике России, Украины, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Финлян-дии, Чехии, США. Публикации в литературных сборниках, альманахах и в интернете. Отдельные рассказы опубликованы в переводах на украинский и немецкий языки. Автор девятнадцати книг прозы и одной аудиокниги. Лауреат международной литературной премии «Серебряная пуля» издательства «Franc-Tireur USA», лауреат газеты «Литературные известия» 2010 года, лауреат журнала «Дети Ра» за 2010. Живёт в Штутгарте (Германия)

Иногда автор напоминает скульптора. Необходимо умение увидеть важное в глыбе строк, спрессованных огнём переживаний, памяти, всплесков света, то главное, тот ключ, который и надо создать. У Инны Иохвидович в рассказах всё чаще проявляется осторожность, нет — выверенность слов, точные движения скульптора — лишнее отсекается. При этом, напряжение, нерв — сохраняются и держатся в узде. Но, в какой-то момент, обламывается вся материковость прозы. Взлетает крик в небо, ты остаёшься один на один с той истиной, которую и хотел поведать Автор. У Инны Иохвидович нет простых тем. Человек и его унижение. Женщина и её незащищённость. Люди и те, кто возомнили себя Богами. Фашисты, оставшиеся в прошлом и настоящее, родившее новый фашизм. И ещё — внезапное рождение осознания невезения быть евреем. Спорно или верно? Может, в этом рассказе нет и капли провокационности, есть лишь рождённая скульптором человечность и боль.

Ирина Жураковская

Смерть Мао Цзедуна

Ранняя осень 1976 года на Кавказе выдалась тёплой и не дождливой. Мы с подругой купили путёвки на путешествие по Военно-Грузинской дороге.

С поезда в Орджоникидзе (так в советское время назывался Владикавказ) мы пересели в автобус, что покатил нас в Грузию.

С селения Казбеги начался наш маршрут. То, как жили люди в горах, оказалось для меня открытием. Так многие местные жители хоронили своих родных и близких прямо у себя на подворье. Семьи так и оставались цельными, живые и мёртвые…

В этом движении по старой дороге, от гор к Чёрному морю, всё поразительно для горожан. Тишина природы, людской разговор, блеянье овечьих отар, гостеприимство горцев…

Хоть и был у меня с собой маленький транзисторный приёмник, но его и слушать не хотелось в этом, будто бы первобытном мире.

В одном из селений, в столовой турбазы я обратила внимание на женщину из-за того, что голова её была покрыта чёрным платком. Я уже знала, что тут носят его в знак скорби по ушедшим из жизни. Да и лицо женщины, особенно её тоскливые глаза, было траурным. По-русски женщина не понимала ни слова.

О ней я спросила другую женщину, работавшую на кухне. Эта женщина, покрутив указательным пальцем у виска, рассказала, что та женщина почти всегда в трауре, люди-то не бессмертные. А эта сумасшедшая скорбит по ним, по всем. Вот вчера ещё была в светлой косынке, а когда по радио сообщили, что кто-то умер, она тотчас повязала свой чёрный.

В корпусе, вытащила транзистор, тот и сообщил, что скончался председатель КПК товарищ Мао Цзе Дун. Так вот по кому по кому скорбела душа её, по кому носила траур эта женщина! По незнакомому ей товарищу Мао?! И из-за этого считали её односельчане, малость, не того. И это здесь, где связь между живыми и мёртвыми была практически зримой. А эта женщина, не читавшая елизаветинца Джона Донна, сама знала о том, что смерть каждого человека умаляет и её, единую со всем человечеством. И она оплакивала его вместе с сотнями миллионов китайцев…

На следующий день мы уезжали с этой базы. Я снова увидала её, она вышла из столовой специально проводить нас, помахав на прощание рукой. И я, через много десятилетий после детства тоже, в ответ помахала ей…

Много дивного, уникального открылось мне на Кавказе. Не забыть ни ледника, ни Храма лермонтовского Мцыри, с высоты которого увидала слияние Арагвы и Куры, этого знаменитого храма Креста, Джвари-сакдари, где по легенде равноапостольная Нина водрузила крест. Ни Светицховели, главного собора Грузии, где увидала незабываемую икону Спаса на полотне, ни многих природных редкостей…

Но почему-то эта женщина стала для меня самым главным, основным моим душевным «приобретением» в той поездке.

Тогда, в автобусе, смахнув вдруг скатившуюся слезинку, всё думала я, что в моём детстве махали друг другу не только дети, но и взрослые. Проходившим автобусам и поездам. И никто не считал эту открытость, приветливость, сочувствие, какую-то солидарность, некое человеческое единство, признаками сумасшествия…

Прутик

У девочки было много игрушек и кукол. И всех-то она ласкала, ко всем была, особенно к некоторым куклам, привязана. Можно было даже сказать, что она их любила, пусть и не так сильно, как маму или бабушку. Наверное, как папу, приходившего в выходные два раза в месяц.

Но как-то осенью во дворе детского сада среди голых безлистных деревьев и кустов, она увидала… всего лишь надломленную ветку куста.

На следующий день она принесла из дому лейкопластырь, чтоб склеить и без того страдавшую от ветра, холода и дождя ветку. Пыталась как-то исхитриться и вернуть былую целостность, но получилось только хуже. Отломалась часть ветки, связь между ними оборвалась…

Девочка плакала так сильно, что воспитательница отвела её в помещение, где она осталась на попечении уборщицы, которую мама почему-то называла техничкой. Та, как и воспитательница, попыталась забрать у неё крепко зажатый в детской руке прутик, но девочка зарыдала.

Не удалось это и маме. Так и пришли они с прутиком домой. Девочка объяснила бабушке, что с прутиком она дружит. А друзей ведь не бросают и не выбрасывают. Решено было оставить его. Как сказала бабушка маме: «Оставить эту дружбу в покое».

Девочка почти никогда не расставалась со своим «другом», а в своём любимом месяце мае украшала его шёлковыми ленточками, как «майское» дерево.

«Спал» прутик завёрнутым в тряпочку на стуле, рядом с её кроватью.

Девочка выросла, стала подростком, уже хранились в третьем, последнем «невидимом» глазу ряду, детские книжки, раздарены были куклы, трёхколёсный велосипед и самокат, остался лишь прутик, нынче не только ночью, но и днём обернутый материей. Она сохраняла верность ему, их дружбе, неравных: сильной её и беззащитного, во всём от неё зависящего, прутика.

Подросток превратился в девушку, нежную, стройную, милую… Забывшую о своём странном друге.

Мама, воспользовавшись этим, спрятала прутик, с глаз долой на высокие антресоли. Она всё-таки не решилась выкинуть усохшую короткую веточку.

Закончив ВУЗ, собралась девушка замуж. Переезжать надо было в квартиру жениха, будущего мужа, ему родители купили к женитьбе квартиру.

Перед свадьбой перевозила она в новое жильё свои вещи. Как бы всё она уж и перевезла. Да что-то не давало невесте покоя, словно забыла она о чём-то важном, жизненно важном, может быть главном. И всё смотрела, осматривала свою девичью комнату, удивляясь самой себе, вроде ничего не забыла.

Зачем-то по складной лестнице полезла на антресоли, сама не зная зачем. Что было ей искать в старом хламе, что могла она забыть там?!

Добралась до какой-то свёрнутой тряпки. Развернула её. Внутри оказалась тонкая древесная труха — то, что осталось от её старинного забытого друга…

Жизнь Дуси или камни и цветы

Евдокия Игнатьевна дважды в жизни выходила замуж и дважды становилась вдовой.

Первым её мужем был одноклассник Володя. Жила молодая семья в старинном русском городке средней полосы России. Поженились они сразу после окончания школы, случилось это за год до войны.

Дуся сразу понесла...

В мае родился сын Володя. Владимир Владимирович, а в июне началась война. Володя старший ушёл на фронт, оттуда не вернулся

Начала Дуся работать кастеляншей в госпитале. Сын в яслях сильно болел, потому и разрешили ей держать его при себе. Был он смирным ребёнком, а уж тихим таким, что его никто никогда в госпитале не слышал. Грудничком даже голосу не подавал, да и с ростом, громче не становился. Словно откуда-то ведомо ему было — н е л ь з я!

После войны госпиталь перевели в Харьков, и Дуся с сыном переехали. Сотрудники, от докторов до уборщиц, любили её за добросовестность, доброжелательность, дружелюбие. Да и смотреть на неё приятно было. На настоящую русскую красавицу с правильными чертами на овальном лице. Будто нарисованными были синие глаза, осенённые опахалами пушистых ресниц. Статная и фигуристая, с длинной и толстой русой косой, она казалась вышедшей из русской народной сказки.

Стала она сестрой-хозяйкой, получили они с сыном комнатку в коммуналке. Володя пошёл учиться в мужскую школу. Так они и жили вдвоём, будто тихо печалясь…

Меж тем от ухажёров у Дуси отбою не было, хоть и после войны это было, когда мужиков немного, а женщин не счесть. Да ни с кем ей не хотелось быть, как когда-то с незабвенным мужем, со своим погибшим Володечкой. Так что шансов увивавшихся за нею не было ни на что.

Как-то случилось Дусе сдать часы в ремонт. То был свадебный подарок от матери, память об ушедших из жизни перед войною родителях.

В первой мастерской молодой часовщик стал нагло рассматривать Дусю, особенно откровенно уставился, на её высокую грудь, попытался приставать, стал хватать за руки. Ни слова не говоря, она ушла оттуда.

Остановившиеся часы продолжали лежать на комоде, укором ей.

И снова пошла Дуся в мастерскую, в другую. Годами позже она с содроганием думала, что ведь могла зайти в другую, а не в эту, где свою судьбу обрела.

Пришла она уже вместе с сыном, чтоб не одной, как в первый раз. Там был, как показалось ей, пожилой часовой мастер, который внимательно, но не нагло, как тот предыдущий, а бережно-осторожно рассматривал и часы, и её с сыном.

— Брат? — внезапно охрипшим голосом спросил он.

— Нет, — охотно отозвалась Дуся, — сын. — Она привыкла, что их часто принимали за брата с сестрой.

Мастер смущённо протянул мальчику леденец на палочке. И продолжил:

— Извините за расспросы. Счастливым должен быть ваш муж с такой женой. Вы не беспокойтесь, не завидую. Так просто считаю.

Дуся вырвала часы у него из рук.

— Хватит, с меня, довольно. В другом месте отремонтирую, — чуть не плача, бормотала она. — Вдова я, на фронте моего Володю убили!

Она выскочила из мастерской на шумную в предвечерние часы улицу.

Но через несколько шагов почувствовала, что кто-то крепко поддерживает её под локоть. Это был он, часовой мастер.

Он привёл Дусю с сыном в кафе-мороженое, где Вовка стал радостно уплетать большие шары шоколадного пломбира…

Долго просидели они там. Часовщик всё рассказывал и рассказывал про себя да про свою семью. Там, глядя на него, Дуся поняла, почему он показался ей пожилым. Он был совершенно седой! Над молодым лицом курчавился совершенно седой чуб.

Звали его Яшей Тополянским, и был он всего на четыре года старше неё. Так же как и её Володя был он фронтовиком. А до войны была у него жена и двое малых сыновей — погодков. До войны жили они всей семьёй в Киеве. А как началась она, окаянная, то пошёл он на следующий день добровольцем в военкомат. И на фронт, а там всё было, и ранения, и контузия…

Да всё это показалось ему ерундой, когда узнал он про своих. Вся его семья, да и другие его родственники покоились в Бабьем яру. Сам он был сиротой и воспитывался в семье дяди, что эвакуировался в начале войны в Казахстан. Жена его отказалась ехать с семьёй дяди, говоря, что будет дожидаться своего Яшу тут, дома, в Киеве…

Все эти годы мучился он неизбывной виной перед женой, перед своими мальчишками. Не смог уберечь, не позаботился, а ведь был мужчиной! Не думал о близких, о своих, вот его Господь и покарал. Это нынче понял он, что ближние — самое дорогое в жизни. Сказав это, он вытер ладонью капельки пота на лбу Володи, расправившегося с мороженым.

Так в жизнь Дуси вошёл Яша. Оказалось, он её суженым был…

Много счастливых лет прожили они. Сын Володя сразу назвал Яшу отцом, а ещё Дуся родила ему дочь Людмилу. Яков Тополянский как-то сказал: «Если ты Дуся — душа моя, то моя Людочка, Милочка — Милая моя!» Счастливая Дуся и без этих слов знала, что нет никого дороже у него, чем они.

Десятилетия бежали, дочь окончила институт, вышла замуж за однокурсника, такого же, как и она, писаного красавца.

Настолько полным было Дусино семейное счастье, что подчас она сама содрогалась от нереальной полноты его, будто предчувствуя грядущие беды…

Это невесть откуда пришедшее чувство тревоги заставило её истово молиться. Среди дневной суеты, милых сердцу забот, и в ночной тишине, когда все домочадцы мирно спали, в её смятенной душе творись Молитва, либо своя личная, бессловесная, либо она повторяла слова Псалма: «…убежище моё и крепость моя — Бог мой… ибо ты Господь — оплот мой…не случится с тобой беды…»

Но предчувствия не обманули её. Говорит же народная мудрость: «Чему быть, того не миновать».

Яша, её муж и возлюбленный, её опора в мире, её весь белый свет, погиб под перевернувшимся паромом через Северский Донец, который он обычно переплывал.

У Евдокии Игнатьевны отнялись ноги, омертвела душа, она перестала разговаривать, односложно «да — нет» отвечая…

Через полгода её, обмякшую и седую, молчаливую, с потухшими глазами и застывшим в страдальческой гримасе, неподвижным лицом, выписали из больницы. На своих, правда, ногах…

Дочь Людмила родила девочку, назвав в честь отца, Яной. И этот ребёнок, своим криком, своим требованием внимания родных и растопил тот горючий, тяжеленный камень, что будто лежал на душе Евдокии Игнатьевны.

Когда внучка пошла в первый класс дочь снова родила, на этот раз мальчика. И вновь, Евдокие Игнатьевне было не до дум о прошлом, Ребёнок к тому же болезненным был, аллергиком. Болезненный ребёнок требовало её деятельного участия…

Что происходило в стране, было непонятно Евдокии Игнатьевне, хоть и постаревшей, но как говорили когда-то «со следами былой красоты» и по-прежнему статной. Всё думалось ей, что это за «Перестройку» затеяли, зачем, к чему?! Да и дети, и погрузневший Володя, и статная, в мать красавица Люда, стали в одночасье владельцами кооперативов.

Но не долгим было счастье новоиспеченных предпринимателей. Прогорели оба кооператива, и сына и дочери. Тем и закончилось их занятие бизнесом.

Сын снова вернулся в школу, где преподавал математику.

А Люде с мужем, инженерам, податься было некуда, вот они и пошли на вещевой рынок, торговать. Но, ни у дочери, ни у зятя не было, ни деловой хватки, ни умения в торговле, да ещё их постоянно обворовывали, невезучими они были. И всё шептались между собою у себя в комнате, за закрытой дверью. Да обратила внимание, что дочь всё бегает к почтовому ящику. Видно чего-то ждёт. Евдокия Игнатьевна не страдала любопытством, только жалела дочь, ждущую какой-то важной и хорошей весточки, а той всё не было и не было. Зять начал выпивать, видно от безнадёги, внучка бегала на свидания к худому долговязому парню. Его, всегда с букетом цветов в руках, Евдокия Игнатьевна приметила давно.

Тревожно на душе было у Дуси. Молилась она у себя в комнатёнке за детей, за внуков, за всех известных ей людей, за всех, кому выпало жить в эти времена перемен...

Наконец всё прояснилось! Дочка торжественно внесла в квартиру какой-то, и невиданный никогда Дусей конверт. В нём оказалось «приглашение» от какой-то неизвестной женщины, которая якобы была близкой родственницей покойного Якова Тополянского с предложением семье покойного переехать на постоянное место жительства в государство Израиль.

— Люда! Это ж неправда, — вырвалось у Евдокии Игнатьевны, — все папины родственники, Яшеньки моего живут в Москве, Воронеже, в Киеве. А семья его покойного дяди в Нью-Йорке. В Израиле нет никого! Остальные его родственники нашли пристанище в ярах, да во рвах…

— Мама, успокойся! — заговорила дочь, — в США нынче не пускают, вот и пришлось просить в Израиле, чтобы помогли выехать.

— Как это? — поражённая Евдокия Игнатьевна всплеснула руками.

— Вот так, раньше по израильской визе можно было доехать в Вену или в Рим, а там уже подавать прошения на въезд в США. А теперь по прямой — сразу в Израиль.

— Но почему, Люда?! — заплакала Евдокия Игнатьевна.

— Да потому что жизни нет, мамочка! — в голосе дочери она услыхала подступавшие слёзы, но та продолжила:

— Ты же видишь в нашей «незалежной» прожить невозможно! Уж как мы не старались, не получилось, да и какая из меня торговка?! Это мы, ещё относительно молодые, здоровые. А старикам каково?! Ты что, можешь прожить на свою пенсию? Нет! И это ужасно. Вот сейчас я только тем и занимаюсь, что продаю да продаю, что мне покойный папа на дни рождения да на праздники дарил, — она не промокала даже, катившиеся по щекам слёзы, но продолжила — жить, мама невозможно. И куда бежать непонятно. И как уж там будет, один Бог знает. Но выхода у нас другого нет, ни Янке, ни Игорю будущего я не вижу…

Евдокии Игнатьевне нечего было возразить, аргументов не было. К несчастью не было…

Сын Володя ехать отказался.

— Мама, пойми я русский человек! Что мне там делать?! Бог даст и это пройдёт, и мы ещё будем по-человечески жить. А ты с Милкой езжай (он называл сестру так же, как и отчим, которого он с первого дня отцом считал). Может и я отсюда, с Украины съеду. Учителя математики там тоже нужны. Время покажет…

Вот это Володино: «Езжай!» всё и решило.

В день отъезда пребывала Дуся в безмолвии, казалось, что и слова произнести ей невозможно. Вчера, во время «отвальной», сидя за столом, не могла она взгляда отвести от сына, точно знала, что видит его в последний раз. Думала о том, что умрёт, не повидав его на прощанье. Да неведомо было ей, что он на два года раньше уйдёт, чем мать, отойдя в мучениях от рака…

Повседневная жизнь Евдокии Игнатьевны в Израиле мало чем отличалась от её же харьковского существования.

Так же она гуляла с коляской, в которой лежала правнучка Машенька, в скверике, неподалёку от их нынешнего места жительства. Вновь, как и раньше хозяйкой в доме была она, когда все были на работе и учёбе. Отдыхала в выходной.

Как-то Люда повезла её на машине в Иерусалим, хотела показать ей Стену плача. Но Евдокии Игнатьевне показалось, что она эту Стену видала, так

часто показывали её и по ТВ и на всевозможных репродукциях. Она попросила дочь повезти её туда, где Спаситель прошёл свой последний земной Путь.

— Ты хочешь пойти по Виа Долороза? — почему-то удивлённо переспросила она мать.

— Да, — тихо, но твёрдо ответствовала мать, — жить в Святой земле, и не придти туда, стыдно!

И сама тут же застеснялась, как она посчитала, торжественности тона.

Там, на «Пути Скорби» ей внезапно открылась и вся глубина Его страдания, и боль всякого живущего, а также пришло к Дусе ощущение своего скорого ухода.

Вроде всё было, как и прежде, да не всё. Об этом знала только она. Что её, самой, с каждым днём становится будто бы меньше, умаялась и умалялась она…

Заговорила она с дочерью о похоронах:

— Людмила! Дай мне слово, что не сожжёшь меня, а похоронишь в земле!

— Мама, эти разговоры я даже поддерживать не собираюсь. Тебе же недавно сделали операцию на сердце! Ты — считаешься практически здоровой! Даже учитывая годы. С чего это о смерти говорить или думать?!

— Я и не думаю, — пыталась отшутиться Евдокия Игнатьевна, — Она сама обо мне думает.

Дуся-то знала, что недолго ждать осталось.

Правнучка пошла в младшую группу детского сада. Никто и ничто её уже з д е с ь не держал.

Вскоре пришедшие вечером домой, обнаружили свою маму, бабушку, прабабушку, сидевшей в кухне за столом. Сидела она в плетёном кресле, с откинутой назад, к стене, головой, словно бы она устала держать её. Все дивились тому, что покойница была одета во всё новое, она сама приготовила себя …

Под горячим солнцем иудейской пустыни, на кладбище для не иудеев стоит могилка с прямоугольной гранитной плитой. Под ней покоится простая русская женщина Евдокия Игнатьевна Тополянская, урождённая Сидорова. Возле каменного могильного креста лежат маленькие камушки, положенные по обряду страны, и стоят живые цветы, как в родимой её сторонке…

Две страсти Тины.

Писать в прописях старшей сестры Тина любила с самого детства, задолго до того, как пошла в школу. И как было приятно выписывать с нажимом и без, элементы букв, палочки и кружочки, соединять их…Она даже от усердия сидела всё время с высунутым языком. Чистописание так и осталось её любимым предметом. Это потом уже изложения да сочинения.

В последних классах стала писать свои собственные «сочинения». Она их так и называла — Сочинения. Все они были о ней самой, об ожидании любимого, о своём теле, о жизни её тела (она рано оформилась, рано стала девушкой).

— Я буду как Авдотья Панаева, как сестры Бронте, как все великие писательницы! — говорила всем Тина, а окружающие восхищались ею. Такая искренность и прямота была необычна тогда, в СССР!

В семнадцать лет познала Тина мужчину, так началась её любовь к любви. Она называла это привычным словосочетанием — «заниматься любовью»,

слово «секс», более точное обозначение этому действу ещё было в диковинку.

Вдохновлённая страстью она описывала её в своих повестях и рассказах.

Правда у «занятий любовью» оказалось и одно непредвиденное ею последствие — беременность!

На том, чтобы Тина родила своего первого ребёнка, настояла мать. Во-первых, она боялась, что прерывание первой беременности приведёт дочь к бесплодию. А во-вторых, она надеялась, что дочь, став матерью как-то остепенится, сможет утихомирить свой «половой» аппетит.

Родила Тина крепыша-сына, да не просто не остыла к «занятиям любовью», а воспылала к ним с новой силой.

В ответ на материнские упрёки, она, с блаженной улыбкой, глядя на своё отражение в зеркале прихожей, проговорила: — Мама, ну, что я могу поделать? Я — самка!

Мать недоумённо смотрела на неё, тогда Тина повторила «Самка я!»

Навеки испуганная подростковой попыткой суицида дочери-подростка мать могла только молчать. Пошла она кормить из бутылочки внука, а Тина унеслась, словно на крыльях, к своему очередному партнёру.

А ещё полюбила Тина групповуху, это было веселей, чем с одним партнёром. Именно в групповом сексе можно было полностью расслабиться, да и разрядка часто бывала многоразовой. Но «сеансы» группового секса были нечасты, многие жили в коммуналках или с родителями, и было не очень-то где развернуться. То ли дело летом, когда компанией уезжали на природу, за город…

Правда кроме беременности прибавились ещё нежеланные последствия в виде мелких, а то и серьёзных венерических болезней. На чём свет ругала Тина медицину, и науку вообще, чем бездельники занимаются, что нормальным людям ещё приходится неприятности испытывать.

А дети продолжали рождаться. Ими занималась мама…

Правда, пару раз были у неё и срывы беременности, лежала она в больницах и роддомах. Стала она многодетной матерью, да и замужем побывала за парнем, что до неё был девственником. Она его и к групповому приучила также. За свою опытность и сексуальную изощрённость заплатил он цену немалую, при размене его же квартиры.

Тина со своим выводком получила изолированную квартиру, а бывший муж оказался в крохотной комнатке огромной коммуналки.

Годы шли, складывались в десятилетия. Выросли у Тины дети, трое парней и три девушки, с помощью бабушки и прабабушки, покойных уже.

Тина теперь уже писала романы из собственной личной жизни, как раньше рассказы и повести. Страсть к писанию была прежней, только на смену ручке, авторучке, машинке пришёл компьютер. Его, пусть и не новый, подарил ей один из давнишних, ещё из юности, любовников. Он ей во многом помогал, жалея одинокую, немолодую женщину, когда-то им любимую. Он даже собирался на ней жениться, но что-то удержало его, от, может быть, и роковой ошибки. Нынче он благословлял собственную осторожность.

Закончившая когда-то с грехом пополам культпросвет училище Тина обыкновенно работала сезонно, по лагерям, санаториям и домам отдыха.

Ещё и дети там же отдыхали. Кроме того, среди отдыхающих было несложно находить как новых партнёров, так и любителей обожаемой ею групповухи.

Когда умерли все родные, то Тина продала доставшуюся ей от мужа квартиру и переселилась с детьми в пустую родительскую. Какое-то время, швыряя деньгами, она даже почувствовала себя богатой. Правда, эти тысячи долларов почему-то быстро закончились.

Но вот наступил странный по своей неумолимой ясности день. В квартире, где не было слышно ни детских, колокольчиками звенящих голосков, ни подростковых, ломавшихся, ни девичье-юношеских с надеждой неведомо на что, но непременно хорошее…

Все они упорхнули из этого «гнезда», её дети…

Кроме детей у неё были ещё сотни страниц ею написанного, но их, никто, кроме некоторых знакомых, и читать не хотел, что уж говорить о публикациях…

«Ничего нет, — думала она, — ни детей, ни книг, ни — че — го!»

Она подошла к старому зеркалу в прихожей, в которое смотрелась всю жизнь.

Сейчас в нём отражалась 60 с чем-то летняя женщина, неприглядная, неухоженная, с потухшим взглядом когда-то блестящих глаз…

— Я самка?! — почему-то спросила она у зеркала.

Ответом была тишина. А лицо её в зеркале так и застыло в своём вопросительном выражении…

Жизнь на сцене

Арина с детства любила театр. Да и мама её была администратором театра оперы и балета. Арина, не ходившая в детский сад, проводила там почти всё время. Когда пришла пора девочке идти в школу, то там, и в школе, и в группе «продлённого дня» она частенько плакала оттого, что ходить в театр приходилось только в выходной.

Отец ушёл из семьи, нашёл другую, а Арина ещё больше привязалась к театру. Без него она не мыслила себя, без пыльного запаха огромного занавеса, без криков и короткой ругани рабочих сцены, без зала, партера и амфитеатра, лож и балконов, постепенно погружавшихся во время спектакля во тьму, от идущего со сцены, льющегося с неё, света…

Но способностей у неё не оказалось, не хотели даже в самодеятельность школьную брать. Слуха музыкального тоже не было, так что про занятия музыкой или вокалом думать было нечего. Так что ни оперной, не драматической актрисой стать ей было не суждено, мечта так и оставалась только лишь мечтой.

Вот что не подвело Арину, так это внешность! И была она, самая, что ни на есть актёрская! В красавца отца пошла она — высокая, статная, фигуристая, с волнистым водопадом волос, крупными, правильными чертами лица. Будто, сошедшая, с картинки модного журнала. Вот только красивое, броское лицо, как и у журнальных красоток, было незапоминающимся.

Мама, помешанная на том, что дочь обязательно должна получить высшее образование устроила её по блату в педагогический институт, на отделение дефектологии.

Стипендия в 60-е годы была небольшой, чтоб не сказать крохотной. Почти все студенты подрабатывали. Мама и Арину определила к себе в театр, на подработку, в миманс…

Не знала она, что совершила, что наделала. А на душе у девушки стало легко, словно она ощутила под собой твёрдую почву, после того, как годами проблуждала по болоту. А ведь она с детства знала, кто такие артисты миманса. Что бы про них не говорили, что это артисты массовки в опере и балете, что, дескать, стоят как столбы в любом спектакле, что даже не обучены сценическому движению, для Арины это ничегошеньки ровным счётом не значило…

Она, одетая в костюм придворной дамы, с большим декольте и огромным веером в руках, очутилась на сцене! Глаза зрителей, блестящие из темноты, были прикованы к ней…

С неведомым восторгом поняла она, что вот это удивительное состояние, себя на сцене, освещаемой софитами, глядя во тьму зала, и есть то, ради чего, она родилась…

С того самого дня существование девушки оказалось как бы навсегда поделенным на то, скучное, смешное времяпровождение «До» и нынешнее, исполненное торжества смысла — «После»…

Она едва не забросила свой институт и окончила его только из-за постоянных истерик матери.

Но настоящая жизнь, подлинная была только там, на ярком свету, там, где все взоры прикованы к сцене, где она впервые ощутила себя Человеком, про которого писали с прописной буквы

Окончив институт, пришлось Арине пойти работать по специальности. Как ей было тошно днями среди детей заикающихся, шепелявящих, картавящих. И хоть было ей их жаль, и приходилось заставлять себя добросовестно относиться к своим обязанностям, но до чего же её одолевала скука и желание сбежать отсюда. Как хотелось, чтоб уж закончился этот долго тянущийся рабочий день, чтоб скорей наступил вечер, чтоб не идти, а бежать в театр. Туда, на сцену чтобы выйти, в вечернем ли платье, в тунике, в парче и бархате…

Было так хорошо перенестись, пусть и в условный, но в не сегодняшний мир, который и существовал всего два часа в сутках, но, что был для Арины настоящим, волнующим, не то, что монотонный в своём существовании, обыденный…

Как ни странно, для столь красивой девушки, не ладилось у Арины с личной жизнью. Никто за ней не ухаживал. Мама из-за этого только тихонько плакала да всплескивала от удивления руками.

Саму Арину это не очень волновало. Главным для неё были мгновения пребывания на сцене.

Когда от обширного инфаркта миокарда умерла мать, Арина, над которой уже ничто не довлело, ушла с опостылевшей работы и полностью посвятила себя театру. По-прежнему ей не было дела до жизни, помимо театра.

Основным было то, что она выходила на сцену в вечерних спектаклях и дневных представлениях…

И она, задумываясь над своей актёрской специализацией, радовалась тому, что ей не приходится перевоплощаться, не нужно надевать на себя сотни личин. Она представляла всегда саму себя, такой, какая она есть. Это и было её предназначением. Её жизнью на сцене.

Обычным чтением Арины были исторические романы или биографии великих людей. Газет она не читала, а ТВ смотреть было некогда. Потому она как-то пропустила, и то, что в стране была Перестройка, что распался СССР, началась иная, непонятно и какая, жизнь….

Да по большому счёту было ей это и неинтересно…

Стала получать она пенсию, мизерную, конечно, какие зарплаты в миманс-е-то были…

Но и на пенсии выходила она на сцену, без которой не могла жить.

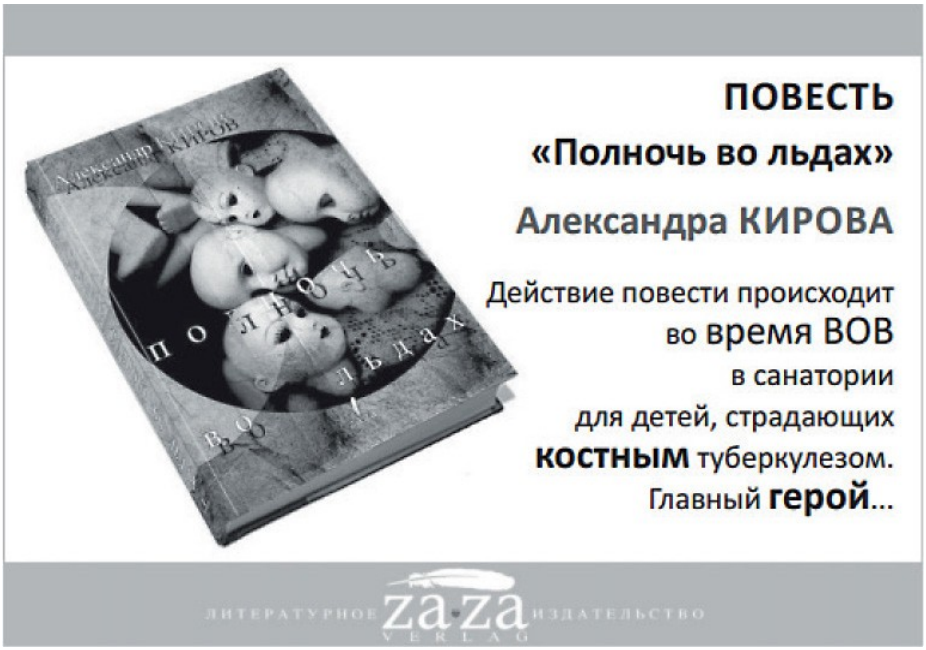
И даже, когда перестали ей платить за выход (денег в театре не было), она всё равно, бесплатно продолжала идти, словно заколдованная, на сцену. И, если этому удивлялись сослуживцы, то она, смеясь, говорила, что она на сцене, то ли в трансе, то ли под непонятным наркотическим влиянием.

— Считайте, что я — Трильби! — смеялась она.

Как-то её вызвал начальник отдела кадров, затеяв странный разговор, выспрашивая о её жизни. Даже о мечте, о мечтах спрашивал…

— Как жила, так и умру, — отвечала Арина, — на сцене! Кроме неё у меня ничего не было, нет, и не будет…

Опытный кадровик смотрел вслед этой странной, старой уже женщине, и сам не зная кому, показывает это, вертел указательным пальцем у виска



Евгений Яночкин. Подмосковный сочельник. Стихи

Евгений Николаевич Яночкин родился в 1966 году на юге Красноярского края. По профессии — геофизик, работал в различных экспедициях в Сибири, в Индии и в Южной Америке Жил в г. Дмитрове Московской области. Сейчас живет в Петербурге. В 2010-м году заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С ранних лет пишет стихи и прозу. Публиковался в литературных журналах «День и ночь», «Московский вестник», «Братина», «Юность», в местной периодике различных городов. В 2010-м увидел свет сборник стихотворений и поэм Евгения «Отголоски».

Стихи Евгения Яночкина знают и печатают. Не сказала бы, что мне всё в них нравится. Но в простом изложении жизни звучит поэтичность, есть совершенно эксклюзивные взгляды-сравнения. Наверное, нужно чудо, чтобы остаться романтиком в реалиях времени. Не только нашего — любого. И только романтик и поэт может чувствовать вот так:

"Я сонный воздух трогаю рукой,
А в нём повисли воля и покой,
Как капли влаги на сосновых лапах".

Только человек, который не просто любит Родину, а является её маленькой частью, кусочком сердца Страны, ведь именно люди составляют центр кровеносный своей земли, может написать строки —

Я буду жить в неведомой стране,
Где все добры, где незачем скандалить.
Я верю, что страна такая есть,
Найду её по внутренним приметам…
Я улетел бы, если бы… не честь
Да не судьба: зачем-то выжить в этой.

Было бы не совсем искренно с моей стороны, если бы не отметила, что стихотворение "Подмосковный сочельник" — очаровало. Не знаю. Вот просто зарисовка, и гусь такой важный, и поездка знакомая и вроде ничего сверхестественного, а я перечитываю этот стих. Наверное, это искусство — тронуть чужих простыми словами поэта.

Ирина Жураковская

Подмосковный сочельник

Мы едем в театр. Сидим в электричке.
Мы вместе, и в том — благодать.
Немного бранимся по старой привычке
О том, что могли опоздать.

В неполном вагоне нельзя не заметить
Рождественский добрый настрой.
Гуся продают станционные дети —
Мальчишка со старшей сестрой.

Пьют водку под закусь — приличные — трое,
Не прячась: сочельник, никак!
А гусь выступает походкой героя
И жаждет общенья — дурак!..

Мы едем в театр, где, способствуя действу,
Топорщится сердце, как ёж…
Откуда с тоской или с тягой к злодейству
Не выйдешь — пусть даже зайдёшь...

Где «летом в Чулимске» докажет нам Бочкин,
Что живы и чуткость, и честь…
Мы станем в метро разговаривать с дочкой,
Что нечто чудесное есть

В театре… И надо б почаще… Примерно…
А в ночь уже вышли волхвы.
А где-то под Лобней гусак тот, наверно,
Давно не сносил головы…

Про Питер

Катились «частные проекты»
Горошком мелким от метро.
Болтались мокрые проспекты
На перекладинах ветров,

В глазах прохожих отражалась
Судьба всего, что не горит.
И жутко было, и казалось:
Над всей Россией декабрит.

Являл предновогодний Питер
Тупой толпы ажиотаж.
Здесь Достоевский бы не вытер
Сапог о блеск «прямых продаж».

И только двое ночью длинной,
Обнявшись в комнате своей,
Сидели рядом, и Марина
Была мне светом этих дней.

01.2015

***

Влюблённые часов не наблюдают,
Когда плывут как листья по реке.
И жизни их неудержимо тают
Прозрачной льдинкой в тёплом кулаке.

Влюблённые не наблюдают денег,
Ни злобных взглядов, ни дурных примет.
Они друг другу — тот желанный берег,
Которого для прочих в жизни нет.

Они плывут совсем неосторожно
Куда хотят. Назад их не зови.
Пускай плывут. Им всё на свете можно —
По праву, по закону, по любви…

02.2015

***

Торгаши кругом, торгаши,
Сострадания — голый шиш,
Справедливость едва видна…
Не печалься и пей до дна!

Потому что когда-то *ТАМ*,
Как премудрый мечтал Хайям,
Груди милой и хмель лозы
Да растерянный след слезы —

Перевесят тяжёлый ум,
Шелест денег, базара шум.
И восславится на века:
Лёгкий шёпот, в руке рука…

02.2015

Александр Бархавин. Выбор Роберта Ли

Историческое эссе

Родился в Москве, окончил школу в Киеве, институт в Москве, женился в Киеве, там же родил детей и оттуда же увез семью в США. Сейчас живу недалеко от Бостона. Занимаюсь электроникой, чувствую себя динозавром: пользуюсь законами Ома и Кирхгофа напрямую — все вокруг применяют программы, куда эти законы забиты. Публикация одна, но каким тиражом! Во всесоюзном журнале «Пионер». Убейте не помню о чем, что-то очень короткое.

Я хочу предложить вашему вниманию эссе на тему об американской Гражданской Войне, 150-летие окончания которой будет отмечаться в этом году. 9 апреля 1865 г. капитулировала главная армия южан — Армия Северной Вирджинии, возглавляемая Робертом Ли; 2 июня капитулировала последняя значительная армия южан, и война была официально закончена.

Война была самой кровопролитной в истории Америки; страна потеряла более 600 тысяч человек, больше чем в любой другой войне (для сравнения — во Второй Мировой Войне потери США составили 420 тысяч человек, при втрое большем населении).

Споры об этой войне продолжаются до сих пор. Одно бесспорно — после войны генерал Роберт Ли стал самым популярным генералом Америки, как на Юге, так и на Севере.

***

У каждой страны есть легенды. Чем значительнее событие в истории страны, тем многочисленнее легенды, его окружающие. Судя по количеству легенд, самое значительное событие Америки — Гражданская Война 1861-1865 гг, она же — Война Севера с Югом.

Расхожий афоризм “Историю пишут победители” не совсем точен: историю пишут не только победители — еще ее пишут легенды и песни. Чем они романтичнее, тем убедительней получается история, а легенды и песни проигравших, как правило, романтичней, красивей и душещипательней, чем у победителей. Сравните хотя бы:

"И кресты вышивает последняя осень
По истертому золоту наших погон..."

и

"Ты, конек вороной, передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...".

Поэтому история, созданная легендами проигравших, может доминировать, будучи дальше от действительности — конечно, если победители не

давят легенды проигравших цензурой. Именно так получилось с историей американской Гражданской Войны.

Когда речь заходит о той войне, с удручающей регулярностью слышишь: "Север напал на Юг, потому что..." — далее уже не важно. Для разнообразия можно услышать "Север спровоцировал Юг". Основной источник информации о войне — роман “Унесенные ветром”: бестселлер, пулитцеровская премия, кто ее не читал — в Америке уступает по читаемости только Библии. Впрочем, кто не читал, наверняка смотрел фильм по этому роману — Вивьен Ли, Кларк Гейбл, самая кассовая лента в истории кинематографа, одних Оскаров восемь штук. Роман действительно великолепный. Он оставляет такое ощущение подлинности, что в других описаниях гражданской войны невольно ищется подтверждение его романтической легенде и пропускается то, что ей противоречит.

Господа, нельзя по одному роману составить адекватное представление о таком событии, как война. И если Вы приведете мне в пример "Войну и Мир", я Вам отвечу, что роман Митчел — это не "Война и Мир", а скорее "Анна Каренина". Это история жизни одного человека, и взгляд здесь односторонний. История Гражданской Войны по этому роману и другим легендам южан выглядит так:

Жили на юге страны благородные, храбрые, мужественные, добрые, миролюбивые люди — любили свою землю, боготворили своих женщин, заботились о своих рабах. Их завистливые, жадные, трусливые, грубые северные соседи в 1860 году выбрали президентом злобного варвара и деспота Линкольна, который замыслил разрушить уклад жизни южан — и для этого запретить рабство (так уж сложилось, что это была одна страна, и президент был общий). Тогда южные штаты отделились и создали независимое государство, а северяне на них напали. В ходе четырехлетней войны южане проиграли — слишком велико было численное преимущество северян.

Эта история поддерживается и украшается многими легендами, самая красивая из которых — Роберт Ли (1807-1870).

Родом из лучших семей Вирджинии, сын героя войны за независимость, обожествляемый своими солдатами ("Я слышал о Боге, но видел Роберта Ли") и уважаемый противниками, Ли был человеком высокой чести и благородства. Когда началась война, Линкольн предложил полковнику Ли возглавить армию северян. Тот отказался и стал командовать армией южан, хотя не был ни принципиальным сторонником рабства, ни сторонником отделения Юга. Одержал много блестящих, фантастических побед, после войны стал иконой южного движения Lost Cause (Проигранное Дело), которое и сформировало взгляд на историю Гражданской Войны. То, что Ли воевал на стороне южан, приводят как довод за моральное превосходство Юга. То, что он не был сторонником рабства, якобы подтверждает, что рабство не было причиной войны.

Факты, приведенные в этой легенде, в основном соответствуют действительности. Только это не все факты. Давайте добавим к ним другие, на которые обычно не обращают внимания (как правило, их просто не знают). Общеизвестных фактов это не отменит, но выводы может изменить. Итак, давайте подробнее ознакомимся с историей благородного (это не ирония, я действительно считаю его благородным) Роберта Ли.

Подполковник Роберт Эдвард Ли встретил 1861 год в Техасе.

Новый президент Линкольн (выбран в ноябре 1860 г, в должность должен вступить в марте 1861 г) против рабства, но не собирается его отменять:

согласно конституции, это внутреннее дело каждого штата. Однако в составе страны, кроме штатов, есть территории, управляемые федеральным правительством. По мере заселения они получают статус штата, со всеми правами. Линкольн настаивает, чтобы территории были свободны от рабства (получат статус штата — будут решать сами). Южане требуют, чтобы рабство на территориях было узаконено, независимо от желания жителей территорий, и чтобы федеральное правительство его там защищало.

Линкольн еще не вступил в должность, но шесть самых южных рабовладельческих штатов созвали специальные конвенции и приняли решение о выходе этих штатов из Юниона (Union — общепринятое в то время название страны целиком до отделения Юга, и не отделившихся от страны штатов). 1 февраля специальная конвенция голосует за выход Техаса из Юниона — это седьмой и последний штат, отделившийся до начала Гражданской Войны.

4 февраля шесть ранее отделившихся штатов объединяются в новое государство — Конфедерацию. Любопытная деталь: в зале, где собрались представители шести штатов, висит карта нового государства — в его составе указаны все пятнадцать штатов, где рабство узаконено. Новое миролюбивое государство обозначает границы своего миролюбия... 2 марта к Конфедерации официально присоединяется Техас. Остальные восемь рабовладельческих штатов — пограничные штаты, между Конфедерацией и девятнадцатью свободными штатами — пока остаются в Юнионе. Среди них — Вирджиния, самый крупный по населению и экономически развитый рабовладельческий штат, родной штат Роберта Ли.

13 февраля в столице Вирджинии Ричмонде собирается конвенция для рассмотрения вопроса о выходе Вирджинии из Юниона. В тот же день подполковник Ли получает приказ сдать дела и явиться в Вашингтон. Он покидает свой гарнизон и едет в Сан-Антонио, где расположена штаб-квартира армии США в Техасе. Прибыв туда 16 февраля, Ли узнает, что его начальник генерал Твиггс сдал техасской милиции все укрепления и арсеналы Юниона. Хозяйничающие в штаб-квартире представители Техаса предлагают Ли перейти на сторону Конфедерации (Техас еще не в Конфедерации и даже официально не вышел из Юниона — решение конвенции вступит в силу после референдума 23 февраля). В противном случае он не получит разрешения вывезти багаж. Ли резко отвечает, что он офицер американской армии, и вирджинец, а не техасец. Он оставляет вещи у сослуживца и продолжает свой путь. 1 марта Ли приезжает домой, в Арлингтон, пригород Вашингтона.

4 марта Линкольн вступает в должность президента. К этому времени на Юге почти все укрепления и арсеналы уже в руках Конфедерации. У Юниона осталось два форта на островах в водах южан; один из них — форт Самтер в Южной Каролине.

16 марта командующий войсками Юниона Уинфильд Скотт присваивает Ли звание полковника и назначает командовать престижным 1-м Кавалерийским Полком; 28 марта Линкольн подписывает, а Ли принимает это назначение. Между этими датами у Ли появляется возможность стать генералом. Не спешите проверять даты — речь не об известном предложении Линкольна. 15 марта военный министр Конфедерации Лерой Уокер посылает Роберту Ли официальное предложение звания бригадного генерала — самого высокого в то время в Конфедерации (напоминаю — Вирджиния еще находится в составе Юниона; видимо, это предложение надо понимать как жест миролюбия Конфедерации). Ли на это предложение не отвечает.

Тем временем у гарнизона форта Самтер кончается продовольствие — после инаугурации Линкольн читает полученное накануне письмо командира гарнизона форта, майора Андерсона, с сообщением, что в середине апреля

тому придется сдать форт под угрозой голода. После месяца размышлений и обсуждений (форт блокирован южанами, помощь ему может вызвать военный конфликт) Линкольн решает доставить в форт продовольствие — 6 апреля он уведомляет губернатора Южной Каролины, что будет осуществлена попытка снабжения форта только продовольствием, и не будет попыток доставить туда людей, оружие или снаряжение без предварительного уведомления, кроме случая, если форт подвергнется нападению.

4 апреля конвенция в Ричмонде голосует 88/45 против выхода Вирджинии из Юниона. Ни победа Линкольна на выборах, ни его вступление в должность не стали достаточным основанием для выхода Вирджинии из Юниона. Чтобы заполучить в свои ряды Вирджинию и другие пограничные штаты, у Конфедерации остается последнее средство — война. Об этом открытым текстом заявляет южанам 10 апреля один из их сторонников, вирджинский конгрессмен Роджер Прайор: "Я скажу вам, джентльмены, что приведет ее (Вирджинию) в Южную Конфедерацию меньше чем за час — нанесите удар! В тот момент когда прольется кровь, старая Вирджиния вступит в общее дело с ее южными сестрами."

11 апреля конфедераты предъявляют ультиматум майору Андерсону с требованием освободить форт. Андерсон ультиматум отклоняет — его честь и долг не позволяют ему сдать форт без сопротивления. Конфедераты начинают обстрел форта, гарнизон отвечает выстрелами. 13 апреля Андерсон сдает форт (кончаются боеприпасы и продукты, стены обваливаются), гарнизон эвакуируется на Север.

Тут напрашивается сравнение поведения двух офицеров — Андерсона и Твиггса. У Андерсона было 85 солдат, он оказал сопротивление. У Твиггса — более 2000, он сдался без единого выстрела и стал генералом в армии — южан.

А как бы себя повел в такой ситуации Ли? Вопрос не совсем праздный — с февраля по декабрь 1860 г Твиггс был в отпуске, его замещал Ли. Задержись 70-летний Твиггс еще на пару месяцев, техасской армией Юниона в феврале командовал бы Ли. Он бы выполнил свой долг, как это сделал позднее майор Андерсон (вспомните поведение Ли в Сан-Антонио, при встрече с техасскими представителями 16 февраля). И если заведомо безнадежное сопротивление Андерсона объединило северян, то действия Ли могли вообще предотвратить крупномасштабную войну.

Северные штаты принимают майора Андерсона как героя, публика требует отпора агрессии, 15 апреля Линкольн объявляет набор 75,000 добровольцев — желающих намного больше. Даже демократы Севера, политические оппоненты республиканцев, теперь в основном поддерживают Линкольна.

Конфедерация торжествует — первая военная победа нового государства. Над фортом Самтер еще гремят выстрелы, когда военный министр Конфедерации Лерой Уокер выступает перед ликующей толпой. Он предсказывает, что вскоре флаг Конфедерации будет развиваться над Вашингтоном, а возможно, и Бостоном (столицей Массачусетса, одного из северных штатов). Чтобы оценить масштаб миролюбия новоиспеченного военного министра новоиспеченного государства, стоит взглянуть на карту — между Конфедерацией и Бостоном находятся не только входящие пока в состав Юниона рабовладельческие штаты Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и Делавэр, но и свободные штаты Пенсильвания, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд и Массачусеттс.

В 8-ми рабовладельческих штатах, оставшихся в Юнионе, мнения разделились. 17 апреля конвенция в Ричмонде опять голосует вопрос о выходе Вирджинии из Юниона — на этот раз голоса 88/55 за выход. Призыв Линкольном 75тыс добровольцев (сроком на три месяца) сторонники Конфеде-

рации объявили агрессией и началом войны. Любопытно, что за месяц с лишном до этого, 6 марта, президент Конфедерации Джефферсон Девис затребовал 100тыс добровольцев сроком на год (для сравнения — вся армия Юниона тогда не дотягивала до 20тыс) — однако это назвать агрессией никому в голову не пришло. За Вирджинией последовало еще три пограничных штата. Обстрел Самтера увеличил население Конфедерации вдвое, промышленный потенциал — в несколько раз больше.

Роберт Ли пока не знает результатов голосования. 18 апреля он встречается с Френсисом Блэром, представителем Линкольна. Блэр передает Ли предложение Линкольна командовать всей армией Юниона — Ли отказывается.

По словам Ли, он ответил, что хотя он против выхода штатов из Юниона, он не может участвовать в войне против Юга.

По словам Блэра, Ли сказал, что не сможет воевать против своего штата (он знал, что голосование о выходе Вирджинии из Юниона должно состояться), и не может дать ответа, не посоветовавшись с Уинфильдом Скоттом. Ли служил под началом Скотта во время недавней войны с Мексикой, у них теплые дружеские отношения.

Скорее всего, было сказано и то, и другое — встреча была продолжительной.

В тот же день Ли встречается с Уинфильдом Скоттом и рассказывает ему о беседе с Блэром. Старый генерал говорит своему другу, что если тот не готов стать под ружье в случае войны - он должен уволиться немедленно. В противном случае будет вынужден уволиться, получив приказ, который не собирается выполнять — а это бесчестье для офицера.

Покинув Скотта, Ли встречается со своим братом Смитом; они обсуждают ситуацию, не приходят к окончательному решению и намечают встретиться еще раз для обсуждения.

19 апреля из утренних газет Ли узнает результаты голосования. Это еще формально не выход Вирджинии — решение должно быть утверждено референдумом штата, который состоится 23 мая. Но Ли видел в Техасе, что события не дожидаются референдумов.

20 апреля полковник Ли подает прошение об отставке из армии США, отправляет прощальное письмо Уинфильду Скотту и письмо брату Смиту с объяснением, почему он вынужден уволиться из армии до намеченной ими встречи. Тогда же он пишет в письме к сестре, чьи муж и сын остаются служить Юниону: "Весь юг в состоянии революции, в которую Вирджиния после долгой борьбы оказалась втянутой, хотя я не вижу необходимости в таком развитии событий... Я не могу помыслить поднять руку против моей семьи, моих детей, моего дома. Поэтому я увольняюсь из армии, чтобы иметь возможность защищать свой штат, с искренней надеждой, что моя служба никогда не понадобится".

В тот же день губернатор Вирджинии объявляет набор добровольцев для защиты штата. На следующий день Ли получает приглашение приехать в столицу Вирджинии Ричмонд. 23 апреля он туда приезжает, его тут же назначают командующим войсками штата — это назначение Ли принимает без колебаний. Когда 7 мая Вирджиния будет принята в Конфедерацию, Ли станет генералом Конфедерации. По общепринятому мнению, без военного таланта Ли Конфедерация проиграла бы войну намного раньше.

К концу войны авторитет Ли непререкаем — одна из газет Конфедерации писала: "Нет ничего, в чем эта страна могла бы отказать Роберту Ли". Позд-

но — надо было прислушаться к Ли четыре года назад, тогда б не было ни Конфедерации, ни войны, 620 тысяч южан и северян (2% населения страны) не погибли бы. Ни выход из Юниона, ни образование Конфедерации, ни война не были выбором Роберта Ли.

Генерал Ли еще сделает свой выбор — и его страна пойдет за ним.

К концу войны, в апреле 1865 г, после падения столицы Конфедерации (и Вирджинии) Ричмонда, армия Северной Вирджинии под командованием Ли пытается оторваться от противника и пробиться на соединение с другими армиями Конфедерации. Голодные и разутые солдаты измотаны непрерывными боями на марше с превосходящим противником. После очередного боя Ли просит генерала Вайса, бывшего губернатора Вирджинии, оценить ситуацию:

— Ситуации нет. Ничего не остается, генерал Ли, как посадить ваших несчастных солдат на их несчастных лошадей и отпустить их домой — к весеннему севу.

— Что будет думать обо мне страна, если я это сделаю? — задает Ли вопрос, который вынудил его последовать чужому выбору четыре года назад.

— Страна? Вы для этих людей — страна. Они сражаются за вас.

Командующий северянами генерал Грант присылает предложение начать переговоры о сдаче — Ли отказывается, еще есть надежда пробиться. Это будет чудом, но Ли уже совершал чудеса в этой войне.

9 апреля армия Северной Вирджинии окружена, и уже нет чуда, которое может ее спасти. Ли советуется со своими генералами; молодой Эдвард Александр говорит:

— Мы можем не сдаваться. Мы можем распустить армию, приказать солдатам разбежаться как кролики и фазаны по кустам, и продолжать борьбу.

Это не только мнение молодого генерала — на том же настаивает президент Конфедерации Джефферсон Дэвис, опытный военный, в прошлом военный министр (и неплохой министр) США. Партизанская война — известное и очень эффективное оружие в борьбе с превосходящим противником. Испания таким образом отбилась от Наполеона, родители и деды солдат Ли добились независимости от могучей и до того непобедимой Британской Империи. Таким образом можно еще долго защищать Дело — пока вымотанный противник не потеряет желания продолжать войну и не согласится на приемлемый мир. Но каких еще жертв это потребует от Вирджинии и от всей страны — страшно себе представить.

Ли думает. Ему есть о чем подумать. За время войны Грант заслужил прозвище “безоговорочная капитуляция” — за ответы на вопросы противника об условиях сдачи. Ли, один из немногих южан, кто регулярно читает северные газеты, знает, что на измотанном войной и раздраженном упорным сопротивлением Севере все чаще раздаются требования наказать строптивцев; вице-президент Эндрю Джонсон в недавней речи призывает "Повесить Дэвиса, повесить Ли".

Есть простой и почетный выход — повести в бой солдат, которые слышали о Боге, но смотрят на Ли и ждут его выбора, и погибнуть героем, как многие его генералы. Это выход для генерала Ли — но не выход для его страны, для его многострадальной Вирджинии.

Роберт Ли делает выбор:

— Я должен встретиться с генералом Грантом, хотя я бы лучше умер тысячу раз.

Грант предлагает условия, которых еще никому не предлагали в конце войны:

— Люди Ли разойдутся по домам, с обещанием не воевать. Они не будут сидеть в лагерях, как сидит большинство пленных этой войны.

— Обратив внимание на саблю Ли, которую тот взял с собой на переговоры о сдаче, Грант вписывает в условия, что офицеры южан могут оставить при себе личное оружие.

— Услышав от Ли что лошади в армии Конфедерации, в отличие от Юниона, принадлежат солдатам, Грант разрешает им забрать лошадей — как раз к весеннему севу.

Не много ли берет на себя генерал Грант? Он командующий, но над ним — президент, а Линкольн уже отменял приказы своих генералов (в том числе — Гранта). Нет, не много. Две недели назад Грант встречался с Линкольном, и тот одобрил такие условия.

Угроза виселицы еще помаячит перед Ли. Через пять дней после капитуляции Ли, фанатик Дела известный актер Джон Бут в упор всадит пулю в затылок Линкольна. Президентом станет Эндрю Джонсон ("Повесить Дэвиса, повесить Ли"), Ли грозит суд. За него вступается Грант — Ли оставляют в покое, но восстановление Юга и воссоединение страны началось под руководством Джонсона, а не Линкольна. Америка расхлебывает это до сих пор.

Война между тем подходит к концу. У Конфедерации еще несколько армий — 175 тысяч солдат, внушительная сила, особенно в партизанской войне. Президент Конфедерации Джеферсон Дэвис еще мечется по многострадальной земле своей страны и клянется продолжать борьбу, пока хоть один южанин готов умереть за Дело. Но он давно уже не страна; страна — это Ли. И узнав о выборе Ли, генералы Конфедерации один за другим следуют его примеру.

К чему я все это пишу? Чтобы показать — Роберт Ли не выбирал того пресловутого Потерянного Дела, символом которого его сделали. Он поступал как солдат, которого долг зовет защищать свою страну, оставляя другим политический выбор, куда этой стране идти. Оправдывать этот выбор благородством Ли — красиво, но неверно; Ли был против такого выбора. Будь дело Конфедерации ему близко и дорого — он мог бы еще до войны принять предложение представителей Техаса в феврале, или предложение военного министра Конфедерации в марте 1861 года. Когда Ли делал выбор сам, он выбирал Юнион, а не Конфедерацию. Два десятка делегатов конвенции в Ричмонде, которые сочли, что им по пути в мире — с Юнионом, а в войне — с Конфедерацией, выбрали Конфедерацию для Ли — за него и без него. И в этом трагедия самой красивой легенды американской Гражданской Войны, генерала Роберта Эдварда Ли. Впрочем, не только его. И не только в той войне.

Маргарита Москвичёва. Не о том сидим... Стихи

Маргарита Москвичёва. Родилась в 1960 году в г. Сумы, Украина. Художник, керамист, писа-тель, член Сумской областной литературной студии «Лит-ра.com», активный участник проекта «Сумщина творческая. Культура и искусство», лауреат Международного литера-турного фестиваля «Бумажный ранет-2013» (Москва). Печаталась в журнале «Радуга», всеукраинском литературном альманахе «Каш-тановый дом». Произведения звучали на Сумском областном радио и на радио «Московской правды». Проиллюстрировала и оформила более двадцати книг авторов Сумщины, Киева, Америки. Представляла свои работы на персональных и Всеукраинских выставках, а так же в Швеции в 2013г.

Стихи Маргариты Москвичёвой имеют цвет, краски и колдовство. Любой поэт-мужчина сказал бы, что это сугубо женское творчество. Я бы добавила, что это строки из безвременья, любви и лилового тихого звучания. Мне кажется, что строки стихов этого Автора рассыпаны по полю лепестками роз синих, фиолетовых до темного, практически чёрного бархатного и ты идёшь по ним, боясь спугнуть, всколыхнуть нежность звучания. Стихи, написанные шёпотом.

Ирина Жураковская

***

Мне к отчему дому позволят добраться однажды,
И в отчем саду разрешат все черешни собрать.
И розовый змей, улетевший, весёлый, бумажный,
Появится в небе и тот час исчезнет опять.

Зашторю все окна, закрою все ставни и двери
И свет не включая, прилягу на старый диван.
Приму, как находку всё то, что считала потерей,
И правда развеет обмана былого туман.

Я будто в плену у нездешних, но явственных действий,
Настолько реальных, что в мире реальнее нет:
Всё мило, по-доброму, мягко и нежно — как в детстве.
И в парке акаций обратный теряется след.

***

Забиться бы в угол Вселенной,
Укрыться от знойных лучей.
Ни злом не томиться, ни негой,
И стать ни своей, и ничьей.
По миру скитается Вечность.
Полмира окутала мгла.
Забиться б как в угол запечный,
Но нет у Вселенной угла.

***

Не о том сидим, не о том…
Молча дуем на чай, вздыхая.
Предпоследний читает том
Нам о памяти ложь седая.
Стукнет ворон в стекло окна –
Вряд ли мы этот стук услышим,
Потому что подсела к нам
Тьма, которой мы сладко дышим,
И глаза застелила сном.
За стенами простор бездонный…
Не о том молчим, не о том…
Чай в стакане — совсем холодный.

***

Померкла страсть в ночном кошмаре снов,
и выцвел день от суетного света.
Манящий призрак с коробом даров…
и тонкий лучик ультрафиолета –
коснётся тайна мира забытья,
и всколыхнёт застывшую простуду.
Прохожий крикнет вдруг:
— А это чья
парит судьба?..
И ветер отовсюду!
И листья осени со всех сторон летят,
заполоняя всё вокруг пространство,
и одинокий май, забредши в сад,
украсил яблони своим непостоянством.
А ночь гудит…
А пепел сыпет страх…
В ручьях вода застыла в одночасье…
А высоко над миром, там, в горах,
за всем спокойно наблюдает счастье.

Ещё не время собирать слова,
Разбросанные в отчаянии.
Печаль бывает и неправа,
Но тем печальнее…
Своей же памяти трудно врать,
А в омуте чувств не бывает мели.
Ещё не время слова собирать –
Они не полностью окаменели.

***

Охлаждённый коктейль нелюбви
В тёмно синем бокале истомы.
Равнодушно руками обвив,
Я тебя не пускаю из дома.
Хмурый занавес скудных обид
Заслоняет иллюзию света.
Мой сосуд для терпенья разбит…
Только стоит ли снова об этом?..

***

Опустела ночь… Устали взгляды
От бесплодных поисков друг друга.
Праздничные спрятаны наряды.
Призрачные дни летят по кругу.
Где же взяться маленькой надежде
В то, что всё из лучших побуждений
Происходит рядом. Всё, что прежде
Пережито — вихри наваждений.
Может быть и вовсе нету смысла
Собирать дожди в пустой колодец.
Чувства, может, были бескорыстны,
Но в душе предательски кололись,
А потом: раз-два и растерялись.
Собирать — кому всё это надо?
Зря тогда утраты не боялись….
Опустела ночь… Устали взгляды.

***

Пусть по каплям стечёт дождь
В потемневший сосуд дня,
А пустая совсем ложь
Растечётся, себя мня
Величайшей судьбой тех,
Кто её воспевал вслух,
Позабыв, что она — грех,
Породивший себе слуг.
Покачнётся небес высь,
Расплеснётся обид грусть…
Чудеса восхитят жизнь
И не сбудутся — что ж, пусть…

***

Всё простит, остывая, осень.
Всех помянут зимой морозы.
А весной разобьются оземь
Неоправданные прогнозы.
Заскулит в подворотне шавка —
Ей и летом согреться негде.
Не понять — и кого всем жалко:
Кто кусает или кто съеден?
Всё мелькнёт перед взглядом сфинкса,
Да исчезнет, как ни бывало…
И талантливая актриса –
Зря поёт для пустого зала.
Много счастья в минуте лета,
Мало ветра в удушье зноя…
Бесполезно писать про это,
Всё равно все прочтут иное.
Разлетелась по небу стая…
Опустились на травы росы…
Как же всё-таки все устали
На ответы давать вопросы.

***

Я хочу, чтоб вечер на закате
Обозначил контур бытия,
И меня в лиловом лёгком платье,
И восторг, в предчувствии тебя…
Всё померкнет, кроме очертаний
Главных форм, и страсти все — долой.
Из числа загаданных желаний
Сбыться суждено мечте одной.
Тонкий лоск закатного шифона
Подчеркнёт полёт высоких чувств,
И дыханьем звука саксофона
Растечётся временная грусть.
Пониманье тленности материй…
Оправданье призрачных идей…
Отблеск угасающих феерий —
Крылья для фантазии моей

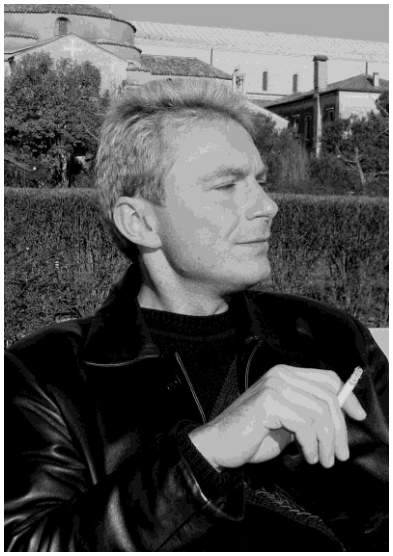
***

Горели вполнакала лампы люстры,
И тюль вдали дрожал от сквозняка,
Мне показалось, будто всюду пусто…
А может, знала я наверняка,
Что всё вокруг отнюдь гроша не стоит,
И этот миг — притворно сиротлив.
Ты убеждал: — Не стоит замки строить.
И я поверила, слезы не уронив.
Я поняла, что ты знаток в искусствах,
Но некрасив восторг твой напускной.
Не глубоки, как видно были чувства –
Не утонула в них я той весной.

***

В канун снегопада мы взглядом коснулись друг друга,
И робко, несмело, не смея слова уронить,
Смотрели сквозь день, сквозь друзей, до немого испуга,
Боясь — не удастся нам это надолго продлить,
Казалось, лишь взгляд отвести — и растает навеки
Твой образ напротив, и мой, точно так — для тебя.
Я помню тогда, у тебя еле вздрогнули веки,
И я всё боялась моргнуть, шаль свою теребя.
Фонтаны страстей отшумели, остыли туманы…
Короткая память всю прозу развеяла в прах.
Шутливо звучит в исполнении скрипки с органом,
Не очень-то шуточный, но изумительный Бах.

Роман Михеенков. Личная песенка. Романс.



Роман Михеенков — человек эпохи Возрождения. Писатель, драматург, режиссёр, журналист, композитор, продюсер. Поискав о нём информацию в интернете, не всегда можно поверить, что всё это написано про одного и того же человека. Но обо всём по порядку.

Сначала была музыка. Мальчик, в четыре года оказавшийся за пианино, спустя двадцать лет подарил родителям диплом института имени Гнесиных и долго не мог даже слушать музыку. Дело не только в переизбытке нот и звуков. В 90-е у человека с аккордеоном было две дороги: на сцену ресторана или в подземный переход. Подробно прогулявшись по обеим дорогам, Роман оказался на телевидении. Случайно, но надолго. Это были замечательные годы, когда в России существовал миф о свободе слова и иллюзия журналистики. «До и после», «Панорама», «Утро» и множество других программ. Но в декабре 1999-го руководство РТР озвучило имя следующего президента. Пришлось вежливо попрощаться с коллегами и уйти с телевидения. Как выяснилось, не зря. Реклама, «Ералаш», бизнес-видео — что еще может делать телевизионщик, существующий в свободном полёте? Роман оказался последним режиссёром, снимавшим «Ералаш» на киноплёнку и монтирующим сюжеты с ножницами и скотчем. Дальше наступила цифровая эпоха с компьютерным монтажом. А режиссёр Роман Михеенков снял свой первый фильм «Есть тема!», номинированный на международном кинофестивале «Золотой Георгий» в Киеве, как лучший фильм для подростков. На картине, снятой по заказу фонда «Здоровая Россия», Роман был продюсером, режиссёром-постановщиком, соавтором сценария и автором саундтрека. Получился отдельный диск с восемью песнями из фильма. Музыка вернулась неожиданно, но процесс её создания доставил автору удовольствие. Потом была написана музыка к спектаклям и рекламным роликам. Параллельно Роман придумал и провёл Первый Московский фестиваль этнической музыки «Что ЭТнО?» в саду «Эрмитаж». Неожиданная и очень интересная история — целый день удивительной музыки под открытым небом и поздравления от Питера Гэбриэла. Увы, но закон, ограничивший рекламу табака, лишил спонсоров возможности провести второй фестиваль. Потом — обучение на режиссёрском факультете Щукинского училища, в жизни Романа Михеенкова появился Театр. Интересно, что один из экзаменов при поступлении сыграл неожиданную роль — «Режиссёрское сочинение» по окончании института превратилось в рассказ, который уже десяток раз опубликован по всему миру и принёс Роману звание лауреата литературных конкурсов. Дальше — спектакли «Дочь Альбиона» по Чехову, поставленный в Щукинском училище, «Портрет Дориана Грея» по Уайлду — в театре Намина, «Час Прометея» по собственной пьесе, «Фунт Правосудия» по «Венецианскому купцу» Шекспира в декабре 2014 г. номинирован на премию Московской Хельсинкской группы. Одновременно с этим сразу несколько постановок другими режиссерами пьесы Романа Михеенкова «Лунные зайчики», принесшей автору диплом международного конкурса драматургов «ЛитоДрама». Из рассказов, опубликованных в журналах по всему миру, сложилась книга «Упражнения на развитие беглости». Некоторые из рассказов сделали автора победителем и лауреатом международных литературных конкурсов. Почти фантастическая повесть «Кот доступа» — первая крупная работа Романа Михеенкова. Автору удалось легко и интересно рассказать о самом главном. А заодно и открыть новый жанр литературы — фантастический гуманизм. Книга сделала автора лауреатом конкурса Международной гильдии писателей.

Читая «Личную песенку», я испытывала такие разные чувства — хотелось возразить, что всё не так, или хотя бы, не всё так грустно. Или, что это не про Россию и так никогда не будет. И что, кроме диссидентских, есть множество других мнений. Но, единственное, о чем могу сказать с уверенностью: автор и сам не понял, как больно читать его рассказ, как неоднозначна и катастрофична тема, как хочется поспорить и доосознать прочтённое. И как остаёшься в горьком недоумении от испытанных разорванных чувств. Для меня успех автора — это когда окончив чтение, ты взорван внутренне и разбалансирован в эмоциях. А вроде бы — песенка звучала тихо и медитативно.

Ирина Жураковская

— Молодой-красивый-неженатый-позолоти-ручку-всю-правду-скажу, — солнечный лучик скользнул по золотым зубам склонившейся ко мне цыганки и затерялся в сакральной скороговорке.

— Табор… иди ты в небо… — попытался я найти максимально вежливый отказ, но на высоте нескольких километров это прозвучало довольно двусмысленно.

— Выпьем за Гаааааааагу, Гаагу дорогую. Свет ещё не видел красивую такую, — гадалка встряхнула плечами и присоединилась к цыганскому ансамблю, шумно кочевавшему по салону самолета.

Несколько спецрейсов «Лондон — Москва» возникло в расписании аэропорта Хитроу исключительно для русских эмигрантов, возвращавшихся на родину. Праздновать начали ещё в дьюти-фри, и в самолёте многие оказались не очень трезвыми. Службы аэропорта и экипаж не стали ограничивать наше ликование рамками приличий или элементарной безопасности. Англичане разделяли эту радость, кроме того, сами были счастливы избавиться от непоседливого сонмища русских беженцев. Табор в самолёт притащил некогда проворовавшийся чиновник, активно изображавший правозащитника и жертву кровавого режима. Он барином восседал в бизнес-классе, время от времени принимал от цыган хрустальный лафитник водки и подпевал мимо нот.

— Трёшник за коммент в фейсбуке чалился! — гордо выпрямился в кресле через проход от меня небритый диссидент и припал к горлышку бутылки.

— Странно, мне четыре за перепост впаяли. За комменты же больше давали? — удивился его сосед, постаревший мальчик из хорошей семьи, и протянул выпившему надкушенный сендвич.

— Ты меня уважаешь? — поинтересовался диссидент, брезгливо покосившись на буржуйскую закуску.

— У тебя уже десять минут мой запрос в друзья висит, открой фейсбук — посмотри! — потянул руку к водке «хороший мальчик».

Оба были уверены, что возвращаются домой благодаря нажатиям пальчиками на соответствующие кнопочки компьютера. Именно они те Давиды, что написали в интернете под фотографией Голиафа обидные слова, положившие конец его могуществу.

Наблюдать за пассажирами самолёта было и забавно, и больно. Анекдоты, смех, воспоминания, тосты слились в общую радость. Фальшивую и наигранную. За любым её проявлением чувствовались слёзы и страх. Понять природу этого страха было несложно. Если говорить обо мне — я боялся

неизвестности, новых правил игры, мне было страшно увидеть руины на месте моего дома. Больше всего пугало понимание, что ничего на родине измениться за такой короткий срок не могло, а я зачем-то пустился в этот экстремальный тур. Хотя, в сравнении с остальными, мне повезло: никто меня не ждал, никто из близких не мог погибнуть. Их просто не было. Другие пассажиры, на несколько лет лишённые любых контактов с оставшимися в России, могли вернуться и на похороны, и на могилы. Связи с родиной не было почти три года. Телефоны, интернет, почта — всё было напрочь обрублено. Второй железный занавес оказался гораздо плотнее первого. Ходили разговоры, что связь с миром в России восстановят со дня на день, но это обещание прозвучало ещё неделю назад.

— Вы не знаете, а «Оперетта» сохранилась, её не взорвали? — прозвенело на весь салон дрожащее сопрано златокудрой певицы, истосковавшейся по вниманию.

— О, вы там пели? — восхищённо захлебнулся сидевший рядом с ней молодой человек.

— Я заслуженная артистка… — растаяла в улыбке дива.

Что же мы себя мучаем?
Мы ведь жизнью научены...

«Личная песенка» Вертинского заставила меня обернуться. В конце салона вокруг парня с расстроенной гитарой сбилась стайка поклонниц. Подглядывая в текст на экран планшета, он проникновенно картавил самые мрачные песни выдающегося менестреля эмиграции.

Мы с тобою гибнем разно.
Несогласно, несозвучно,
Безысходно, безобразно,
Беспощадно, зло и скучно.

Каждый по-своему пытался сдержать слёзы и отогнать страх. Пили за окончание войны, за свержение кровавой хунты, за падение второго железного занавеса, за открывшуюся возможность жить на родине и делать для неё всё лучшее, на что только способны.

— Я разработал систему эффективных солнечных батарей, самонастраивающихся под все типы российского климата, хочу внедрить в производство. Англичанам не продал, ждал, когда на родине наступят перемены, — показался между креслами передо мной молодящийся Эйнштейн.

— Я везу проект двигателя, работающего на вредных веществах, содержащихся в атмосфере. Он перерабатывает их в кислород, — материализовался над спинкой моего сиденья мужчина с кудрявыми пшеничными баками.

В их глазах светились замысловатые формулы и любовь к родине. Или любовь к родине в формулах? Патриотичные изобретатели распушили перья, естественно, не для меня — рядом со мной девушка с аристократическим профилем листала карманный томик Куприна. Сама ситуация, когда двое мужчин очаровывают даму не деньгами или их вещественными выражениями, а научными открытиями, мне нравилась. Если бы не одно «но». Я тоже томился желанием расправить хвост, но предъявить, кроме

трёх опубликованных небольшими тиражами книг, было нечего. Для соперничества с двумя изобретателями, а уж тем более с Куприным, казалось негусто.

— А что везёте вы? — показалось, что адресованный мне вопрос она задала, чтобы избавиться от изобретательских ухаживаний, что меня весьма обнадежило.
— Счастье… — попытался заинтриговать девушку.
— В виде формул или опытных образцов?

Решающий момент наступил довольно неожиданно. Если я отвечу ей столь же иронично — всё ограничится иронией. Раскрою душу — пятьдесят на пятьдесят: либо добьёт колкой фразой и вернётся к чтению, либо…

— Я, как подопытный кролик, инфицирован счастьем, из моей крови можно будет сделать препарат и заразить всех, — третий вариант ответа отпугнул изобретателей и захлопнул томик великого писателя.
— Давно не были дома?
— Два года, три месяца и семь дней. Пришлось бежать, когда мою книгу издали в Лондоне, — ненавязчиво представился я.
— Вы писатель-диссидент?
— За меня так решили.
— А кем вы себя считаете?
— Не знаю, ни разу себя не считал, — вдруг выяснилось, что я волнуюсь — несколько лет не знакомился с девушками, даже не смотрел на них.
— А за что конкретно попали в немилость? — она предоставила мне возможность рассказать героическую историю.
— Написал, что любовь — это невозможность войны, — от смущения героической истории рассказать не получилось.
— Вам повезло, тогда за это могли и...
— А вы давно из Москвы? — соскользнул я с неприятной темы.
— Не очень. За два дня до взятия кремля меня родители вывезли в Китай по туристической путёвке, а до Лондона я добралась как раз к объявлению Гаагского трибунала.

ххх

Много месяцев подряд русские беженцы в Лондоне ждали новостей с заголовками о «взятии кремля» и «объявлении Гаагского трибунала». Мы набрасывались на любую весточку, просочившуюся с родины. Информация недельной давности о стоимости хлеба в московских продуктовых распределителях затмевала новости о биржевых котировках. Каждый бежавший из России становился популярнее самой яркой кинозвезды. В его честь устраивались не только обеды и ужины, но и целые творческие вечера. Беглеца сажали на самое видное место и внимали каждому его слову. А вдруг кому-то из твоих удастся так же бежать? Он же смог… В отсутствии информации с родины люди цеплялись за каждую деталь, каждую байку, каждую сплетню.

Эмигранты оказались в ситуации цугцванг. Организовать армию, взять оружие и пойти убивать своих соотечественников мы не могли. Просить военной помощи у иностранных государств — означало убивать своих

чужими руками. Оставалось сочувствовать родственникам погибших и сходить с ума от бессильной ярости.

Наше непротивление злу насилием было не менее бесчеловечным и подлым. Мы выжидали, когда холодильник победит телевизор. Когда голод станет сильнее пропаганды. Мы желали лишений тем, кто не уехал, чтобы они, наконец, проснулись. Проклинали инертность мышления абстрактного народа и беззвучно рыдали по каждому человеку.

ххх

— Кто ждёт вас дома? — я с опозданием понял бестактность своего вопроса.

— Мама и сестра… если живы…

— Простите… я имел в виду…

— Я могу попросить в подарок вашу книгу с автографом? — девушка снова спряталась от страха за светской беседой.

— Конечно! Мне очень интересно ваше мнение, — извлёк из портфеля книгу. — Ваше имя?

— Анастасия. Настя.

— Писателю очень просто знакомиться, — улыбнулся я.

— Да, Андрей Корский, — прочитала Настя на обложке.

— Готов выслушать мнение читателя за ужином в ближайшие дни.

— Читатель не возражает.

— Только вам предстоит выбрать ресторан, я очень давно не был в Москве.

ххх

В Лондоне мне всё время было холодно. Постоянно хотелось напиться, но алкоголь только усугублял тоску и внутреннее обледенение. Сначала списывал непроходящий озноб на перемену климата, но потом осознал, что виной тому какая-то неприятная вибрация в области солнечного сплетения.

Вибрация порождала по-бунински сопливые реминисценции. Московская зима, которую я всегда терпеть не мог, вспоминалась «селёдкой под шубой», бесконечное стояние в пробках — возможностью поговорить с памятником «сидячему» Гоголю на Никитском бульваре. У меня была традиция: каждый раз замирая в веренице машин напротив памятника, я махал ему рукой и передавал привет от Пушкина. Сознание горстями зачерпывало из памяти самые неожиданные воспоминания. Всё неприятное утекало сквозь пальцы. Подлецы и предатели были оправданы или помилованы.

ххх

— Без очереди, кто желает без очереди? — вдоль вереницы чемоданов прогуливался мужичок в форме пограничника.

Увидев заинтересованность в моих глазах, он кивнул в сторону двери с надписью «stuff only». Мы с Настей прогулялись вдоль очереди, сделали вид, что двигаемся к туалетам и проскользнули в заветную дверь.

— Вам первый выход или второй? — поинтересовался ушлый пограничник.

— В каком смысле? — удивился я.

— Первый — это в министерство Люстрации, второй — в министерство Покаяния.

— Ничего не понимаю, — я насторожился.

— Чего непонятного? Утром вышел указ, что все граждане должны пройти эту, будь она неладна, люстрацию, или покаяться.

— В чём покаяться? — удивилась Настя.

— А хер знает, вот, в газете напечатано, — таможенник протянул мне газету «Голос свободы».

«Указом переходного правительства все граждане российских автономий должны незамедлительно явиться в местные подразделения министерств Люстрации и Покаяния…».

— Бред какой-то… — Настя подняла глаза от газеты.

— Бред — не бред, а те, которые эмигранты — первым делом в министерство Люстрации — потом каяться, а которые свои — сначала покаяться, что жили при бандитском режиме, и только потом люстрация. Нам приказали из аэропорта автобусами вывозить. Вы у нас из которых?

— Хотите взять с нас деньги, чтобы скорее отправить не пойми куда?— я готов был дать ему в лоснящуюся морду.

— Желаете — стойте, а так всего по сто баксов с носа, — протянул руку таможенник.

— Пошёл ты, — я увлёк Настю вон из комнаты.

Очередь уже вовсю обсуждала новость. Кто-то успел позвонить родственникам или знакомым. Кто-то выстраивал предположения, опираясь на воображение и мрачный советский опыт. Настя до своих дозвониться не смогла.

— Давно надо было покаяться, ещё за кровавый сталинский режим, — одобрительно журчала дама пост-постбальзаковского возраста.

— Так люстрация же для чиновников, мы здесь при чём? — недоумевал господин с массивной тростью.

— Велено взять с собой все деньги, нам откроют счета в едином государственном банке и туда их положат, мне сын сказал, — кудахтала дама в леопардовом палантине.

— Что мы гадаем? Закон только сегодня утром приняли, — пытался изображать спокойствие тенор с харизмой звезды провинциальной филармонии.

Ни одного свидетельства человека, прошедшего процедуры покаяния и люстрации, я не услышал. Наша очередь в испуге фантазировала на тему слухов. Не всем понятное слово «люстрация» трактовалась напуганными людьми в диапазоне от порнографии до инквизиции.

ххх

— Какая люстрация, дорогой Андрей Петрович, о чём вы? — три года назад вопрошал меня усталый следователь Скобляков с повадками проспавшего Сенатскую площадь декабриста.

— Это же разумно и естественно, — в очередной раз отвечал я.

— Вы талантливый писатель. Я зачитываюсь вашими книгами. Цитирую. И наверху вы один из самых любимых писателей. Вы им дерьмо на голову льёте, а они вас с удовольствием читают. Как учебник по борьбе с предателями России. Зачем вам всё это? Пишите о любви к родине, о любви к женщине.

— Я весьма продажен, гражданин следователь, готов писать за деньги. Устал от нищеты. Только вы нанимаете в писатели быдло, брызжущее патриотической слюной, а на качественную патриотическую литературу у вас денег нет.

— Наше быдло предсказуемо. Ляпнет какой-нибудь идиот про «чёрную сперму фашизма» — сколько народу радости. А ваша любовь к родине выражается не совсем правильно. Если первое условие счастья для России — свержение действующей власти — какой же это патриотизм?

— А вы видите другие варианты? — мне было действительно интересно, что он ответит.

— Не вижу, естественно, но что это меняет? Думаете, я идиот? Отнюдь, Андрей Петрович. Я всё вижу и всё понимаю. Только перемены вынудят меня и многих моих коллег суетиться, перестраиваться, учить новые лозунги. Но мы будем всегда. Мы вечны. К чему тогда перемены? Только головная боль. Любите родину как-то иначе.

— А на сколько лет тянет моя любовь к родине?

— Каких лет… Уезжайте. С удовольствием буду читать на досуге ваши книги. Только не возвращайтесь. Заклинаю вас! Даже если всё изменится. Никогда! Как поклонник вас прошу.

ххх

Ближе к выходу из аэропорта стало окончательно понятно, что нас с Настей разлучат. Ей, как «соучастнице кровавого режима» предстояло отправиться в министерство покаяния, меня, как эмигранта, отправляли сразу в минЮстр. Мы обменялись номерами телефонов, договорились созвониться, как только пройдём все предписанные новой властью процедуры. Подойдя к рамке металлоискателя, Настя обернулась. Её улыбка была удивительно нежной и по-детски растерянной. Я мучился, пытаясь найти слова, не нашёл и обрадовался, когда охранник пригласил меня к другому выходу.

— Куда нас везут? — полюбопытствовал благообразный дедушка, напоминавший сельского священника.

Крупный охранник с автоматом на груди проигнорировал вопрос.

— А почему вещи в отдельный автобус? У меня там лекарства! — защищала свою сумку дама в леопарде.

Другой охранник молча вырвал сумку из её рук и подтолкнул женщину к автобусу с зарешеченными окнами.

Дорога от Шереметьево до Москвы была абсолютно свободна. Навстречу попадались только пустые автобусы. Возвращения в любимый город я ждал с каким-то юношеским трепетом. Как второй близости с женщиной. Когда теряешься в догадках: понравилась ли ей первая, и случится ли ещё раз.

Когда мы пересекли кольцевую, сознание отказалось воспринимать реальность. Меня не тронули последствия войны: вывороченная тротуарная плитка, разбитые витрины, сгоревшие автомобили. Я смотрел в окно, индифферентно фиксируя потери и чудом спасённые здания. Маршрут был довольно замысловатым — дорог почти не осталось. От Шаляпинского дома у американского посольства остался только фасад. Когда-то в нём располагалось диссидентское кафе «Печеньки». Вывеска сохранилась фрагментарно. «…фе Печень…». В этом заведении было столько выпито, что такое название показалось более точным. Мы развернулись перед

Калининским проспектом и ушли на Герцена. Я переживал, сидит ли по-прежнему Гоголь на Никитском. Когда наш автобус свернул на бульвары, появилась надежда, что смогу в этом лично убедиться.

Центр Москвы, практически уничтоженный бандитами до их свержения, окончательно сравняли с землёй уличные бои. Ещё до моего отъезда активно уничтожали Ордынку, Садовническую, Дмитровку, Арбатские переулки, а теперь не осталось ничего. Пошлого новодела, возникшего на месте исторических зданий, было не жалко. Развалины не оскверняют город. А Москва и не такое переживала.

— Моего дома больше нет… — глядя в окно, прошептал мой сосед по лавке — мужчина средних лет с дрожащими руками, по его щекам текли слёзы.

Николай Васильевич куда-то исчез. На его месте из земли торчала огромная фаллическая инсталляция, ощетинившаяся острыми железными заусенцами — вход в метро, если верить букве «М» на головке. Искусство победившего быдла. Вставили нам, Николай Васильевич, как вы и обещали…

На Комсомольской площади стояло несколько десятков автобусов с решётками. Из них под конвоем выводили людей, вели в здание Ярославского вокзала. На вопросы никто не отвечал, будто все охранники одновременно забыли русский язык.

Над стойками, где раньше продавались билеты, висели транспаранты «Покаяние — залог люстрации» и «Люстрация остановит коррупцию».

ххх

После оглашения приговора трибунала в Гааге к России осталось всего два требования: люстрация и покаяние. Оба радовали своей разумностью и надеждой на будущее. Раскаявшаяся в помрачении Гитлером Германия была замечательным примером. Эмигранты спорили: каяться за почти сотню лет оптом или по каждому пункту. Доходило до потасовок в лондонских питейных заведениях. Романтики, дышавшие полной грудью в девяностые, отстаивали иллюзии тогдашних перемен. Антисоветчики со стажем заступались за Горбачёва, развалившего, по их мнению, империю зла. На счёт люстрации не спорили вовсе. Она казалась настолько очевидной необходимостью, что быстро наскучила и вспоминалась только в тостах и частушках.

Не пиши мне в инстаграм,
Без люстрации не дам!

Опальный бизнесмен Сетчиков открыл в центре Лондона ресторан «Покаяние». Некогда придворный олигарх Озерович тут же открыл напротив паб «Люстрация». Оба заведения процветали. Одновременно, кто-то неглупый наладил выпуск футболок с надписями «Pokayanie» и «Ljustratsia». Эти слова стали брендами, как в восьмидесятые «Perestroyka» и «Glasnost».

Прямая трансляция приговора гаагского трибунала ещё не закончилась, а в кассы авиакомпаний уже выстроились очереди. Мне удалось купить билет только поздним вечером, с вылетом через неделю.

ххх

— Я готов раскаяться в своём политическом безразличии. Не ходил на выборы, не принимал участия в митингах оппозиции. Считаю себя

виновным… — с воодушевлением начал интеллигентный мужчина средних лет, подойдя к транспаранту «Покаяние — залог люстрации».

— Куда гонишь, дядя? — жестом остановил его хмурый мужчина в военной форме с погонами лейтенанта.

— Полагаю, что во всём произошедшем есть и моя вина! — не теряя градуса, продолжил кающийся.

— Ты мне скажи, кроме вот этих документов на квартиру, у тебя ещё что-нибудь есть?

— При чём здесь это? — искренне удивился мужчина.

— При том. Всю собственность по новому закону надо перерегистрировать, а деньги перевести в единый банк, — монотонно объяснил человек в форме, чувствовалось, что эту фразу он произнёс уже несколько сотен раз.

— У меня есть акции нефтяных компаний, — дрожащим голосом произнёс мужчина, будто раскаиваясь в смертном грехе.

— Это мы знаем, можешь ими подтереться. Проходи, — широко улыбнулся лейтенант.

— Подождите, мне же ещё в министерство люстрации.

— Считай, что тебя уже отлюстрировали. Не задерживай очередь. Следующий!

Пока подошла моя очередь, многое стало понятно. Новости на мониторах в здании вокзала и разговоры у стоек позволили составить картину происходящего. Оказалось, едва наш самолёт вылетел из Хитроу, Россию покинули последние солдаты миротворческого контингента ООН. Мир получил гарантии поставок почти бесплатных энергоносителей и невмешательства в дела соседних государств. Судьба жителей России, естественно, никого не интересовала. Удовлетворённому мировому сообществу, как всегда, хватило демократических лозунгов на футболках.

За выполнение обязательств перед ООН взялись задорные революционеры из бывших гебешников. От них тошнило ещё до эмиграции. Уже к обеду были организованы два главных органа власти, и началась новая жизнь. Министерства люстрации и покаяния различались только названиями. Работали они с одной целью: выявить у граждан собственность, перевести все их деньги на счёт в загадочном банке и выслушать донос на друзей или знакомых.

Хотелось обидеться на самого себя за глупость, хотелось плакать от этой обиды. Зачем я вернулся? Пособия политэмигранта хватало не только на оплату квартиры, еды и прочих необходимостей, но и на ежедневную выпивку. Писалось с каким-то животным наслаждением: когда ты лишён антагониста в лице карательной системы, начинаешь проявлять интерес к человеку. Не к борцу — герою, а просто человеку. Его маленькой жизни в огромном мире. Крошечному счастью в контексте Вселенной.

ххх

Года два назад возле кафе «Покаяние» я обрёл неожиданного собутыльника — пакистанского эмигранта Свами Баба. Тридцатилетний выпускник университета им. Патриса Лумумбы зарабатывал на жизнь лекциями о просветлении. Взяв за основу метод самого ушлого «просветлителя» — Ошо Раджниша — он продавал непритязательной лондонской публике мудрость Будды по цене открыток с Биг Беном. Думаю,

имя Свами Баба было его творческим псевдонимом. Наше знакомство началось довольно забавно.

— Вы проливаете воду мимо губ, — внимательно глядя на мою сигарету, обратился ко мне бритоголовый загорелый мужчина в белых одеждах, когда я вышел покурить из кафе на улицу.

— Зато не промахиваюсь мимо писсуара, — я закашлялся и выбросил окурок точно в урну.

— И удовольствия не испытываете, — пожал плечами незнакомец.

— Хотите склонить меня бросить курить?

— Зачем? Вы и без того не курите. Просто вставляете сигарету в рот, поджигаете, вдыхаете смолы и никотин, потом выбрасываете окурок. Не заметил, чтобы вы курили.

— Не я курю сигарету — сигарета курит меня, — попробовал отшутиться я.

— Иллюзии заслоняют свет…

— Я курю ради тьмы, если верить рентгену лёгких.

— Ещё одно заблуждение. Природа Вселенной — стремление к просветлению, — серьёзно проговорил загорелый, едва заметно поклонился и собрался уходить.

— У вас есть рецепт просветления через сигарету? — мне почему-то захотелось остановить его.

— Всё просто: если сконцентрироваться на процессе, превратиться в аромат табака, вы испытаете наслаждение, а вредная, на взгляд непосвящённых, привычка станет медитацией, — человек в белых одеждах закрыл глаза, будто представляя путь дыма по дыхательным путям.

— Если с алкоголем так же — я ваш ученик, — я протянул руку.

Пригласил учителя выпить. На второй бутылке водки я понял, что Свами Баба создал самое грамотное, на мой взгляд, учение. В нём было всё: от иудо-христианских спекуляций на страхе перед смертью до оправдания эпикурейского разврата жителя современных мегаполисов. Формулировалось учение довольно просто: «Всё что ты делаешь — делай с наслаждением и во имя света». Становись вкусом вина, обманом налоговой инспекции, музыкой Баха, борьбой с несправедливостью.

— Старайся не убивать, не совращать малолетних и не распространяй наркотики, — очертил Свами Баба круг смертных грехов.

Мы встречались каждую пятницу. Свами расширял границы моего сознания, я размеры его печени.

— Видишь ли, Андрей, наслаждение, о котором мы так часто говорим — результат концентрации. А на чём ты, в самом деле, концентрируешься?

— Как на чём, на процессе, которым наслаждаюсь, — меня удивила необходимость констатировать очевидное.

— А с кем происходит этот процесс?

— Со мной и сигаретой, со мной и книгой, которую я пишу.

— Когда куришь сигарету — ты становишься её ароматом. Тебя уже нет. Есть аромат. Ты докурил и?.. — учитель внимательно посмотрел мне в глаза.

— Появляется следующий процесс…

— И ты снова думаешь, что это ты. А это процесс. Книги зачем пишешь? — поинтересовался гуру.

— Если объяснять просто и честно — я больше ничего не умею. Если поглубже — чтобы рассказать человеку, как он прекрасен… Точнее, каким может быть…

— Пока человек чувствует боль — он жив. Пока человек чувствует чужую боль — он человек? — иронично улыбнулся Свами.

— Разве это не так?

— Процесс сострадания ничем не отличается от процесса курения. Они просто сменяют друг друга. Когда нет ничего, кроме процесса… Иначе, сострадание никогда бы не стало вывеской на складе оружия. Любая война подразумевает процесс оправдания.

— А мне оправдание ты найдёшь? — я готов был дать ему по морде, терпеть не могу людей, иронизирующих над состраданием.

— Сейчас ты осознаёшь себя желанием ударить меня, через минуту станешь сожалением по этому поводу. Это всё сиюминутные заблуждения. Я читал твои книги, Андрей. Ты — сплошной процесс поиска боли. Прерываешься только на покурить. И то, потому что я тебя научил.

— Как называется твой процесс? Ты меня разводишь и получаешь удовольствие? — я с трудом вернул себе самообладание.

— Что изменится, если я произнесу слово? Тебе всегда нужна была боль, чтобы писать. Сейчас, когда ты понял, что тебя на самом деле нет, будешь искать боль, чтобы об этом не думать.

— Да, буду каждый вечер нарываться на драки в портовых кабаках.

— Хуже… Ты вернёшься в Россию при первой возможности.

ххх

На перроне людей подробно обыскивали и по неизвестным для меня критериям отправляли в тот или иной вагон. Я обратил внимание, что таблички, на которых обычно значатся пункты отправления и прибытия отсутствуют. Куда можно попасть с Ярославского вокзала? Мурманск? Архангельск? Воркута?

— Не подскажете, куда идёт этот поезд? — обратился я к человеку в форме, стоявшему спиной к нашей очереди.

Он обернулся. Следователь Скобляков, как и обещал, нашёл своё место при новой метле. Хотя, такая ли она новая?

— Я же просил вас, Андрей Петрович… — одними губами произнёс бывший следователь, отвернулся и скрылся в здании вокзала.

Плацкартный вагон поезда больше напоминал банку консервов «Килька в томате»: заняты были не только все пригодные для сидения и лежания поверхности, но и пол. Пахло парфюмерной какофонией и немытой человечиной. В тамбур нас набилось человек пятнадцать, я оказался придавленным к закрытой двери между вагонами.

ххх

Недавно в поезде Лондон — Ливерпуль я познакомился с потомком русских эмигрантов, бежавших сто лет назад через Константинополь. Отпрыск небогатого дворянского рода, англичанин в третьем поколении и преуспевающий адвокат всю дорогу расспрашивал меня о родине. Сам он ни разу не был в России. Объяснил, что не хочет разочаровываться. Он знал родину по мемуарам деда — артиллерийского офицера, видел реальность в изложении телевизионной пропаганды и выбрал мемуары.

— Россия для меня — волшебная страна из доброй сказки. Её населяют мудрые красавицы и отважные богатыри. Зачем мне заглядывать за декорации? Там кирпичная стена, пыль и пьяные рабочие сцены.

— И нет желания побывать на родине предков? — поинтересовался я.

— Вы, как писатель, сделали правильный выбор, что уехали. Скоро ваши воспоминания станут светлыми. Вы напишете добрую сказку для внуков. Они будут вами гордиться.

— Откуда такая уверенность?

— Главное — никогда не возвращайтесь. Никогда.

Напишу ли я теперь сказку для внуков? Нет. Я буду наблюдать, как истязают моих сокамерников, и стонать, чувствуя их боль. Я буду получать по морде от вертухая и с надрывом описывать боль и обиду. Я буду выбирать из двух зол оба и трансформировать их в третье — в себя. Чтобы преуспевающий потомок русских эмигрантов из поезда Лондон — Ливерпуль мог лишний раз убедиться, как он был прав, не вернувшись на родину. Если прочитает.

Что же мы себя мучаем?
Мы ведь жизнью научены...
Разве мы расстаёмся навек?..

«Личная песенка» Вертинского вспомнилась очень некстати, стало совсем тошно. За стеклом соседнего вагона я увидел Настю. Её, как и меня, придавили к двери. Девушка что-то говорила, но два толстых стекла не позволяли её услышать. И слышать не хотелось.

Солгал я Насте в самолёте: писатель вёз в своих венах не счастье, а мрачную необходимость боли.

— Молодой-красивый-неженатый-позолоти-ручку-всю-правду-скажу, — цыганка протискивалась по проходу, обещая пустые хлопоты и казённый дом.

Поезд тронулся.

Игорь Агафонов. Проза. Поэзия

Владивостокский поэт, прозаик, музыкант, востоковед, дипломат. Родился 18 декабря 1967 года в г.Кустанай Казахской ССР. Окончил Восточный институт ДВГУ (ныне Дальневосточный Федеральный университет, ДВФУ, г.Владивосток). Проходил действительную службу в Вооружённых Силах СССР. Обучался в Дипломатической академии МИД России. С 1995 года – в системе МИД России, работал в территориальных органах Министерства и российских дипломатических представительствах за рубежом, ныне — заместитель руководителя Представительства МИД России в г.Владивостоке. Дипломатический ранг – советник 1-го класса. По совместительству – профессор Школы региональных и международных исследо-ваний ДВФУ.

Член Союза писателей России с мая 2012 года.

Изданные книги — «Туда. Сюда. Нельзя» (2001 г., Владивосток, А-Скиба), «Буча» (2002 г., Владивосток, ДВГУ), «Красавицы лёгки, братишки суровы» (2007 г., Владивосток, Русский Остров), «Слёзы России» (2007 г., С-Петербург, Мост), «В излом ракушек» (2008 г., Владивосток, Русский Остров), «Листая жизни Календарь» (2008 г., С-Петербург, Мост), «Вышел амфибий на берег» (2009 г., Владивосток, Русский Остров), «Танцуй мне свой лавани» (2011 г., Владивосток, Русский Остров), «Из обреза» («Пятнадцатый блокнот», 2015 г., Владивосток, Русский Остров, в печати).

В планах на текущий год реализация авторского проекта «Бухта Круглая», подразумевающего выпуск авторского четырехтомника, куда войдут книги «Кекуры» (стихи, 450 стр.), «Всё так!» (проза, 350 стр.), «В краях Пасификаны душной» (ритмическая проза, 350 стр.), «Десятый пулемёт» (миниатюры, 250 стр.).

За литературную деятельность награждён дипломами ряда писательских Фондов и Ассоциаций, а также региональных органов власти. Ведет общественную и просветительскую деятельность. Постоянно проживает в г.Владивостоке.

ПРОЗА

Война и авторское ироничное. Совершенно особый стиль исполнения прозы о той афганской войне, о её отголосках в сердце. Игорь Агафонов обладает редким даром рассказать о жизни с полуулыбкой, но даже неискушённый читатель увидит и боль по погибшим ребятам, и тоску о тех днях, где всё могло быть по-другому. Автор выплёскивает смесь песенного, стихотворного и прозаических реалий. Разбавляет всё это штормящее действо личным неравнодушным отношением. Возможно, поэтому его проза не может не притягивать. Легко читается. Остаётся навсегда в памяти. Своей необычайностью и искренностью.

Ирина Жураковская

Саныч, мне бы оружие получить

(сборник новелл, в 9 частях)

«Мы вернёмся с тобою, брат!
Или это уже не мы..?»
(И.Агафонов, «Мы вернёмся с тобою, брат!»)

1. Костян

На сайте «Проза.Ру» публиковалась
в виде «Как им там, пацанам?»
Февраль 2009 г.

— Бляха, чё это было? – Костяна аж подбросило от неожиданности.
— Уходим, черти! – Тут же командир.
— Простите, пацаны! – Толстый в некотором опупении.

***

Неслись как… А хрен его знает, как кто неслись. Раздирали морды о кусты гадско-колючие. Темень. Не видно нифигища. Каменья под ногами. Спотыки. В груди рвёт до обжИга. Сопли, блин, откуда-то ещё.

«Сссссцуко! – Костян ковырнулся ботинком о камень. Чтоб не сломать ногу и не угробить при падении радиостанцию, пал на бочок, но, как обычно бывает не к месту и не к радости, коленом до звона в башке налетел на какую-то кочерыгу. – Горы эти долбанные! Толстый – морда тоже ещё та!»

***

«Посидели в засаде! Выполнили задачу, ёпсель кит! Успеть бы щас с тропы — в сторону. Не-а, не успеем. «Чёрные», блин, рядом уже были, по всем прикИдам. – Осколочные мысли сержанта-командира. — Ну, как, бля, Толстому в бошку его пулемётную пришло такое – оружие чистить! В темноте. В засаде. Кабан, етить его!»

— Ты, Костян, рацию не угробил?
— Не! Нормально.
— Давай, давай, давай! Пошли, пошли, пошли!

***

Это уже потом обсыкались от смеха. Когда отошли. Когда позже нарвались на группку «чёрных», не, не на ту, что должны были ждать, на другую, но, всё-равно, неприятно – главную-то задачу не выполнили.

Это уже потом обсыкались от смеха. Когда кренделей-звездюлей нахватались от командования во все отверстия.

Костян даже в грудачок Толстому въехал так неслабо.

— Ты, блин, морда, чё сделал? Мне чё, бля, со станцией, думаешь, весело по склонам, как бурундучок шнырять?!

— Да, пацаны! А кУли было делать? Начало кумарить чё-то. Чтоб не заснуть – решил пулемёт почистить. Нажал, блин, случайно… — Толстый.

Сам расстроился. Фигли! Так пацанов подставить! – Мне, думаешь, легче было с этой пушкой шустрить?!

— В засаде?!! Почистить?!! Пулемёт?!! Да ты окуел, кабаньеро! — Костян.

— Ладно, пацаны, проехали! – Сержант. – Живы ж, бля! Да и караван так и не вышел. Но, бля, Толстый, в следующий раз кадык, нАкер, вырву!

***

Скоро была весна. Светило дембельское счастье. Группа в таком составе ещё пару раз выходила в зелень. Потом… А, ну да ладно.

***

Костян грустно улыбается. Двигает чуть резковато контуженой башкой, разминая покоцанные шейные позвонки.

— Хорошие пацаны! И Толстый, и командир! Давай за них! Чтоб они всегда такими были – нашими.

***

Как им там?

2. Захарка

Ранее публиковалась как «Подводная медитация» (2008 г.),
вошла в книгу автора
«Вышел Амфибий на берег», Владивосток, 2009 г.

У меня друг был – Захар.

Как-то ещё свежачками-курсантами сдавали мы плаванье. Норматив. На море. От пирса до пирса и обратно! Метров сто что-ли. Не помню точно.

А холодно. Осень! Стоим разоблаченные, подрагиваем, постукиваем зубками.

И не схитришь! Не пофилонишь! Инструкторы – парни серьезные, крепкие и решительные!

Одна пара прыгает! Туда-сюда! Вылезли. Отряхнулись от солёной влаги. Зачет!

Другая пара! Бултых! Туда-сюда! Зачет.

Волна поднялась. Бодрит так! Ветерок такой – свеженький! Клац-клац! – зубики! Мурашечки пошли, пупырышки!

Но сдача – обязательна! Никто не отменит!

Третьей парой идут в заплыв по дистанции Мог Дробильный и Захар.

Прыг! Дружно и синхронно.

Брызги, радость, веселье!

Мог Дробильный выныривает и уже с головою, торчащей над водой среди волн барашковых и пенных, продолжает скоростной маршрут. Кролем идёт. Хорошо идёт! По-нашему! С душой. С пониманием необходимости обеспечения скоростного режима.

Туда-сюда. Вылез. Отряхнулся. В робу завернулся. Зачет! В строй!

Но! Вылез-то один!

А Захара нет!

Стоим, высматриваем его, Захара.

Думали, что он — подводник, предпочитает для ускорения весь путь без воздуха, без выныривания проделать!

Но...

Какое-то подозрение смутное закралось, тем не менее.

Да и тренеры-инструкторы чего-то напряглись.

Ныряем. В соответствии с зычной командой наставников.

Погружаемся. Вместе с Могом Дробильным. Прямо под пирс.

Смотрим, а Захар спокойненько так себе у дна расположился. Там неглубоко-то — метра два с полтиной, максимум — три. У дна расположился Захар, спинкою к опоре пирса, ножками полусогнутыми уперся в него, во дно, глазки прикрыл, ручки на груди с локтевым захватом сложил...

И стоит — вот, перец каков! — медитирует...

Сначала подумали, булькая там под водою запасом кислорода из лёгких:

«Вот! Вот каков пилотаж воли и погружения в суть! Ведь умеет же не дышать, Захар! Умеет! И долго-то как! Воля! Кремень!»

Подумали, повосторгались, но, решили, всё-таки, прервать его подводное занятие и извлекли силком на поверхность.

Он ещё и брыкался, отпихивался, каверзный...

Вытащили. Водрузили на пирс. Сдали инструкторам.

Те давай Захарку пытать:

— Ты, чего, такой-сякой, не плывешь, курсант!? А, стоишь, понимаешь, на днах и в астрал впадаешь!? Что за выпендрёж такой буддистский!? Плыви, — говорят, — Захар, плыви!

А Захар, ручки так и не раскрестив на груди своей, спокойно и сдержанно, с некой аристократической флегмой отвечает:

— Так, а ведь не умею я, уважаемые тренера-инструктора, плавать-то, хоть и рожден на Острове океянском...

Те, хмурясь непонятными бровями и морщинистыми лобными поверхностями, вопросом логику обозначают:

— Как так? Ты что говоришь такое? А чего прыгал тогда!?

— Дык, сказали же, что тот, кто не выйдет на дистанцию, того из Академии — на свободу!!! А, как же Родина!?

Вот.

Ответственность и воля…

И суровость бытия…

И этноса заряд!!!

Погиб потом Захар.

На куски.

Так случилось.

Такой вот — этнос…

3. Егорка

Ранее публиковалась как «Егорка. День памяти» (2008 г.),
вошла в книгу автора
«Вышел Амфибий на берег», Владивосток, 2009 г)

А я, знаете, вспомнил сегодня одну историю.

Боевая обстановка. Горы.

Приезжает одна команда пацанов-солдатиков менять другую.

Меняются. «Старые» сдают «точку. «Новые» проверяют наличие хозяйственных прибамбасов, инженерные сооружения, спальные помещения.

Новые бойцы — все ребята крепкие, высокие. Бравые такие. Крутенькие. Солнечные. Пахнущие. Свеженькие. Чистенькие. Всё им по плечу. Все прям, как заокеанские Рембы, способные в одиночку спасти мир.

Ну, а чего? Всё правильно — ещё ж не стукнуло ни разику по головёнкам-то...

А «старенькие» пацанчики — спокойные, молчаливые, прокопченные, запечённые. Глаза у всех такие серые, что-ли, с налётом усталой пыли в душе...

Крепенькие тоже. Но, уже не так навязчиво крепеньки.

Среди «стареньких» выделяется один — «сморчок» эдакий, доходяга скромный.

Ходит, как-будто шугаясь чего-то, по стеночке, незаметненько.

Ни с кем не болтает.

Очочки на носике веснушчатом роговые такие, усиленные.

Худенький, маленький, ботанический.

Автоматик такой игрушечный — и где надыбал только такой? — подмышкой болтается, как пластмассовая игрушечка.

Бравый и свежий, пышущий самосознанием сержант из группы «новых» интересуется у пацанов «старых» — мол, что за «стручок скукоженный» тут бегает тенью склизкой...

Прапорщик из «старых» смотрит, молча, на "сморчка-очкарика".

Потом, также безмолвно — на вопрошающего "Рембу".

Паузит моментологию бытия.

Затем коротко отвечает:

— Это Егорка. Он с Вами остаётся.

"Рембо" офигевает недоумённо и даже несколько обиженно:

Но «старая гвардия» уже прыгает по бортам, позвякивая оружием и другими нужными штуковинами и уезжает… Без комментариев.

***

А "сморчок" там, на этой «точке», уже третью или четвёртую замену добровольно, ну, или почти добровольно, оставался. В горы, в деревни вылезал один. Уходил тихо, молча — поправит автоматик подмышкой, очки свои роговые пальчиком подвинет повыше к бровям и тенью — шмыг!

Шмыг! – тенью, вдоль стеночки к кустикам сухоньким...

«Броник» никогда не цеплял.

В машине, если куда выезжать надо было, под жопку на сиденье никаких пластин металлических не подкладывал. Фигли их подсовывать? Чтоб сплющило при взрыве о крышу? Так хоть какая-то вероятность – пусть и сугубо гипотетическая – присутствует, что выбросит вовне. Мало ли. А вдруг фугаснёт так удачно.

Шмыг! — тенью, вдоль стеночки к кустикам сухоньким...

Возвращался всегда живым и целым.

И с результатом.

***

Позже всю смену "новеньких" и "бравых" положили как-то по утру. Так случилось.

Егорка и так их уже прикрывал, и сяк — не смог всех уберечь; один же он такой "ботанический"...

***

Осталось пятеро.

И "Рембо"- старший выжил. Покоцало, правда, его чуток, не без того.

Когда их меняли, и "новенький" бравенький и свеженький сержант интересовался у него, а кто это мол тут такой «сморчковатый» у Вас шастает, "Рембо" молчал, смотрел на "ботаника" дохленького с автоматиком подмышкой, переводил взгляд на вопрошающего и коротко, после паузы, отвечал:

— Это Егорка. Он с Вами останется.

***

«…Отдохни же небо, отдохни!
Мы совсем тут рядом — у двери!
Наших в облаках и так уже полным…
Мы за них
ещё немного постоим…»*

***

«…Салам, бачА! Вот мы и встретились с тобой!
Салам, бачА! Как поживаешь, дорогой?
Дай мне, бачА, свою колючую щеку!
Дай, я, бачА, тебя покрепче обниму!
БачА… БачА...»**

---

* Игорь Агафонов, «До утра, братишки, до утра», 2007 г.

** Ю.Шкитун, Л.Мухин, «Бача», 1984 г.

ПОЭЗИЯ

Стихи Игоря Агафонова очень похожи на запертую мечту-песню. Их заперли, загнали в рамки условностей, положенных жизненных правил, обусловили схему – как все, как принято. А они сбежали и по-детски шкодничая, живут иначе, пишутся непринятым стилем. И ещё смеют так разговаривать с читателем о вещах серьёзнейших, смертельных и жёстких, на самом деле. Может, поэтому из них у Автора получаются песни, которые он сам исполняет. Да и проза Игоря Агафонова, такая же – штормистая, с неким восточным смысловым проигрышем. Наверное, на всё его творчество повлияло, навсегда вклинилось влияние дней, оплавленных войной в Афганистане, жизнью в странах азиатских. И эти слова переигранные, ласково поглаживаемые Автором по спинке, словно кота на подоконнике лунном, Игорь пристроил. Музыкальность. Не всегда выдержанный ритм. Ломкость этого странного творческого мира.

Ирина Жураковская

Когда в шинели серой

Сентябрь 2008 г., экспромт

Когда в шинели серой

средь серых лиц,

средь крыс, сереющих сознаньем,

себя бросая в серость самости цветенья,

чтоб разорвать болото краской, запрятанной до времени, замотанной портянкой –

— бабахнуть во луну и солнце...

Чуть позже, позже, позже...

Чуть позже,

но, взойти

на окровавленных полях,

чтоб серость – сквозь,

чтоб серость сквозь медовый пулемёт сознанья

окрасилась не красным нет, но буйством без ограничений воли, солнца,

чистоты и снега...

украсилась подснежником, еще не видимым под ним, под пухом белым,

не видимым,

но тонко-тонко намекающим на чудо...

И ожерельем пали на грудь чешуйки сути

Январь 2008 г.
Вошла отдельным треком
в рок-альбом автора «Джанни» (2014 г.)

Потерянной мечтою
стучалось где-то глухо.
И падал чёрный пепел
на прядь чуть с серебром.
И сбитыми ступнями
шагалось как-то криво.
И каменным спотЫком
коверкало внутри…

И мерзостным сиппоку
наружу рвАлась серо
Расхристанная память
о том, что быть могло…
И не было кинжала –
— остановить метанья,
Порезав мимолётьем
тот хокку вЕны злой.

Восходом дуло в шею,
спеша прогнать ко бронзе
закатных и пустынных,
разорванных минут.
Плевало жгучей смолью
со Высей, без эмоций…
Спокойно так плевало,
до мяса, до костей.

Туманилась пустыня,
но не давала даже
для шутки, для эскиза
увидеть скромный цвет

простой кувшинки с каплей
случайной в лепесточках…
И пепел, пепел, пепел
и пепел… Не вздохнуть.

Была ли вера в Выси?
Иль укололся гадом,
случайным скорпионом,
и он надежду дал..?
Но развернуло к солнцу,
бегущему рассветно,
и понесло песочно
по стёртым, по следам…

Шершавило? Конечно!
Но, всё ж вернулось море!
И падающий в волны
брызгучий водопад
свежИл и полнил душу,
и напевал о новом,
играя тенью, светом.
И звал, и звал, и звал…

И, скалами суровясь,
звенели струи правду,
о простоте ракушек,
о камешках на дне,
о чуде, о стихии,
О девушках, о винах!
О крыльях, о полёте…
О буче в голове…

И ожерельем пали
на грудь чешуйки Сути,
оставив мир моллюскам
и соки – деревам…

***

… А по степям носилась
копытом и стрелою
рвань в шлемах убиенных…
не зная о морях…

Спится ль мне, мама?

Январь 2009 г.

... А ночью снилось.
Дай мне, мама...
Дай мне вспомнить.
Запах.
Запах слов твоих...
Дай мне не забыть.
Снилось.
Снилось.
Снилось...
И было слово то.
Там.
Слово.
То.
Короткое.
То,
которого
не помню...
Но,
запах его,
запах его...
Образ,
им во пустыне творённый,
чувствую...
Чувствую.
Нет, не вижу...
Нет,
не слышу.
Не помню...
Чувствую.

Чувствую ли?
Или кажется?
Помнится?
Или нет...
Спится ль мне,
мама..?

Акварель со вкусом апреля

2013 г.

Блюзик; из альбома «Джанни»
(проект «Косая палка»), 2014 г.

Ты откроешь мне в сад балкон...
За резной азиатской дверью
Среди зелени сочных дрем —
тот прозрачный до слёз рассвет:
акварель со вкусом апреля...

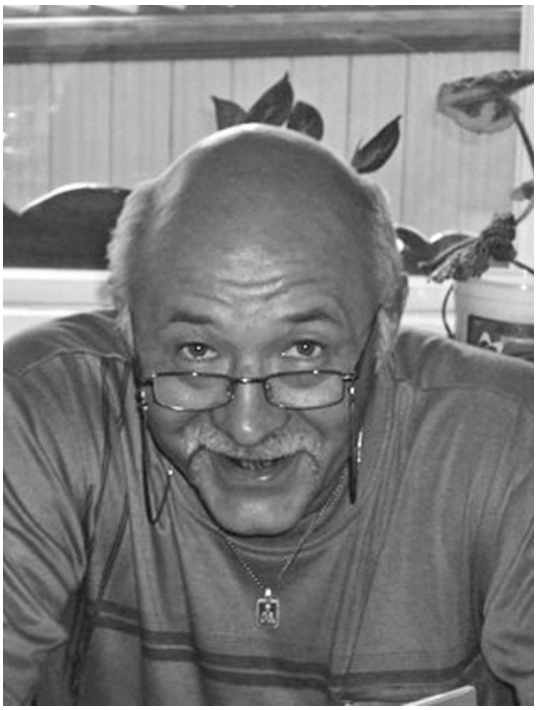
Игуана лизнёт росу,
И меж тех лепестков жасмина
Так отчетливо брызнет блюз
И прозрачный до слёз рассвет —
в наш апрель волной акварели...

Ты рассказывай мне о снах,
Я налью по чеплашкам кофе,
в нём и солнце, и суть, и знак;
за струною уходит страх,
искупав апрель в акварели.

Ты рассказывай мне о снах.
Я пойму, обниму, сумею...
Нарисую, спою, возьму
Твою руку, твой вздох, твой взгляд...
Увлеку в апрель акварели...

……..

Георгий Тарасов. «Не понял…». Рассказ



Родился в 1958 году в Ленинграде, после школы поступил на физфак ЛГУ, несколько раз был отчислен, служил в армии, восстановился, работал по специальности в «ящике» до конверсии.

Потом кировский завод, яхт-клуб, много всякого, работаю до сих пор и конца и края этому не видно.

Живу в РФ в Питере, 12 линия В.О.

Писать начал года три назад, в основном, в стол. В РФ не издавался.

Иногда выкладываю что-то в интернет, пишу от злобы статейки на фонтанке.ру.

Серьезного в отредактированном виде не выставлял нигде.

Только неоконченное, короткие рассказы и миниатюры.

На бумаге печатался только в журнале «FloriDa», Майами, США, где числюсь постоянным автором, а также в Za-Za, Германия. Заслуг, званий, наград не имею никаких.

В апреле 2013 года в издательстве Za-Za Verlag (Дюссельдорф) вышла моя первая книга «Пьяные саги. Повести и рассказы»

В июне 2014 в том же издательстве вышла вторая книга «Сказки ветра». Работаю над третьей.

Георгий Тарасов и его сон

Фантасмогорическая экскурсия по Питеру, глубоко личная, с перепутанными эпохами, с выскакивающими из несовпадающих временных окошек событий, кусочков жизни, бывших и несостоявшихся, чудо поиска самого себя. С фантомными болями того, чего уже нет или вовсе не было. Прыжок в собственную жизнь и мечты, вскрытый скальпелем и вытащенный на свет божий пласт души…

Ирина Жураковская.

Да, это тот самый город. Мой город. Жил я почему-то на Первой, угол Среднего, в невообразимой коммунальной квартире, в которой постоянно менялась планировка. В ней не было сторон света, и солнце светило в те окна, в которые хотело. Когда в мои, когда нет…

И этаж я никак не мог запомнить. По лестнице я всегда поднимался на второй, по старой, темной лестнице с широкими стертыми известковыми ступенями, но оказывался то на третьем, как на Германа, то на одиннадцатом, то смотрел вниз с головокружительной высоты и видел под собою небо. И возраста у меня не было. Чаще всего лет пять-десять. Или совсем старик, ступени давались трудно. Сильным не был никогда.

Но это всегда было на Ваське. Выйти с него я не мог, не пускали мосты. Однажды мы с мамой шли по Шмидта, осень, страшный шторм, по свинцовой воде несло льдины, и они шли поперек течения и против, выскакивали из воды, как тюлени, и били в быки опор моста. Но крошились не льдины, мост. И разводной пролет рухнул под нами, мы стали выгребать к Английской набережной, у Музея Истории Ленинграда была пришвартована «Аврора», как тогда, в шестьдесят седьмом, но она тонула, весь борт раскурочили льдины. Набережная рушилась, гранитные глыбы облицовки валились в воду, обнажая старинные деревянные сваи, все в смоле, и видно стало берег, просто берег, с полоской песка и льда, тот самый, что и был до того, как его одели в гранит. Мама выплыла первой, и долго металась по берегу, а я ждал, барахтаясь на стремнине, пока пройдут пароходы, пытаясь нащупать ногами дно на одиннадцатиметровой глубине. Я весь заледенел, но дотянул до берега. У Сфинксов. И мы пошли в глубь острова, на Андреевский рынок. Так и не преодолев Неву, так и не попав на другой берег.

Только однажды я катал ее на финских санях среди роз и кустов сирени по Крестовскому острову. Через мостики и камыши, вдоль пляжа и под теплыми зелеными куполами невиданных деревьев субтропического леса, и лесов всего мира — Трансвааля, Йеллоустоуна, Байкала и Канады… На следующий день, там, в той жизни, она умерла. Я не пролил ни единой слезы на ее похоронах, мне показали, где она…

Там хорошо.

Когда я читал Достоевского, меня стало заносить в Коломну. Маршрут был примерно одинаков: от дома семь по Конногвардейскому переулку, через подвесной мост над свинцовой Мойкой под убийственным ветром с дождем, вдоль Мойки, на дне которой бегали собаки и вязли катера, на Английском проспекте мне удавалось увернуться от конечной цели. И я шел до площади Тургенева, но меня загибало вправо, на площадь Репина, и, когда уже маячил впереди Калинкин мост, он стекал под дождем в Фонтанку, рушился, и, левое плечо — вперед. Я нырял в щели темных улочек без названий и людей, туда, туда. Смыкались доходные дома надо мной в головокружительной высоте, и по мрачным осклизлым туннелям со слепыми окнами я мог идти только по ветру. А он меня гнал и гнал, все сильнее и настойчивее, туда, к моему последнему пристанищу. Мне еще удавалось отвертеться от моста на Декабристов, но последний мост я пройти не мог. Ветер стихал, на западе начинало угадываться солнце, и я шел к нему. На свет и тепло. Через Пряжку, к воротам единственного здесь светлого, опоясанного высокой каменной стеной, желтого дома…

А сегодня я стою на остановке на углу первой и Среднего и жду трамвая, мне надо в Университет, почему-то на Петроградку. Рядом стоит Борька Михалевский, ему туда же, хотя, зачем, я не понимаю: он профессиональный судовод и водитель, мы редко думали с ним вместе, все больше – делали. Хотя, может быть, я не все про него знаю…

Он что-то ест из пакета, много и долго, наверное оттого, что там, в той жизни, он голодает. Он садится в трамвай. А я, как во все годы учебы, нахожу себе предлог и оправдание, чтобы этого не делать. Я провожаю взглядом трамвай, вильнувший хвостом на повороте. Он наддал и понесся к Тучкову

мосту, прочь с острова. А я разворачиваюсь и иду по Среднему, но совесть начинает меня жрать, и я впрыгиваю в следующий, всего-то три остановки, и Университет, здание Двенадцати Коллегий. Наверное, я вздремнул, и с ужасом вздрогнул от возгласа:

— Следующая остановка — «Московские ворота»!

Господи, твоя воля, куда ж меня занесло!? Я пулей вылетаю из дверей и оторопело смотрю на Сфинксов. Тех самых, к которым мы когда-то выплыли с мамой. Кричу по инерции какую-то обиженную чушь вагоновожатой, но лязгнул железом звон, и трамвай укатил в порт. Куда же мне??? Где-то во дворах между Восьмой и Пятой, между Средним и Большим — БФА, большая физическая аудитория, мне туда, там лекция. Почему там, неясно, она ж на Менделеевской, на территории Университета, в здании НИФИ. Но, уже который раз, неясно что или кто переносит ее туда, во дворы Среднего. Я иду, быстро и напористо, мне опять захотелось что-то узнать, значит надо снова учиться. Сидеть на лекциях и семинарах, судорожно стараясь разобраться в монотонном потоке слов, наполовину непонятных, петлять за чужой мыслью, которая изначально под подозрением в неточности, и снова и снова грызет меня червь сомнения. Ну, буду я опять учиться, ну, пусть пойму то, чему меня учат, да пусть хоть экзамен сдам, но узнаю ли хоть что-то??? Тем более, то, что нужно мне. Ведь я, наверное, хочу чуда. Чтобы открылась дверь во вселенную, и я не просто сунул нос в неизведанное, а все понял. Сразу и до конца. И вошел бы спокойно и широко в родной дом, где мне все понятно. Я хочу, чтобы передо мной был бесконечный океан неизведанного, но чтобы я знал, как это понимать. И умел это делать, уверенно и безотказно. Загадок без счета, инструмент для решений есть, мозгов хватает. Время превратилось, наконец, в реальную четвертую координату, я могу по ней, как захочу — вперед, назад, вдоль и поперек. Вечный кайф…

Шаги мои все быстрее и быстрее, я начинаю задыхаться, ныряю в Академический переулок, вот он, двор, широченный, на пять футбольных полей, его надо пройти наискось, и по лестнице — вверх, вверх. Вверх!

Но я стою на берегу Смоленки, и смотрю на сверкающий новострой на том берегу Малой Невы, соображая, куда же делись «Алмаз», РЭБ, «Судоэкология». Опять не туда занесло. Надо было с Борькой. Меня затопила грусть. Яростная и злая, предвестница слез разочарования. Опять я струсил и увильнул. Ведь только раз дается шанс сделать все правильно, и тогда получится все. Что хотел сделать — сделаешь, хотел понять — поймешь. А я не сделал простой и четкий шаг в нужный момент, упустил его, и опять, как всю свою жизнь, пытаюсь наверстать упущенное. И теряю даже то, что имел, что было моим, казалось бы, навсегда. Сейчас я потерял свой город. Он стал какой-то спортплощадкой, пусть со свежей зеленью, но не мой совершенно, я вижу реку, но не узнаю ее. Какие-то сетчатые заборы, как на теннисных кортах, похоже на стадион «Зенита», вагончик. Из него выбегают парни в камуфляже с автоматами, грамотно рассыпаются и начинают брать кого-то невидимого. Со стрельбой, гранатными разрывами и очень четкими командами не то инструктора, не то сержанта. За правым плечом с недолгими равными промежутками хлестает бич, размеренно работает снайпер. Все происходящее мне предельно понятно, неужели именно это — мое??? И будет только это, а не познание мира, в котором я живу? Неужто мир так убог и примитивен?

И другого, настоящего, не то, что мне не дано, а просто нет? Вообще нет???

Его нет. Нет. Нет…

Меня топит ужас, бойцы рванули вперед, остался только сержант — инструктор. Я в полной безнадюге подхожу к нему:

— Заплутал, командир. Мне б на Средний.

— Что-то ты не в себе.

— Экзамен провалил — вру я. А, может, по сути, и не вру.

— Ща, момент. Бойцов свистну, взяли гадов. Победа. Ты где служил?

— Казахстан, авиация. 82-84.

— Круто. Я в курсе, старший брат там отдувался. Пошли с нами, тут рядом. Отметим.

Я иду за ним и соображаю, что сейчас опять начну пить. Только этого мне не хватало.

В кромешной темноте вырисовывается печь, дивное творение Валеры, доктора физматнаук, за окном воет пес, далеко, на грани слышимости, тихо дышит железнодорожный поселок, и я рывком сажусь на постели.

Сон. Слава Богу, не все потеряно. Еще есть время хоть что-то понять…

Боре надо позвонить. Не умер ли…

Юрий Влодов (1932-2009) Стихи о войне из книги «Летопись»

У поэта Юрия Влодова есть целая книга стихов о войне. Для поклонников его творчества, особенно для тех, кто знал его лично, эти стихи могут показаться не совсем влодовскими, могут явиться неким диссонансом к фирменной теме Влодова — к стихам из книги «Люди и боги».

Другие же, еще более отдаленные свидетели его жизни, даже книгу «Люди и боги» могут не знать, поскольку в те годы ее еще просто-напросто не существовало. Эти свидетели помнят его как подпольного поэта, читающего на квартирных вечерах диссидентские стихи, а также умопомрачительную лирику и стихи из книги «Портреты». Но именно в те годы — в 60-е–70-е, писалась как раз очень активно эта книга.

Некоторые стихи из этой книги всё же знали, в частности, «Жукова». Оно почему-то пользовалось большой популярностью, поскольку имело какой-то диссидентский подтекст, и все были в восторге от этого подтекста, правда я, как ни старалась, никак не могла понять, в чем он заключается. Ну может, это стихотворение более известно из-за созвучия со стихотворением Бродского «Памяти маршала Жукова». Хотела сказать одноименным, потому что так оно раньше и у Влодова называлось, но потом он решил название сменить. Наверное, оно было написано в качестве такой своеобразной полемики с Бродским, а иначе к чему бы Влодову такое стихотворение писать?

Изо всех военных стихов именно стихотворение «Жуков» попало в фокус и стало широко известным в узких кругах московской литературной богемы. И все, кто общался с Влодовым в те годы, помнят его и считают очень сильным.

Кстати, именно это стихотворение упомянул в своей книге «Записки из-под полы» известный критик Евгений Сидоров. Вот что он пишет.

«Поздно, только что, близко, в лоб столкнулся со стихами Юрия Влодова. Не известными диссидентским афоризмами из подполья хорошо он. А стиховой отвагой, как вот в этом портрете маршала Жукова на фоне поверженного Берлина:

Хмелеет в припадке величья,
От славы — глухой и немой.
И шея — лиловая, бычья –
Надрезана белой каймой.
В гранитные латы его бы, –
Чтоб в камне остыл, пообвык!
Хмельной похититель Европы! –
Славянский распаренный бык!

Поступь стиха напоминает лермонтовский «Воздушный корабль», тут же след знаменитого античного мифа. Но какая своя, влодовская живопись, каков образ русского беспощадного Бонапарта, в котором сквозь крестьянскую плоть вдруг оживают дух гулевого боярства и тучная, нерассуждающая стать истории! Хорошо, ничего не скажешь. И как бы ответ (вровень) известному стихотворению И. Бродского».

Но основу этой военной книги составляют все-таки другие стихи.

Книгу эту пришлось составлять мне, у Влодова как всегда, всё было в беспорядке, и эту книгу он также составить не успел, да и не старался особо. Чем я руководствовалась при составлении? Мне опять же пришлось придерживаться хронологии войны, другого варианта просто не было.

В начале книги идут стихи о начале войны, далее — о ее развитии и кульминации, затем — окончание. Ну и можно чисто условно выделить стихи о предвоенном периоде, а также о послевоенном, итоги войны, так сказать, ее последствия. Я эти периоды разбила по разделам, чтобы легче было ориентироваться.

Как ни странно, тема войны очень подходит перу Влодова. Такая эпохальная трагедия, которой явилась Великая Отечественная война требовала не менее эпохального пера, пера великого трагика. И этим великим трагическим поэтом и был Влодов и в теме войны как раз смогла проявиться вся трагическая мощь его таланта. Можно сказать, что война и Влодов нашли друг друга. Войне требовался поэт великой трагической мощи, а Влодову требовалась великая трагическая тема, соответствующая уровню его дарования. И как раз такой достойной темой явилась тема войны. И хотя Влодов все время указывал на то, что это его военное детство подвигло его на написание этой книги, но дело, я думаю, не только в этом. Это была и его внутренняя потребность писать на эту тему.

В военной книге Влодова представлена полномасштабная картина войны. Начинается она с легких светлых стихов о предвоенном детстве, о преддверии войны, о предчувствии, о замешивании ее там, в европах.

«Шипели праздничные фарши
В Берлине взвизгивали марши!
Вибрировал эфир…
И Сталин грыз мундштук устало,
И дабы, робость не пристала,
Грузинский пил чифир». (Стих «Гуляло лето по европам…»)

И вот это предчувствие войны, напряженность царит в стихотворении «Гуляло лето по европам…» Но оно пока еще разбавлено легкостью, беспечностью, детскостью.

«Гуляло лето по европам…
Там пастернаком и укропом
Пропахли городки…»

И вся эта идиллия какое-то время еще будет длиться, пока не грянет страшная война, перемесившая судьбы миллионов людей.
И вот на счастливое, безоблачное детство надвигается страшная мощь, что-то ужасное, какая-то жестокая, непреодолимая сила.

«Танки шли по Руси, придыхая,
Танки шли на восток по прямой,
И кричала дошкольница Хая:
Мамка, тракторы, ой!».(стих. «Танки шли по Руси, придыхая…»)

И вот уже «Мама бела, как зима» и вот уже «От деда пришла похоронка…», и вот уже «Отец упал на гребне лета…». А в тылу, где дети, женщины, старики царит холод, голод, страх и слезы. И исчезнувшее в одночасье детство.

«А детство где? Ищи-свищи!
Засыпано бомбежкой…

А я в мороженые щи
Врубаюсь гнутой ложкой».(стих. «А детство где? Ищи-свищи!..»)

В стихах о начале войны Влодов показывает свои личные детские переживания.

«Ведра веники, пеленки, –
Мир барачный,
Где расту я, тонкий, звонкий
И прозрачный».(стих. «Ведра, веники, пеленки…»)
Или
«Во сне, я наверное, фашиста убью,
Носатого рыжего фрица».(стих. «Теплушки похожи на низкий закат…»)

Впоследствии личность автора уходит и предстает эпическое полотно войны, в то же время, выраженное, запечатленное в каких-то неповторимых деталях. Вот, например, ополченец, профессор физмата, вышел защищать Москву, хочет помочь армии отстоять столицу. Но, к сожалению, одного желания мало, надо ведь еще и уметь воевать. А профессор настолько далек от реальной жизни, тем более, от жизни военной, что он даже матом ругаться толком не умеет, не то что воевать. И в результате

Бьет из пушки профессор физмата
Как заправский какой душегуб,
И невинное облачко мата
С черно-белых срывается губ.
Орудийная смолкнет болтанка
И оттают потом, по весне,
Мертвый след непомерного танка
И лучистый осколыш пенсне.

Вот стихотворение о русском мате, который помогал русским воинам брать города.

Рождались в мальчиках мужчины
Спасал Россию род мужской
Взбухало знамя матерщины
Над медной бюргерской башкой. (стих «Да, были Ожеговы, Дали…»)

Хочу заметить, что в этом стихотворении о мате нет ни единого матерного слова. Это я к тому, что настоящий художник слова, мастер, может всё нужное сказать и так, не заступая за границу дозволенного. Влодов это умел, мат в его стихах большая редкость, в основном творчестве его почти не встретишь, если только в каких-либо шуточных стихах, написанных для своих друзей и знакомых.

Вот стихотворение о солдатском обеде, который тоже имеет большое значение для победы на войне.

От солдатского обеда
В дни больших утрат,
И бессмертье, и победа
Всё зависит, брат! (стих «Цыц! — ни аха и ни оха!..»)

Не забыта и фронтовая вошь, которую надо потравить, чтобы она не зажрала бойцов.

От Сталинграда до Москвы
Одежки мяли с хрустом
И посыпали густо швы
Непобедимым дустом! (стих «Скосил глаза народный вождь…»)

(Если кто не в курсе, то «дуст — это такой специальный порошок темно-серого цвета, которым травили вшей и других насекомых).

Вот такие были фронтовые будни, фронтовой быт. И Влодов очень подробно и выразительно показывает его в своих стихах. Потому что сражения сражениями, но на войне еще нужно просто выжить, выжить к тому же в походно-полевых условиях, невыносимых для многих. Поэтому собственно сражения в этой книге почти не показаны, да и что о них можно написать? Что бойцы палили друг в друга? Ну и что дальше? Война показана опосредовано, через различные ситуации, положения, детали.

Вот стихотворение «Духовой оркестр», когда над полем брани, над Курской дугой, вдруг какой-то невидимый оркестр заиграл русский марш.

В необозримой Курской рани
Тот марш, солдатский, духовой,
Плыл, так сказать, над полем брани,
Окутан тайной вековой.
И отступил чванливый немец,
Внезапным ужасом движим…

Или вот даже ребенок, даже несмышленый малец, уже оказывает фашистам сопротивление, отказывается брать у врагов конфету, несмотря на то, что голоден:

Не возьму я вашу, эту,
Шоколадную конфету! (стих. «Из-за тыновых гребенок…»)

Но все-таки война это в первую очередь смертельная мясорубка, на войне гибнут люди, «война — это жесточайшая проба!» и без смерти она не обходится. И эта гибель, и превращение потом погибших солдат в легенду, в памятники описана Влодовым. Приведу два самых сильных, на мой взгляд, стихотворения из этой книги.

Солдат любим седой старухой,
И молодой женой-стряпухой,
И малыми детьми…

Солдат врубился в голый пламень,
И превратился в голый камень…
Попробуй, обними!..

Сгорел в подбитом старом танке,
Останки вылизал огонь…
И мать на дальнем полустанке
В сундук поставила гармонь…
И прикорнула на лежанке,
Фитиль убавила на треть…
И снова сын в горящем танке!
Все сто ночей ему гореть!!
И тысячу ночей гореть!!!
Ни отдохнуть, ни умереть!..

События в книге движутся, идут и вот уже появляется поворот на победу, на разгром врага.

Сначала вышел с ним курьез!
И осерчал Иван всерьез! –
Он всю Европу взял на мушку!..(стих «Сначала вышел с ним курьез…»)

А далее и «Каунас, Таллин, Рига…», И «на соборе профиль прусский — благородный Бах». И вот, наконец, в логове врага, «в паучьих руинах

Берлина» маршал победы Жуков «хмельной похититель Европы, славянский распаренный бык!» «на белом идет жеребце!».

Но конечно же, победа эта, такая необходимая, такая долгожданная, куплена ценой большой крови, ценой миллионов человеческих жизней, поэтому победа эта «со слезами на глазах».

Как ни странно, Влодов в этой своей военной книге является более военным поэтом, чем все военные поэты вместе взятые. Почему так получилось? Наверное, потому, что практически все военные поэты, поэты Великой Отечественной, это бывшие фронтовики, люди, побывавшие на полях сражений, и порой прошедшие эту войну от края до края, от начала до конца. У них есть внутренняя вовлеченность в эти события, сильная эмоциональная реакция на них. А такая реакция, как ни странно, мешает видеть происходящее.

Влодов, с одной стороны вовлечен в войну своими детскими впечатлениями, а с другой и отстранен от нее настолько, чтобы видеть события, либо представлять их более объективно, что ли.

У него эпическая картина войны, а не лирическая, внешняя, а не внутренняя, он видит события не как наблюдатель, стоящий на земле, он видит эту картину как бы с воздуха, с высоты птичьего полета, что помогает обозревать ее более масштабно. Но периодически он снижает высоту и видит, а также и показывает некоторые события и детали их крупным планом, но опять же как сторонний наблюдатель, а не как вовлеченный непосредственно в процесс. И это дает удивительные результаты. Автор, как лирический герой, как участник событий полностью устранен, вместо него говорит сама война, сам народ, попавший в ее жестокую мясорубку. Говорит само время, сама эпоха, сама история. Разыгрывается глобальная человеческая трагедия.

Эта книга в первую очередь о войне Великой Отечественной.

Но эта книга в то же время не только о той войне, она и войне в принципе, где бы и когда бы эта война не происходила. Думается, что такие темы и такие книги будут актуальны всегда.

Людмила Осокина
сентябрь 2014

Ю.Влодов

Стихи о войне

***

Когда на окровавленной шинели
Внесли бойца с разбитой головой,
Засушенную веточку сирени
Нашли в его тетради голубой.

Два черно-бурых, бисерных куплета
Расплылись по кровавому листу:
«Люблю тебя, изменчивая Света,
За Вашу неземную красоту!..»

И пробурчал начальник медсанбата:
«А что сирень? Сирень не виновата…»

***

Окружение…Свалка…Плен…
Кожа, стесанная с колен…
Автоматчики, псы, конвой…
А усталость — хоть волком вой!
По морозной грязи — босой!
И она позади — с косой!
Только ветер гнусаво пел:
«Потерпите, и я терпел!»
Но бодрящий тычок в плечо:
«Слышь, товарищ, держись, ты чё?!».

***

В барак вселили смерть, как ровню,
Чтоб страхом сбить усталость,
Швырнули душу на жаровню,
Чтоб тело пресмыкалось.

А он достал клочок бумаги
И грифеля огрызок,
И написал: «Шумят овраги,
Уж первый ливень близок…»

***

По-сиротски смурные земли
Принакрыли ручьями шрамы.
Что ни вечер, приходят в семьи
Похоронки да телеграммы.

Чу! — рыдает слепец щербатый! –
Отчий край опоганен вором…
Чу! — летают над русской хатой
Белый аист да черный ворон…

И стучат костыли да палки,
Наподобие той считалки:
«Аты-баты, шли солдаты…»

***

Без вести канул в пучину войны.
Бабе оставил бредовые сны…

Черных, как уголь, четыре весны,
Грузных, соленых четыре волны…

Баба металась, ждала, стерегла…
Разом сломалась — в горячке слегла…

Жахнул победный святой фейерверк!..
Баба очнулась, но разум померк.

Встала с улыбкой на мертвом лице,
Вышла к народу в тряпичном венце,

Бровь заточила печным угольком,
Плечи покрыла небесным платком…

Взвыла, топыря мосластый живот:
«Сладкой залётка в Рязани живет!..»

От полудурка к зиме понесла…
Тропка в тот хутор быльем поросла…

Дикие травы, куда не ступи…
Был ли тот хутор в горючей степи?

Долго бродил я по этим местам,
Вроде и не было хутора там…

***

Столб телеграфный повис в проводах.
Стоны уродца слышны в городах.
Срублен под корень разгульной войной.
Ныне он — маятник в прорве степной.
Ветром обглодан и градом сечен.
Где-нибудь в сумерках ухнет сычом.
Черту запродан за ломаный грош.
Как тут объедешь? И как обойдешь?
В полночь торчит он, как чертова кость.
Конь заярится. Шарахнется гость.
Столб телеграфный, бездушный, ничей,
Хрипом и стуком пугает сычей.
Вслушайся — чу! — над былым ковылем
Время стучит костяным костылем.

***

Ботву рукой крушила,
Таскала в темный лаз.
И был острее шила
Ее неженский глаз.

Таскала голосила:
«Ой, все помрем зимой!
Ой, где ты, муж мой, сила,
Хваленый Митрич мой?!»

В селе шуршали слухи
(Язык-то без костей!)
Мол видели старухи
Очкастых тех гостей.

И парашюты, вроде,
Нашел дурак Фома…
И ухали в природе
Подземные грома!..

Из леса вырывался
Фанерный «ястребок»,
Взвивался и срывался
Как сизый голубок!

Туман белее мела
Сводил собак с ума!
Но в рупоре гремела
История сама!

И полон властной спеси,
Как сказочный титан,
И грады брал, и веси
Бессмертный Левитан!

***

По-сиротски смурные земли
Принакрыли ручьями шрамы,
Что ни вечер, приходят в села
Похоронки да телеграммы.

Чу! — разгневался бор щербатый:
Отчий край опоганен вором!
Чу! — летают над русской хатой
Белый аист и черный ворон.

И стучат костыли да палки,
Наподобие той считалки:

«Любит…
Не любит…
Придурка приголубит…»

***

Война — жесточайшая проба.
Но женщина любит — до гроба!..

Сопрела солдатская роба…
А женщина любит — до гроба!..

Он вмерз в сердцевину сугроба…
А женщина любит — до гроба!..

Весна зачернела сурово…
А женщина любит — другого!

***

Объявилась в тылу фронтовичка.
Секретарши шипят: «Истеричка!..
Ногти желтые от махры,
Вишь, какие торчат вихры!..»

Огляделась: а Волга-то плещет! –
Словно сердце живое трепещет…
Закружилась в тиши голова…
Ей ведь, господи! — двадцать два!..

Часть 3. «На переломном рубеже…»

***

Еще дымился Кремль московский,
И кремль смоленский, но уже
Расправил грудь Иван таковский
На переломном рубеже!

Еще в небесной адской смете
Чернели списки фон-горилл…
Но батальонный ангел смерти
Над спящим фюрером парил!

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Всемирной бойни мясорубка
Месила черноземный фарш,
Когда стеснительно и хрупко
Взлетел над полем русский марш.

В необозримой курской рани
Тот марш солдатский духовой,
Плыл, так сказать, над полем брани,
Окутан тайной вековой…

И отступил чванливый немец,
Внезапным ужасом движим…
Он кто?! — Ворюга! Иноземец!
А русский мир — непостижим!..

***

Сначала вышел с ним курьез!..
И осерчал Иван всерьез! –
Он всю Европу взял на мушку –
Наглядно, без прикрас!..
Ему б теперь –махры осьмушку,
Еще б –косушку да горбушку,
А главное — приказ!
И протопочет без запарки
В те золотые трептов-парки!

МУЗЕЙ МОЦАРТА

…И с боем взяли тот музей,
События круша!..
А дальше что? — толпись, глазей,
Коль в сердце есть душа…

Фигурный стол. Резной диван.
Облезлый клавесин…
Запоминай, солдат Иван,
Ткачихи Клавы сын!

МЕССА В КЕНИГСБЕРГЕ

Он — Теркин. Он парень-рубаха!
Средь прусских напудренных рыл
Он медленно слушает Баха
И рот, как телок, приоткрыл.

На этом, не знавшем испуга,
Беспомощно дерзком челе,
Как тень, отражается фуга,
Рождается мир на земле.

***

На соборе профиль прусский —
Благородный Бах.
А в камнях — солдатик русский
С кровью на губах…

На руке наколка: «Ира»,
Медное кольцо…
А всесильный Бах от мира
Отвернул лицо.

МАЙ 1944 ГОДА

Каунас, Таллин, Рига,
Бах с голубой слезой.
Сплющенная коврига
Под громовой кирзой!

Каунас. Рига. Таллин.
Красные кровь и пот.
То-то бессмертный Сталин
Красные вина пьет!

СОЛОВЕЙ

В трофейном городке
(Ну, где-нибудь на Висле),
Возник невдалеке
Росток поющей мысли, –
Славянский соловей
Породистых кровей!
Он пел — живой росток
В разрушенном квартале,
Что мир не так жесток,
Как мы тогда считали…

***
Цветы! — искуснейшая месть
Обугленной душе.
Цветы! — в аду, в Берлине, здесь —
Почти божественная весть…
Одна беда: нельзя их съесть
В разбитом блиндаже.
Где — фронта смрадная черта.
Где вы не жрали ни черта
Четвертый день уже.

В ГОСПИТАЛЕ

Был пулей к Польше пригвожден.
И жизнью награжден.
И в новых списках утвержден, –
Как заново рожден.

Лежит в палате, морщит нос.
Ну чисто — черт в раю!
И рад, что голову принес
Обритую свою.

Часть 4. Победа

ЖУКОВ

В паучьих руинах Берлина
Гармоника душеньку пьет.
И снайпер Василий Калина
Чечетку заливисто бьет.

Суворовский марш барабанный
Крош*и*т мировую зарю!
И ветер портяночный, банный
Щекочет Европе ноздрю!

Средь редких винтовочных стуков
С российской натугой в лице,
Нафабренный выбритый Жуков
На белом идет жеребце!

При маршальском чине убогом
Он прост, как любой генерал!
Он чист перед Господом Богом!
Он сам, как Всевышний карал!

В нем дух гулевого боярства!
Истории тучная стать!
Он волен создать государства,
И каменным идолом стать!

А куцый, вертлявый союзник,
Коль смаху, по-русски прижать,
Подтянет казенный подгузник,
Чтоб легче к Ла-Маншу бежать!

И тот, в окружении башен,
В своем допотопном Кремле
Не так уж всесилен и страшен
На этой победной золе!..

В паучьих руинах Берлина –
Коль вышел такой тарарам –
Хлебнула душа славянина
Солдатских бездонных сто грамм!

Хмелеет в припадке величья
От славы глухой и немой,
И шея лиловая, бычья
Надрезана белой каймой!

В гранитные латы его бы!
Что в камне остыл, пообвык!
Хмельной похититель Европы
Славянский распаренный бык!

***

Восход алел, как орденские планки.
Клонило в сон от свистов пулевых.
И пудренные, статные германки
Толкались возле кухонь полевых.
Им наливали в термосы баланду,
Им подавали бодрую команду,
Чтоб двигались быстрее к черпаку.
И улыбаясь, морщился раздатчик,
Волжанин, молчаливый автоматчик,
С фашистскими осколками в боку…

***

Друзья собрались в День Победы.
Скрипач стыдливо прячет пальцы,
А летчик — рваные ожоги.
А востроглазая медичка —
Болтушка Нюшка — санинструктор —
Слезами рюмку наполняет
И пьет за рыжего гвардейца,
Что укатил в Тамбов, к семье…

Война прошла, как чёт и нечет…
А патефон — и рвет и мечет!..

***

Улетели луга,
Улетели сады и леса…
И в колодезной мгле
Холода голубые стояли.
А бечевочный змей
Навсегда уходил в небеса,
В облака, в облака,
Что снегами уже накипали.

(Ах, мамочка, милая мама!)

Пел слепой замполит
На ступенях сельмага о том,
Как под польским холмом
Закопал он глаза ледяные,
Василиса ему
Выносила казенный батон,
Опускала потом
На ладони его земляные.

(Ах, мамочка, милая мама!)

Из воды выходил
Полуночный голодный налим,
По низовьям Оки
Дымовая плутала истома,
А в глазницах у вдов,
Словно луны из голых долин,
Возникали глаза
Не дошедших до отчего дома.

***

Не смотри солдат слепой
Черной жабой.
Ты гуляй себе с рябой,
Потной бабой.

Посоли-ка огурец,
Кружку выдуй.
Не завидуй мне, слепец,
Не завидуй.

***

И пляшут, прогибая твердь,
Две пьяных бабы — Жизнь и Смерть…

Иван да Марья вышли из ворот.
На них глазеет весь честной народ.
Иван – хмелен! Под сердцем – ордена!
В платке трофейном юная жена.
Запела Марья…Голос так высок! –
В нем сына нерожденный голосок…
Вдова Христина — в девятнадцать лет –
Из-за плетня по-волчьи смотрит вслед.
Негнучая, прямая, как доска…
Неразлучимы счастье и тоска!..

СОСЕДИ

Две руки старшина схоронил.
Живу душу зато сохранил!

«Заходи! – не чурайся, браток!..
Посиди! – почумазим чуток…»

А сержант – при руках и ногах,
Только вроде уже в мертвяках…

«Эх, души на войне не сберечь…
Мне бы стопочку – память прижечь!..»

***

Куда же вы делись,
Солдаты-солдатики?
Где встали на вечный
Солдатский покой?
Сегодня в селенье
Под окнами, в садике
Гуляет ознобный
Цветочный настой…

В колодце вода,
Как веселая денежка,
Спокойное небо
Метет самолет…
А ваша седая
Любимая девушка
Солдатскую дочь
Под венец отдает.
Холмы да холмы,
Да столбы полосатые,
Лучи обелиска
Из талых полей…
Все пахнут пути
Молодыми солдатами,
Шинелями пахнут
Стволы тополей…

***

Две матери грозно скрестили глаза
Над безвестной солдатской могилой.
«Он — мой!!» — закричала одна
И тряхнула ограду с крестьянской немыслимой силой.
«Он — мой…» — словно эхо шепнула другая,
Прозрачные руки ломая…
Над ними шумела дубовая крона –
Душа прикарпатского мая…

***

И все же, черти, — в здравии! — в живых!
И в рядовых, и в оченно заслуженных…
Чу! — хрипотца их голосов живых,
Разноречивых, сорванных, застуженных…
И все-таки, немало их — живых,
В регалиях надраенных, затертых!..
…Так почему же мы опять — о мертвых?..

Анна Агнич. Два рассказа

Анна Агнич родилась и выросла в Киеве, жила в Москве и Нью-Йорке, сейчас живет в пригороде Бостона, работает бизнес-аналитиком. Рассказы публиковались в журналах России, Украины, Израиля, Германии, Канады и США.

Несколько слов об удивительно прекрасной короткой прозе Анны Агнич. В двух ее рассказах — все о нас, людях, живущих в России и в США, и вообще по всей земле.

Роман Ефимович из рассказа «Дровяная печь» знает, что делает, почему, и зачем... В своих снах он там, в СССР... и ведомо ему многое, о чём другие и не догадываются. Повествование вызывает у нас, малых мира сего, неприятие геополитических конфликтов. И обостряет чувство ценности этого мира, и его хрупкости...

Рассказ «У подъезда» как бы возвращает нас ко всем известным бабушкам, сидящим на скамейке у подъезда. Но в данном случае автор доводит свой рассказ об обыденном до высокой трагической ноты. "Бедная мама, бедные мы". Об этом рассказе не писать надо, а ч и т а т ь его...

Инна Иохвидович

Проза Анны Агнич, с её вроде как неброскими историями из обыденной жизни, завораживает. Когда-то прочла ее «Ночную почту» и запомнила надолго. Потолочные Ангелы из этого рассказа будоражат до сих пор. Совершенная вещь. В рассказах, что выставляются в журнале сейчас — изысканная простота. В ней тоже проглядывают те самые Ангелы. В героях, что тайно дозором досматривают своих близких, свою жизнь. В оркестре, который каким-то наитием углядел автор в инвалидных старушечьих колясках, в переговорах-перепевах, обсуждаловках женщин, дотягивающих свои последние ноты. В не таких детях, не таких матерях, не такой жизни. Не так мыкающиеся — и хором, хором к Божественному. Псалмовому. Как можно так видеть. Когда важны в рассказах становятся детали, спектаклем проявляющиеся перед нами — зрителями. Пальто, плечо, тенор, контральто, сиделки, ветер, полусонное дуновение, чтобы сны отогнать плохие. Печка (ещё не созданная, но уже видимая и живая), ветки, банка клюквенного сока. Грустная улыбка автора, наблюдающего за действом, происходящим на сцене.

Ирина Жураковская

Дровяная печь

Роман Ефимович, гвардии подполковник в отставке, вытащил из кустов стремянку, приставил к окну второго этажа, огляделся — не смотрит ли кто, и полез наверх. На все про все у него минут сорок: пока жена котлеты жарит, она из кухни не выйдет.

Закончил с одним окном, переставил лестницу к другому. Все, пора сворачиваться. Глянул на часы — чувство времени не подвело: тридцать девять минут, ноль-восемь секунд. Отнес стремянку в кусты, спрятал банку с краской. Еще десяток погожих дней — и все подоконники будут как новые. Домашние не заметят, у них глаз не настроен на эти вещи, а дерево не станет гнить. Вот вам и семьдесят восемь лет, вот вам и «не лазь, папа, не рискуй»! За шесть лет в Америке вон как детям дом в порядок привел — потихоньку, не спеша, чтобы этот, как его… кардиостимулятор поспевал.

В тринадцать ноль-ноль Роман встречает желтый школьный автобус. Внучки бросают рюкзачки на асфальт и гоняют с соседкиными детьми в пятнашки. Младшая становится на свой рюкзак и кричит: «No babysitting! No babysitting!» Ага, понятно, это у них вместо нашего «за одним не гонка, человек не пятитонка».

Пятитонка, полуторка… угловатый зеленый грузовичок... где Роман его недавно видел? А, да, сегодняшний сон... Пыльная сумеречная площадь, он стоит с отцом, что-то важное хочет то ли сказать, то ли услышать. Подъезжает грузовик: дощатые борта, в кузове солдаты — молодые, круглолицые, румяные. Отец запрыгивает через борт, Роман еще удивляется, как это легко у него получилось. Отцовский тулуп на глазах превращается в солдатскую форму первой мировой войны. Почему первой — он же воевал на второй? Грузовик отъезжает, среди молодых солдат выделяется старое лицо отца. Но вот оно разглаживается, розовеет, вот уже неотличимо от других. Так Роман и не успел то ли сказать, то ли спросить что-то важное. Теперь уже не узнать что.

Он приводит внучек домой и сдает жене, а сам принимается за дела. По четвергам уборка в гараже — у него все по расписанию, тридцать лет на гражданке не изменили военных привычек. На цементном полу свалены картонные коробки, их надо разломать и связать в плоские пачки — пойдут в макулатуру. Четыре банки клюквенного сока: видно, сын привез и бросил где пришлось. Три банки Роман ставит в шкафчик, а одну несет в подвал, в свой чулан.

Здесь идеальный порядок: на нижних полках соки и вода, над ними в герметичных контейнерах крупы, мука и орехи — перед тем как запечатать, он их держит в морозилке, чтоб не завелся жучок. Два ящика свечей, три сотни банок консервов — даты надписаны, он регулярно освежает запасы. Если вдруг что, семье хватит перезимовать, еще и соседей поддержать от щедрот. Народ здесь в Америке не пуганый, не запасливый, жареный петух в одно место не клевал. Тут никто в жизни не видел пустых магазинов. А если ураган дороги размоет? Или электричество вырубится надолго, месяца эдак на два?

Здесь все на электричестве, бензина на заправке — и того не нальют; сиди тогда, кукуй — ближний магазин в шести милях. Надо бы вырыть погреб во дворе, горючего для генератора запасти в герметичных канистрах, но это потом, первым делом — дровяная печь. В доме отопление газовое, а без тока не работает: это ж надо — не предусмотреть ручного режима! Разве можно надеяться на электричество? Ну и что, что вся Америка надеется… Если все дурни губошлепые, так и самому туда же? Печку поставить в подвале простую, железную, обложить камнями — чтоб набирали тепло и отдавали постепенно. Когда к морю семьей ездят по выходным, Роман прихватывает домой пару-тройку гладких булыжников — уже целая горка за кустами. Дрова тоже запасает постепенно: участок большой, лесистый, веток падает много,

весной здоровенный клен ветром свалило. Попилил, поколол — с полкуба добавил в поленницу за сарай, под самодельную крышу.

Приехали с работы дети. Роман выходит, осматривает машины: не спустило ли колесо, нет ли царапины — в автомагазине краска продается точно в тон. За ужином, когда все наелись маминых котлет и пришли в хорошее настроение, в который раз заговаривает о печке. Дети переглядываются, вздыхают. Невестка говорит:

— Папа, мы решили в этом году ничего не делать. Не потянем пока — страховка вырастет, налоги тоже. Давайте отложим разговор на пару лет?

С невесткой Роман не спорит. На сына может прикрикнуть, а на нее — никогда. Тихая вежливая женщина с нежными белыми руками и маленькими, трогательно пухлыми ступнями, она смотрит ласково, говорит спокойно. Устает, бедняжка, не высыпается, на работу выезжает в шесть утра. В школе американских оболтусов учить — тут не только устанешь, тут с ума сойдешь. И платят мало. Но ей важно делать живое дело, а не в корпорации за большие деньги штаны протирать. Это Роману понятно, сам такой.

Перед сном они с женой выходят погулять. Небо ясное, звезды крупные. Возле перекрестка Роман обхватывает жену за плечи и ведет дальше, обняв, потому что здесь она обычно вспоминает, что хочет увидеть падающую звезду, и перестает смотреть под ноги.

Потом, когда засыпают все дети — и маленькие, и взрослые, он ходит по детской половине дома, гасит свет в ванной и коридоре. Проверяет подвал — так и есть, лампы горят: видно, сын спускался за чем-то.

Под утро ему снится сон. Этот сон ему часто снится, но почему-то всегда забывается. Другие помнятся, а этот нет. Заснеженные маскировочные пригорки раскалываются надвое, расходятся в стороны. Откидываются массивные крышки ракетных шахт. Откуда-то с большой высоты Роман видит в широких воронках округлые рыла боеголовок. Одна шахта пустая — нет, не может быть... сердце дает сбой — где ракета? Как она могла пропасть? Это конец, это позор, это расстрел... Уже внизу, под землей, в командном модуле, он орет на дежурного майора, орет страшно, так, что голова чуть не разрывается от давления изнутри, но из горла выходит только сип.

Роман дергается, стонет, и жена, почти не просыпаясь, дует ему на лоб — так она дула на детские лбы, когда сыновьям снились кошмары. Роман успокаивается, сон меняется: все ракеты на месте, в идеальном порядке, готовые к пуску. Вздрагивает земля, из желтоватого дыма, опираясь на короткие огненные столбы, взлетают баллистические ракеты и скрываются в темном небе как постепенно гаснущие звезды.

От вверенной Роману базы через Северный полюс до США им лететь двадцать минут сорок секунд. Ну и бабахнет там сейчас! Электричество точно вырубится. Ничего, пока долетят, он успеет поставить печку. Дрова есть, зиму перезимуем, а там видно будет.

И он улыбается во сне.

У подъезда

Ох, какой ветер! Возле дома тихо, а свернешь за угол — налетает, дергает полы пальто, разматывает шарф. Ветер срывает с маминой головы берет, я бегу, бегу за ним, он катится, виляя как кривое колесо. Догоняю, промахиваюсь, ловлю. Возвращаюсь к маме. Она сидит, как я ее посадила, на бетонной тумбе. Молодец.

— Давай не пойдем на набережную, мам? Посидим у дома? А то нас обеих сдует в океан.

— Мне все равно где, лишь бы с тобой, — отвечает она и смотрит снизу вверх огромными сквозь сильные очки глазами.

Я прилаживаю берет на мамины волосы. Они не меняются, эти береты, их не берёт ни время, ни расстояние. Та же плотная шерстяная фактура, спиральная мелкая вязка и бодрый хвостик на макушке — что в России, что во Франции, что в Америке. Что сейчас, что в моем детстве лет сорок назад.

На нашей улице почти безветренно. Соседки подвигаются на лавочке, дают нам с мамой место. Они удивительно музыкальны, эти женщины у подъезда, чувство ритма у них, как у актеров немого кино, как в комедиях Чаплина и братьев Маркс. Впрочем, это не фильм — это опера в концертном исполнении. Невидимый дирижер взмахивает рукой, стихает увертюра брайтонского сабвея, и вступает первая женщина — та, что помоложе. На ней кремовая шуба, безумная алая шляпа и шарфик в тон.

— Вот туфли, — выводит она медовым контральто, — сто пятьдесят долларов, а уже разваливаются! — она поднимает ногу с подножки кресла-каталки, чтобы все могли видеть маленькую туфлю с огромной, как из комедии Мольера, пряжкой. Женщина сидит в своей каталке криво, хочется поправить, помочь ей сесть поудобней.

— А мои, — подхватывает слабым сопрано рыжая бабулька, — стоили восемьдесят, и второй год ношу!

— А мои тридцать, — отрывисто бухает крупная старуха с волосами фиолетового цвета и топает большими ступнями: сперва одной, потом другой.

Слушатели ждут продолжения, но фиолетовая уже все сказала и сидит, свесив голову, уперев локти в толстые колени. В советские времена такого оттенка седины добивались, ополаскивая волосы школьными чернилами. Интересно, где их покупают здесь, в Нью-Йорке?

Рыжее сопрано:

— Почему Дора не вышла, кто знает? Надо ей позвонить, может заболела? А Софу-то, Софу, знаете, уже привезли из больницы!

— Как! Когда? Что случилось? — хор вразнобой, как в современной опере.

— Чаем обварилась, вот тут и тут, — гордится осведомленностью рыжая.

— Не показывай на себе! — бьет ее по руке фиолетовая. — Ты лучше скажи, как твой артрит?

— Да когда как, а когда никак. Пусть бы дальше так, пусть бы и дальше, лишь бы не хуже.

— Я мазью мажусь и пластырь клею, — ритмично бухает фиолетовая, расстегивает куртку и обнажает плечо. Все смотрят на вздутое тело, сероватую ткань пластыря. Я невольно воображаю фиолетовую голой: огромные ляжки, вислый живот закрывает седые волосы паха. Куда смещается пуп, когда живот обвисает так, что даже сквозь куртку видно? Кожа растягивается, а пуп куда?

— Не могу я себя мазать, ничего на себя мазать не могу! — подбирается к верхнему «си» рыжая, передергивается, как от прикосновения медузы, и добавляет октавой ниже: — А у моего Фимочки сегодня день рождения.

Хор нерадостно поздравляет — у нее сын лежит второй год после аварии. У рыжей в глазах такое, что немедленно надо помочь, сделать что-нибудь — а что сделаешь? Ничего…

— Пусть бы и дальше так, лишь бы не хуже, пусть бы и дальше так… — бессмысленно звенит рыжая.

Нет, это не сопрано, это бубенцы или вовсе треугольник, есть такой инструмент.

Пауза.

— О! О! О! — выпевает полновесным контральто кремовая шуба, с каждым «О!» повышая тон. — Куклу везут!

Все оборачиваются. Тощенькая раскосая девушка толкает кресло на колесах. В нем полулежит закутанная женщина, колышется копной сена. Лицо опухшее, совсем молодое — или это гладко натянута отёчная кожа?

— Во, — басит кукла из-под шарфа, — такой ветер на берегу, такой ветрюган! Во — сломал мне зонт.

— Да выбрось ты его! Выбрось ты этот зонт! — энергично вступает хор.

— Не-а... мы дома глянем, мож зашьем. Гля, каки спицы вострые! — басит кукла и перебирает пальцами-сосисками тонкие светлые ребра зонта.

— Выбрось-выбрось-выбрось! — Ишь, как дружно грянули, прямо «Многая лета!».

Мимо лавочки, не здороваясь, проносится девушка: черные волосы по плечам, как ласточка влетела в подъезд.

Пауза.

— Она думает, мы никогда такими не были, — звякает рыжая.

Фраза повисает без отклика — никто не причисляет себя к этому «мы» на лавочке у подъезда. Ни кремовая шуба, ни моя мама, ни тем более я. Неужели сцена закончится на слабой ноте? Но нет, дирижер на месте, он выдерживает паузу максимально возможной длины и взмахивает рукой. Фиолетовая завершает сцену грохотом литавр:

— Держи карман шире! Она о нас вообще не думает.

Пауза.

Фиолетовая дробно басит:

— Этот, Алкин муж-то, Киркоров! Его все обирают, да. А Галкина поди обдери! Он хитрый. А Баскову квартиру кто-то дал. Квартира в десять миллионов евро.

Мама тянет меня за рукав и тихо спрашивает:

— Кто такой Басков?

— Да ну, — звенит рыжая, — уж прям десять миллионов? Уж прям евро?

Кремовая шуба молчит, улыбается высокомерно: она здесь только потому, что у океана ветер. В инвалидном кресле она сидит по-прежнему косо. Ее темнокожая помощница, не говорящая по-русски, прислонилась к стене и смотрит в небо. Я поднимаю глаза: облака поперек узкой улицы летят удивительно быстро.

Мама помалкивает, бережет репутацию умной дамы. Правильно, пусть соседки помнят ее прежней.

Фиолетовая поворачивается к нам:

— Олечка, вы газету прочитали, что я вчера принесла?

Мама пытается понять, о чем ее спрашивают.

— Что, не прочитали?

Мама выпрямляет спину:

— Прочла, а как же. От корки до корки!

Вот молодец, незачем им знать, что бывают дни, когда она не может читать, буквы не складываются в слова. Поначалу она переживала, плакала, а теперь не жалуется, смирилась. А может, забыла. Никогда не знаешь, о чем она забыла, а о чем не хочет говорить.

Выходит еще соседка:

— Олечка, ну как? Отметили? В ресторане или дома? Гостей много было?

— Гости вечером придут, — отвечаю я за маму.

Хор вразнобой:

— Олечка! Что, как, день рожденья? Разве у вас не летом?

Соседка объясняет:

— Они придумали ей каждый месяц день рожденья отмечать. Вот молодцы!

Это и впрямь была удачная затея, мама обожает торжества. Она возглавляет застолье, говорит тосты, иногда забывает слова, но достойно выходит из затруднения.

Мама встает, легко опираясь на мою руку, — знает, в какой момент уйти, у нее всегда было развито актерское чутье. Довольно слушает реплики вслед:

— Такие дети! Золотые дети... А муж какой был — брильянт! Вы помните? Такая была пара!

Я поеживаюсь. Были бы хорошими детьми, жили бы в одном городе. А так... обстоятельства, мол, обстоятельства. Бедная, бедная мама. И бедные, бедные мы.

Мама поднимается по ступенькам, держась двумя руками за перила, подтягиваясь на них, как на канате. Я не помогаю, только страхую: она хочет все делать сама. На верхние этажи идет лифт прямо из вестибюля, а на первый этаж — лестница, семь ступенек. Когда мама снимала эту квартиру девятнадцать лет назад, что ей были какие-то ступеньки? Она и не думала стареть: был новый молодой муж, праздники, поездки, спектакли, розыгрыши. Она хотела жить у океана в хорошем доме с низкой квартплатой, и дала порядочную взятку, чтобы снять эту квартиру. Я возмущалась:

— Мам! Разве мы для того летели в Америку, чтобы здесь взятки давать?

— Не волнуйся, доченька, Брайтон не Америка, в остальной Америке все, как ты хочешь, — сказала тогда мама и поступила, конечно же, по-своему.

Я накрываю на стол. Дневную помощницу мы отпустили: пусть отдохнет, у нее тяжелая работа, нервная. Не все выдерживают маму, она у нас сильная личность. Если ей хочется в три часа ночи пройтись по зимней улице в пижаме, она будет бить кулаками в дверь и кричать:

— Почему я, взрослый человек, не могу пойти, куда и когда хочу?

Сиделки тогда звонят мне, я включаю компьютер, чтобы мы с мамой друг друга видели, и приглашаю ее поболтать. Мама успокаивается, наутро я повышаю сиделке зарплату.

Ночных нянь мы нанимаем сами, а дневных оплачивает штат — этих я стараюсь отпускать домой, когда приезжаю в Нью-Йорк. Все равно мне никуда не уйти, мама скажет: «Иди, доченька, конечно, повидай друзей», — и сядет плакать.

Спасибо, муж соглашается проводить здесь часть отпуска. За неделю мы маме надоедаем, и она отпускает меня с облегчением. Кто знает, сколько их осталось, этих недель.

Лавочка у подъезда пустеет.

Рыжая старуха идет к сыну Фиме. Свой день рождения он праздновать не хочет, лежит, уставился в телевизор. Врачи говорят, депрессия. Еще бы не депрессия: молодой пятидесятилетний мужчина второй год лежит парализованный. Новая жена ушла — а не надо было старую бросать, на фифочке жениться. Хорошо, помощница есть от государства, а то бы вообще... В квартире два телевизора — сын терпеть не может программы, которые смотрит мать. Сегодня про женихов и невест — эту передачу рыжая не пропускает, волнуется, кто кого выберет.

Женщина с фиолетовыми волосами идет домой, сдирает лидокаиновый пластырь и стоит в наполненной паром ванне под горячим душем, греет плечо до малинового цвета. Вены на ухабистых ляжках — как реки на контурной карте. Левая еще ничего, а на правой вздуваются и болят. Фиолетовая надевает мужской халат и торопится к телевизору смотреть про женихов и невест. Ей-то самой передача не нравится, ей бы про спорт, но завтра станут обсуждать на лавочке, надо быть в курсе.

Кресло-каталку с распухшей молодой женщиной по прозвищу «кукла» тощенькая помощница заталкивает в лифт — наискосок, иначе не поместится. Куклина нога больно упирается в стенку. Дома ее перекладывают в кровать при помощи специального подъемника на цепях. Кровать тоже специальная, с мотором — дорогущая, государство платит. Кукла смотрит передачу про женихов и невест, по вздутым щекам текут слезы. Она не пытается их вытирать, ей больно сгибать в локтях руки.

Женщину в кремовой шубе тоже везут домой в кресле. После ужина она отпускает помощницу, включает компьютер и проверяет почту.

В маминой квартире уже накрыт стол, скоро появятся гости — мои двоюродные братья с женами. Потом придет ночная помощница, у нее дежурство будет беспокойное: завтра я уезжаю, мама в такие ночи не спит, проверяет, здесь ли еще мое пальто. Ляжет и снова вскакивает, боится, что уеду не попрощавшись, хоть я никогда так не делала. Правда, в обычные ночи она тоже мало спит, бродит, ищет сама не знает что, иногда просится, чтобы ее отвели домой. Где этот дом, не знает никто, и меньше всех она сама.

Приходят наши гости. Белая скатерть, мельхиор, цветы — все, как мама любит. Именинница говорит тост. Сначала бодро, потом устает, путается:

— Дорогие мои, спасибо вам! Не за то, что вы для меня делаете, а за то, что вы это делаете с улыбкой. Люди все нужны и интересны, но не все добры, талантливы и красивы. Я пью за добрых, талантливых и красивых, пусть вам будет хорошо! и пусть всегда памятиново… фимолал... — она удивленно прислушивается к тому, что выговаривает язык. Берет себя в руки, поднимает трясущийся бокал, и, сияя улыбкой, заключает: — Пусть всегда — и очень — и всегда!

Мы чокаемся и выпиваем за ее здоровье. Пусть всегда — и очень — и всегда!

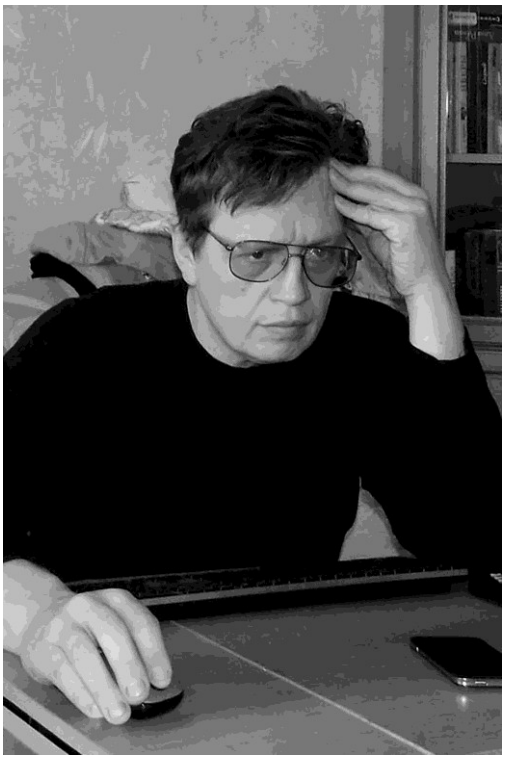
К десяти вечера наши гости расходятся. В доме один за другим выключают телевизоры. Соседи укладываются спать, и только хозяйка кремовой шубы сидит у компьютера всю ночь, печатает скрюченными пальцами. Она популярна в интернете, ведет с полдюжины пылких романов, поклонники настаивают на свидании, она обещает встретиться, но всегда ускользает в последний момент. Для них она — молодая аргентинка по имени Исабель, изучающая русский язык танцовщица фламенко. Сегодня Исабель пишет о кастаньетах — не нужно ли ей от них отказаться? Кастаньеты мешают грациозности движения флорео, когда кисть поворачивается и раскрывается, и как цветок, распускается постепенно. У Исабель красивые, выразительные руки.

Она печатает русскими буквами завораживающие испанские слова и напевает ритмично и низко: «Сападеадо, питос, пальмас! Сападеадо, питос, пальмас...» Научиться языку этого танца хозяйке кремовой шубы было легко: до инвалидности она, в самом деле, была танцовщицей. Правда, не фламенко — но какая кому теперь уже разница.

Аргентинка Исабель уходит спать в шестом часу утра. Над Брайтоном джазово грохочет, взвизгивает и затихает сабвей.

Мама тихонечко, с остановками, идет по коридору взглянуть на мое пальто. Я вижу во сне, будто я большой барабан, и сам дирижер пробирается между пюпитрами, чтоб вопросительно тронуть мембрану мягкой фетровой колотушкой.

Андрей Звонков. Один взгляд назад. Фантастический рассказ



Андрей Леонидович Звонков родился 3-го апреля 1960 г в Москве. Отец офицер, впоследствии (с 1970 г после окончания МГИМО) — дипломат (работал во Франции); Мать — медсестра. В 1980 году окончил медучилище и до 1991 года работал фельдшером на Московской станции скорой помощи, одновременно учась в мединституте. В 1992 году получил диплом и сертификат врача и анестезиолога-реаниматолога, работал в кардио-реанимации, в службе переливания крови, врачом сборной команды по прыжкам на лыжах с трамплина и проч.

Литературная деятельность с 1998 года. Впервые опубликовал рассказ «Светит месяц, светит ясный» в газете Гудок в январе 98. Дебютный роман «Любовью спасены будете» в жанре мистический триллер написан был в 2000-2004 гг., а опубликован в 2009 году в издательстве «Центрполиграф» в серии «Бессонница».

Книга «Анализы и диагнозы» в жанре научно-популярной литературы заинтересовала издательство «ЭКСМО» и вышла в рекордные сроки (от сдачи рукописи до появления в продаже — 4 месяца) в 2014 году и за 2 месяца вышла в лидеры продаж среди аналогичной литературы в крупных магазинах Москвы. В Озоне получила метку «бестселлер». Тираж 7000 полностью разошелся за 7 месяцев. Книга «Практика на скорой» из разряда прикладной научно-популярной литературы «с художественным оттенком» ожидает издания в ЭКСМО в 2015 г.

Рассказ "Один взгляд назад" в 2012 году занял 2-е место на конкурсе "Письма с фронта" на литсайте "Создатели миров".

Андрей Звонков создал в одном прозаическом пространстве зримо видимую, со многими пластами историю и уместил там и разные военные ушедшие перемещения, и нынешнюю политическую жизнь во всех ипостасях зараз, и медицинские многофазовые опыты, и письма с предсказаниями. Получилось очень насыщенно, даже и несколько сумбурно.
Несколько слов о предсказаниях. Солдат в боевых условиях перед смертью, получает Откровение о будущей жизни. И это не кажется неправдоподобным, возможно это лишь одна из множества тайных историй, с которыми сталкиваются в своей практике медики и священники.
Автору удалось заинтриговать читателя не просто фантастической историей, а памятью. Нашей памятью о войне. И совершенно разным к ней отношением.

Часть I

Доктор сцепил руки в замок, и, положив их на столешницу, покрутил большими пальцами. Лет ему около сорока, высокий лоб, наступающий на остатки некогда черной шевелюры, густые черные, почти "брежневские" брови, узкие прямоугольные очки в оправе под золото а ля пенсне Берии, крупный с легкой горбинкой нос и пухлые "вкусные" губы в обрамлении аккуратных густых и очень черных, под стать бровям, усов и бородки. Типичный психиатр. За бликующими, чуть затемненными стеклами очков я не мог видеть его глаз.

— Ну, что я могу сказать вам, любезнейший. — Он еще покрутил большими пальцами. — Сны ваши яркие, граничащие с галлюцинозом, но, как вы говорите, вы не отрываетесь от реальности?

Я кивнул.

— Нет, я отлично понимаю, что ничего подобного со мной не происходило. Есть только ощущение дежа-вю, будто что-то было, а я не помню когда и где. И очень уж реально... особенно запахи... Первый раз я проснулся от сильнейшего запаха портянок, меня чуть не вырвало. А вчера запах перестоявшей дрожжевой закваски. Это не так мерзостно, как портянки, но удовольствия мало.

— А что еще вы помните?

Я прикрыл глаза.

— Вагон, теплушка, в углу печка-буржуйка, на полу вагона гниющая трава.

— Прелое сено?

— Да, верно, сено.

— Вы один в вагоне?

— Кажется, нет.

— Что еще помните?

— Очень сильно хочется есть. До спазмов и тошноты. — Я вспомнил это ощущение. — Да, голод и запах кислого.

— Что вы сделали? — доктор спрашивал спокойно, не форсируя интерес, но и не безразлично. Все интонации отработаны профессионализмом.

— Проснулся и пошел к холодильнику.

— Покушали?

— Нет, пока шел, голод исчез, какое-то время сохранялся запах прелого хлеба и соломы, но потом и они исчезли.

— Это все?

— Да.

— Ну, я не думаю, что вам стоит так волноваться. Вы, наверное, сильно устали за прошедший день?

— Можно сказать и так, — я действительно ударно работал всю неделю. Спал по четыре часа. Но это мой обычный режим. Спать максимум шесть часов. Я работаю постоянно, даже во сне. Иногда просыпаюсь, а в мозгу готовые планы переговоров, логистики. Первый сон накатил на меня, когда я в рабочем кабинете присел на диван и на минуточку прикрыл глаза. "Минуточка" вышла в четыре часа и невероятной силы ощущения, что я сплю в грязном вагоне, в куче сопящих мужиков, и все пространство наполнил сокрушительный аромат сохнущих портянок. — Может быть, рекомендуете, что-нибудь попить? Я вот с вами разговариваю, а ощущение, будто я не мылся дня три, иногда запах черного хлеба буквально сводит с ума, так хочется ржаную горбушку.

Психиатр покачал головой. Очки блеснули.

— Давайте, пока не будем. Если сон повторится, вы опять проснетесь в тревоге, приходите. Будем принимать меры. А пока, будем считать все происшедшее результатом переутомления.

Я поднялся.

— Сколько я должен?

— По тарифу, прошу в кассу. Медсестра вам впишет чек на оплату. Первичный осмотр и вводная беседа — со скидкой, если понадобится курс лечения, уплаченная сумма войдет в его стоимость.

Я расплатился и ушел.

Не могу сказать, что консультация успокоила меня. Я решил "лечиться" проверенным способом — работой. Мне предстояла поездка в Великий

Новгород. Можно взять билет на поезд, но я — автомобилист. Что такое 5 часов за рулем? Для меня — возможность отдохнуть и подумать о делах насущных.

***

Такой плотный туман, что не видно зданий. Под ногами снежно-глиняная каша. Из молочной взвеси выступает раскрошенный кирпичный остов церкви. Мимо меня движется густая черная масса, тяжелое дыхание сотен ртов, чавканье грязи, негромкое лязганье металла о металл. Я застегнул ширинку и побежал, торопясь занять свое место в строю...

— Жека!!!

Я наподдал. Взвода уже не видно.

— Где мы?

— Станция Черный Дыр... — прошамкал кто-то рядом. — Чутка до Осташкина не докатили.

— Дярёвня! Осташкова! А там была Черный Дор! — молодой голос доносился из тумана, а я узнал — Саша Левков... мы с ним скорешились уже. И спали рядом, когда объявляли привал и пайком делились. Подумал о еде, и сразу заболело под ложечкой. В сидоре баранки оставались.

— Куда мы? — спросил я, догнав Левкова, сунул ему в руку баранку.

— Лейтеха сказал — на Марево. Полста верст с гаком. И все пехом! — Сашка умолк, занявшись окаменевшей сушкой. И вдруг изрек: — Шел Шаша по шоше и шашал шушку...

— А велик ли гак? — спросил кто-то из тумана.

— А еще полста! — хохотнул Сашка.

— Отставить разговорчики! — донесся грозный голос.

И тут кто-то сильно ударил меня в лицо.

***

Я очнулся от того, что лбом шмякнулся об руль. Машина правыми колесами соскочила в кювет и меня спас небольшой сугроб и то, что я ехал не быстро. Видно, нога соскользнула с педали, а коробка-автомат поняв, что газ не нужен, постепенно замедляла ход. Я никогда не засыпал за рулем. Да я и не спал. Сон — не сон? Господи, да что ж это?

Перед капотом крузера стоял белый знак "Яжелбицы".

Что это было? В ушах стоял незнакомый и при этом знакомый молодой голос: "Дяревня! Черный дор!"

Рядом тормознул камаз-самосвал, водитель высунулся по пояс.

— Помочь, командир?

— Помоги, — я полез в бумажник.

— Уснул? — водитель грузовика спрашивал без упрека.

— Вроде того, моргнул.

Водитель хохотнул.

— Бывает! Адреналинчику хлебни или красного бычка!

— Химия...

— Химия, — согласился водила, — но помогает. Главное, больше банки не пей.

— А то что? — спросил я, прицепляя трос к задней скобе.

— Не знаю, невестка — врачиха, говорит, больше нельзя.

Совет самосвальщика оказался дельным. Правда, сработало зелье только часа через два, когда я уже добрался до нужной конторы. Мне не повезло, что приехал я аккурат к обеденному перерыву и решил, не пропадать же часу, нашел вполне приличную харчевню "Ильмень" с традиционной русской

кухней и чистенькими скатерками на деревянных массивных столах. После обеда я ощутил характерную релаксацию. В организме боролись истома, послеобеденный кайф и химические возбудители из черной банки. Возбудители держались насмерть. Я сидел, закрыв глазки. До встречи с респондентом оставалось полчаса, и я решил накидать черновичок договора, точнее тезисы основных положений, которые, согласовав, вставим в типовой проект.

Я достал из папки чистый лист и принялся делать записи.

***

На двери кабинета психиатра висела та же табличка: А.Г. Забатар. Он не удивился моему второму визиту.

— Присаживайтесь, рассказывайте. Что-то новое или опять сны?

Вместо ответа я положил перед ним лист.

Психиатр взял в руки и, сняв очки, чуть наклонив голову, принялся читать.

19.X-41г.

Добрый день дорогие родные!

Шлю вам пламенный армейский привет и желаю хорошей жизни. Мама я нахожусь в неизвестной мне местности. Попали мы сюда после 25-келометрового похода и поселились в ститути адрес которого я еще не узнал, т-к отправили нас ночью в снег так что многие не дошли.

Деньги с производства я получил мне причиталось еще 53 рубля, а компенсацию должен получить папа, т-к я может быть больше не попаду. Нам в взводе давали продовольствие, мясо, колбасу, хлеб, силетку, сыр так-что голодным не остаюсь. Деньги которые я получил, что их могу передать вам мне с ними делать нечего. Мама мне дали обмундирование, шинель, шапку, ватник, а брюки ватные я брать не стал, потому-что дают рваные. Хорошо, что папа дал мне носки, кружка твоя мне пригодилась и сахар. Мама передай папе что-бы он получил компенсацию, а то депо эвакуируется и не получить. Адреса я не посылаю, потому что неизвестно где буду.

— Что это? — психиатр прочитал письмо вслух.

— Этот текст написан мною, — сказал я, — в кафе Ильмень в Новгороде, пока я ждал окончания обеденного перерыва в нужной мне организации.

— Зачем?

Я пожал плечами.

— Я писал тезисы к договору. Я так думал. Если вы думаете, что я морочу вам голову, и действительно, не знаю как писать слово "селедка" и "институте", что нужно ставить запятые после обращения и перед где, который, как. А еще вот это... — я на обороте листа написал: Добрый день дорогие родные. Моим обычным почерком с правым наклоном и немного острыми буквами. От круглого, какого-то бабского почерка мои "бегущие" строчки сильно отличались. — Я не могу воспроизвести этот почерк. Никогда так не писал.

Доктор Забатар занервничал. Его выдали руки. Он еще раз взял листок с письмом.

— Девятнадцатое октября сорок первого. Что для вас значит эта дата?

— Ровным счетом ничего. Я о войне знаю не больше вас.

— Это все?

— Значимое — да. Впрочем, есть еще неприятный эпизод. Я отключился за рулем и чуть не свалился в кювет.

— Тоже был сон?

— Что-то вроде.

— И что на этот раз?

— Да ерунда какая-то... остановился оправиться, снег, грязь на дороге, руины какие-то, солдаты.

— А может быть, запомнили имена? Знакомая местность? — психиатр встал и принялся ходить из угла в угол.

— Да, меня позвали — Жека.

— Жека? Это — Женя? Но вас ведь зовут, — психиатр поднял карточку: — Андрей?

— Да... на Жеку это не похоже. Это что — шизофрения? Раздвоение личности?

— Ну что вы... пока ничего такого утверждать не могу. А вам знакомо это имя? Кто этот — Женя?

— Ума не приложу. Среди моих знакомых мужчин — Жень нет. Послушайте, это же бред какой-то, октябрь сорок первого, а то, что я видел — точно не октябрь, точно... — я вдруг ясно увидел голые красные ветки с пушистыми шариками.

— Почему?

— Верба зацвела! Я ясно видел и помню вербу... это март как минимум!

Психиатр сел за стол. Он взял себя в руки.

— Я не имею оснований для утверждения, что ваш случай — шизофрения. Да, что-то наведенное в вашем сознании присутствует, я склонен предположить, что это результат переутомления и наложения забытого вами рассказа кого-то из родственников о войне. Может быть в детстве?

— Я ничего такого не помню и вряд ли смогу помочь.

Психиатр Забатар покрутил большими пальцами.

— Если хотите, можно попробовать гипноз и вытащить из вас эту загадочную личность Женю. Хотите?

— А это не опасно?

— Не опаснее, чем сейчас, когда он прорывается спонтанно.

***

26/X-41

Добрый день или вечер родные.

Шлю вам красноармейский привет и желаю всего хорошего. Спешу сообщить что нахожусь в 40 км от Москвы в деревне Юрьево, что пока жив и здоров. Папа если можешь то приезжай ко мне я нахожусь по октябрьской дороге станция "Сходня" 6 километров от станции. Папа захвати с собой хлеба так-что здесь хлеба очень мало и вообще из питания очень плохо, после того как приехали сюда стало очень плохо на счет питания, хлеба здесь в деревне нет а надо ехать в Москву, а увольнения не дают та что сидим в крестьянских избах выходим на улицу только за продовольствием.

Пошли мы сюда 24/X-41 и 24/X-41 были на месте.

Когда пришли целый день ничего не давали у кого что было то тем и питался, но у меня было питания на 1 день, что все вышло. Приходится ходить в колхоз и просить в жжжж картофеля так что можно было сварить себе похлепку, там-же в колхозе продают кроликов которых тоже приходится варить и ими питаться. Но что даю здесь питания командование то через 2 или 3 дня и ноги носить не будешь.

Папа прошу приехать ко мне если будешь свободен. Если не можешь то пришли письмо как семья как Люся, Шура, Игорь и Юленька живы вы или

нет. Мой адрес: Октябрьская ж.д. ст Сходня деревня Юрьево, 8 рота 3й взвод 1е отделение

Ефимов Е.И.

Можно ехать по Волоколамскому шоссе на деревню Митино а там тебе скажут, куда идти. Пока досвидания остаюсь ваш сын Женя.

Я перечитал письмо. Передо мной лежал еще один листок.

Добрый день.

Добрый день Мама, Папа, Люся, Шура, Игорь и Юля а дедушки длинный длинный, длинный привет. Мама посылку я получил. Мама прошу тебя приехать ко мне пока я стою здесь 15й дней. Если не можешь то пришли с этой женщиной письмо.

Мама если не можешь то может быть папа может приехать эта женщина покажет дорогу. Мама я слыхал, что ты приежала в "Чайку" но я был в наряде и ты не могла меня увидать теперь надеюсь встретимся с тобой и с папой.

Мама если можешь то захвати с собой белого хлеба так как здесь нам его не дают. Мама наверное ты сидишь без папирос и спичек приезжай я все достану.

Пока до скорого свидания

Женя.

— Я ничего не понимаю. Это я написал?

Забатар закурил. Руки его дрожали, когда прикуривал. Привычно и как-то мимоходом спросил без вопросительной интонации: «Вы не против?», и сразу сказал:

— Это он написал. Это его почерк.

— Кого? Кто этот человек? Мое второе я?

— Я не думаю. Это мальчик, думаю, подросток, ему лет восемнадцать, может быть, двадцать, и все время хочет есть. Для растущего организма это нормально. — Забатар раздавил окурок и потащил, было, новую сигарету из пачки, но остановился. — Вам точно ничего не говорят эти имена? Может быть, Митино, Юрьево? Что за "Чайка"?

Я в который раз пожал плечами. Митино — метро, район Москвы за кольцевой. Юрьево, наверное, где-то там же, недалеко от Сходни.

И тут я разозлился. Вся эта бредятина с голодным солдатом в 41 году под Москвой меня уже достала. Чего вы добиваетесь? Я не знаю никого, только одно имя мне знакомо — Юля, мою мать зовут Юлия. И что из этого следует?

— Пока — ничего.

— Вы можете избавить меня от этого Жени?

— Я постараюсь.

— Не надо! Пускай Мухтар старается, вы — профессионал? Дайте таблетку, чтоб он сдох наконец... я хочу спокойной жизни. Не просыпаться от вони портянок, от голода и не бояться, что однажды врежусь в дерево, из-за того, что этому Жене приспичило постучаться через мою голову в наше время. Я не могу его накормить... черт!

— Успокойтесь! — Забатар, уперся руками в столешницу и смотрел в упор. — Хотите избавиться, дайте ему выговориться, он ведь не просто так пишет эти письма. Мы что-то уже знаем. Нет таблетки от чужих воспоминаний.

— Если это повторится, дорогой доктор, я приду к вам еще раз, но этот раз будет последним, потому что я набью вам морду. Как профессионалу. Или вы реально мне поможете, или ваши линзы в очках станут контактными.

Меня изрядно колотило. Нервишки.

— Ладно, — Забатар быстро начеркал рецепт, — в регистратуре поставьте печати, пейте 1 таблетку на ночь. Гарантий дать не могу, но хотя бы выспитесь — отдохнете. А на будущее, хотите еще гипноз? Чем больше вы узнаете об этом Жене, тем вероятнее, что он скоро покинет вас.

***

Я поехал к маме. Ей уже за восемьдесят, перенесла инсульт, говорит, но плохо. Ехать, расспрашивать, знает ли она Женю? Тяжко мне на сердце. Пока вел машину по московским пробкам, вдруг остро ощутил боль за этого паренька, который в каждом письме пишет: привезите еды! Что я знаю о войне. Началась в 41-м, кончилась в 45-м. Наши победили. Подпустили немцев к Москве и поморозили тут. Потом гнали до Берлина, неплохо им надрали жопу под Сталинградом и Курском... Ну, еще ветераны выходят с орденами на улицы 9-го мая. Я их уважаю. Иногда. А иногда ненавижу, когда трясут медальками и корочками и лезут повсюду без очереди. Хотя, вообще-то, больше уважаю: даже наклейку на заднее стекло прилепил: "Спасибо деду за победу!", а Георгиевская ленточка на антенне уже истрепалась. Боль перешла в глухое раздражение, как всякий раз, когда я бессилен что-либо изменить.

Кто мне этот Женя? Видал бы я его... хочу спокойно спать. Хочу не думать о том, что меня не касается. У меня бизнес. Я оптовый поставщик продуктов в большую сеть магазинов. Не бедствую, кручусь как белка, а тут этот Женя... Да какого хрена? Раздражение навалилось внезапно. Не оставляло ощущение беспокойства. Будто я взял денег у кого-то и забыл отдать, точнее, забыл, у кого взял... или нет, у кого — ясно, а вот где этот кто-то, и почему он так настойчиво просит отдать должок? Да хрен ему! Пошел он!..

И я, не отрывая руки от руля, правой достал первое письмо, написанное мной сегодня под гипнозом. Тот же круглый почерк. Сидят по избам, вояки, и выходят только за продовольствием! Нормально? Немцы в 2-х шагах от Москвы, а они еду ищут. Штаны ему рваные дали. Обиделся!

И вдруг меня будто мордой окунули прямо в перец. Зажгло все лицо, я вдавил педаль тормоза, потому что глаза заволокла пелена. Слезы сами собой потекли. А я как малое дитя сидел и вытирал их кулаками. Горло перехватило. Дышать не могу. Что со мной?! Сзади гудели, я сквозь вату слышал матюки. Да что со мной?! Я с детства, с 15 лет не плакал. Сижу, как дурак и истекаю слезами. Не могу вести машину.

Через пять минут отпустило. Я прижался к тротуару. Остановился подумать и успокоиться. Почему я поехал к маме? Я вдруг вспомнил, что у нее были брат и сестры: Игорь, Люся, Шура — мои тетки и дядька, они уже умерли все. Мама с ними не особенно дружила. Точнее, они с ней. Всякий раз, когда в моем детстве они встречались, через несколько часов разговора расставались в дикой ссоре, припоминая друг другу все обиды. Так что, у меня от этих родственников никаких позитивных воспоминаний не осталось.

***

Мама живет в своей двушке в Кунцево. За ней ухаживает сиделка, тут я не жалею средств, мама — это святое. И помыта и накормлена и два раза в месяц мы приезжаем всей семьей, детки мои морщатся, конечно, но бабушку целуют. Ритуал. Мама улыбается левой стороной. Сиделка — Нина, я ее выписал из небольшого городка Архангельской области — Вельска. Старательная и честная тетка. Она почти все деньги, что я выплачиваю два

раза в месяц, отправляет родным в деревню. Сейчас в Москве учится ее старший внук. Иногда навещает бабушку, я не возражаю. С него довольно быстро слетел налет провинциальной чешуи. Говорит уже по-московски, а вот поведение сохранил тамошнее. Я улыбнулся. Смешной парень. "А от-чегой-то вы от-все запираете? Кто возьмет?" Я: а у вас, что, не запирают? А как воры? "Да на кой? Чего брать? Да и куда деть? Нет, у нас не запирают. Вона палка у двери стоит — хозяина дома нет. Никто и не входит". Я к ним приехал, ходил, открыв рот: страна непуганых идиотов. Да прут-то не от того, что нужно, а от того, что можно спереть, и за это ничего не будет. Он пожал плечами: "если взяли то, значит, нужно... пущай..." Теперь научился следить за вещами. Как лишился двух мобильников и куртки, сразу стал смотреть за вещами и комнату в общаге запирать. Дураков нужно учить. Если, конечно, их можно чему-то научить.

Дверь открыла Нина. Мама сидит в гостиной и смотрит телевизор.

— Привет, мамуль!

— Здрвуй... — она кивнула, качнула левой рукой. — Все вряке?

— Все в порядке, мам. Нина, сделайте, пожалуйста, чаю... — Нина удалилась на кухню.

— Мама, скажи, ты знаешь кто такой Женя Ефимов?

Глаза от телевизора перешли на меня.

— Брт.

— Твой брат? Я о нем ничего не слышал, — ее глаза увлажнились.

— Умр.

— Умер? Давно?

Кивнула.

— Пгип. Навне.

— Погиб на войне?

Кивнула.

Не могу видеть, когда мама плачет.

— Он мня бил.

— Бил?!

Она покачала головой.

— Любил, — вдруг произнесла очень ясно, — тока он. Юнька... Юнечка. А птом ушел навну и не пшол.

— А почему я о нем ничего не знал?

Пожала левым плечом. Смотрит куда-то в себя.

— Яго поню... искали.

— Почему искали?

— Прпал. Бзвести.

Я сел напротив мамы. Она больше не плачет. А я у меня ком в горле. Дядька, которого я не знал, рвется через меня к нам, живым.

— А что о нем известно?

Она левой рукой показала на комод.

— Орой!

Я выдвинул ящик.

— Бри абом.

Я взял альбом с фотографиями.

— Пакет.

Я нашел большой пакет, из него высыпались на стол пожелтевшие прямоугольнички на школьной разлинованной бумаге, я узнал круглый знакомый почерк.

Дядя Женя.

— Сколько ему было?

— Девнацать. — Я понял, девятнадцать. — Он за папу шол. Бронь бла.

Понятно. У парня была бронь, отца призвали воевать и он снял бронь и пошел на войну. На смерть. И сгинул. У меня вдруг заболела голова. До сих пор война меня не касалась, никаким боком. Разве что, когда одноклассник, летчик, в 84-м погиб в Афганистане... оплакали, простились, забыли. А тут война, которая уже, казалось бы, ничем из нынешнего поколения и никому... оказалась, вот она. Мой дядя погиб. Пропал без вести. И что ему теперь нужно? Почему я не могу спать?

Я нашел те письма, что сам же написал вчера и сегодня. А потом я нашел письмо от 11/XI-41 и меня уже не раздражал красноармейский привет. Я улыбнулся. Женя из ночного кошмара обрел реальность, память. Почему я? Может быть, док Забатар ответит?

***

Увидев меня, психиатр отступил. Притворно закрылся руками, увидев мою озабоченную, но вполне доброжелательную морду.

— Бить не будете?

— Не буду, — я улыбнулся и положил пакет с письмами на стол. — Это мой дядя.

— Женя Ефимов?

— Да, Евгений Иванович Ефимов 22 года рождения, токарь депо Савеловское. В сентябре 1941 призвали на военную службу его отца — машиниста Ивана Алексеевича, так парень снял с себя бронь и ушел вместо отца. В семье оставалось еще 4 младших сестер и брат. Самая младшая — моя мать.

— Что вам удалось узнать о нем еще? Сны продолжаются?

Я покачал головой.

— Нет, сегодня спал спокойно. Ничего не снилось.

Забатар принялся читать письма от Жени.

Я их уже все перечитал. Я до полуночи сидел в интернете, изучая, что происходило в дни, когда Женя писал и отправлял свои письма. А для меня оживал девятнадцатилетний мальчик, которому пришлось уйти на фронт, чтоб в семье остался реальный кормилец — отец.

До февраля 42 года он был в Павшино и Тушино на тактической подготовке. Я понял, что парень попал в резерв ВГК, потому что с 16 октября (дня призыва) он до середины февраля в боях не участвовал. Выходит, и ополчение, и подвиг героев-панфиловцев, и контрнаступление под Истрой 5 декабря все это прошло без его участия.

***

12/II-42 г.

Добрый день или вечер Мама, Папа, Люся, Шура, Игорь, Юленька и дедушка. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю наилучшей жизни, сообщаю что недавно проехал ст Савелово и прибыли на ст Кашино с которой я вам шлю письма. Мама пройдиной путь ехали благополучно. Мама отправились из Москвы 4-II-42г. в 14 30. стоянок не было ни где до самого Димитрова, проехал я Лианозово посмотрел на родную станцию на родные лиса где провел свое детство. Теперь остановить ясно что ездил на город Л. Мама меня папа проводил до последних часов моей отправки передай ему большое спасибо что он до последней минуты заботился обо мне. Мама проехал Лианозово глядя в окно товарного эшелона хотя в последний раз увидать свою родную станцию. Мама ты прости меня за все мои проказы

совершенные в моей жизни. Мам я осознал все сколько нерв и здоровья потратила ты воспитывая нас в трудные минуты жизни. Мама но я иду на битву за тебя, за отца который меня воспитывал и дал мне руки ноги и голову я иду за младших братьев и сестер которых воспитывает отец. Я осознал все только тогда когда попал в армию. Но это все я прожил во сне. Теперь все близится час расплаты с фашистами я буду биться до последнего дыхания. Пока досвидания остаюсь ваш сын разваедчик Женя.

Жду ответа

ППС 261 528 СП взвод пешей разведки.

Напишите Наде письмо и предайте ей привет.

5 февраля он уже пишет из Бологого. Шлет всем привет, все еще не в бою. Говорит, что кормят 2 раза в сутки и ему этого мало. Он извиняется, и говорит, что когда приедут на фронт начнут кормить лучше.

24 февраля он уже в Новой Руссе. Начались бои.

... Мама пока я жив и здоров. Отдыхали в деревне после 2-х суточного боя... немцы крепко держались в деревне, которую мы занимаем. Мама это второе крещение, которое после войны если останусь жив будет памятью. Мама, Саша, ты его знаешь, был ранен и остался на поле боя и больше я его не видел. Мама, что пришлось мне пережить в эти дни я этого не представлял себе. Когда мы только приехали на ст Черный Дор то шли пешком 100 км которые шли 3-е суток. И ни чем не были обеспечены. То что было у меня баранок хлеба в течение суток я съел а потом был нисчем. Мама напиши как живете вы как Надя пишет ли она письма или нет? Пока досвидания остаюсь Женя.

Следом он пишет письмо сестре Надежде, которая уехала со своим КБ в эвакуацию в Свердловск. Он описывает тот же 2-х суточный бой, но добавляет: *...мы заняли населенный пункт XXXXX в Ленинградской области (?) ... фашисты оступая сжигают деревни уводя весь скот так что разоряю наших мирных жителей* (этой фразы я не понял, может быть, разоряют?) ...

И последнее письмо.

4/III-42г.

Добрый день Мамочка, Папочка, Люся, Шура, Игорь, Юленька и дедушка. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю наилучшей жизни. Сообщаю что пока еще жив и здоров, прошел еще несколько боев через которые пришлось многим моим друзьям лечь в землю. Мама живу я пока в лесу, делаем шалаши из елок и разводим костер. Сейчас пишу из шалаша, в котором живу уже 3-е суток. Фронт находится в 1.5 километрах так что мины разрываются рядом свистят пули так что смерть получить очень просто. Мама я не знаю останусь ли я жив после последнего боя который будет в ближайшее время. Мама если меня не будет то тебе напишет письмо Саша Левков я ему оставил адрес а он лежит в госпитале он знает обо всем что творится на фронте. Мама я получил от Нади 8 писем в один раз так был рад что сестра еще помнит своего брата. Пока досвидания остаюсь ваш сын, Л. (этого я не понял).

Головоломка сложилась. Остались три вопроса: как дядя Женя пролез в мою голову? И второе — как мне отдать ему долг? И в чем этот долг состоит? Что ему нужно? Ведь не есть же он хочет? Молебен заказать? Денег нищим дать или нет, ветеранам? Что?!

Забатар положил последнее письмо.

— Вы знаете, я ведь тоже не сидел, сложа руки. Вы понимаете, чего хочет ваш дядя?

— Чего может хотеть мертвый? Чтоб помнили?

— Ну и этого тоже, но мне кажется, чего-то еще. Я не вижу похоронки.

— А ее нет, — сказал я. — Он без вести пропал.

— А вот это серьезно. Вы видите — он разведчик. Я так думаю, его послали в тыл к немцам или через линию фронта и он не вернулся.

— Значит, погиб.

— Вот и не так, — психиатр достал сигарету, — вы не против? — Я махнул рукой.

— Курите.

— Так вот, пропасть без вести не лучше, чем попасть в плен. В общем, это одно и то же. Даже если он потом погиб, на нем остается пятно предателя. Нужно доказательство его честной смерти. А что означает честь, честное имя для мальчка в 42 году. Тогда все было не так как сейчас. Вы представляете, его совесть все эти годы не успокоится. Вы верите в жизнь после смерти? Жизнь разума, если хотите — души?

— Я уже не знаю, что и думать. Во что верить? — Я действительно пребывал в смятении. Для меня дядя Женя стал тем недостающим звеном, что прорастило в сердце осознание прошедшей шестьдесят лет назад войны. — Что я могу сделать для него? Найти могилу? Нанять экстрасенсов? Следопытов? Перекопать все леса в Ленинградской и Новгородской областях? Как мне вернуть долг?

Забатар положил передо мной бумажку.

— Вам не нужны экстрасенсы, вы сами имеете контакт с вашим дядей. Здесь институт мозга в Пущино, позвоните этому человеку, он как раз занимается подобными случаями.

— И что?

— Мне кажется, у вас может быть шанс самому выяснить все. Ведь одно дело тревожить дух усопших, совсем другое — отозваться на зов с той стороны. Вы ничем не рискуете. Поезжайте.

— Это дорого?

— Не надо говорить о деньгах. Если спросят — заплатите, а пока не сказали — помалкивайте.

***

На моей голове массивный шлем как корона с проводами, наушники, наверное, времен войны, а перед губами древняя как телефон Белла — микрофонная гарнитура. Лаборант трещит переключателями, что-то гудит, шипит и поскрипывает. Рядом неуловимо схожий с Забатаром специалист по мозгу — Левин Михаил Моисеевич. Мятые халаты относительно белого или серого цвета, запах канифоли и немного медикаментов.

Спец по мозгу остановился перед креслом, протянул мне бумаги. Договор о добровольном участии в эксперименте. В пункте 6 зацепила внимание фраза: «Доброволец предупрежден о возможных осложнениях, которые могут возникнуть в ходе эксперимента».

— Подпишите, пожалуйста. — Я чирканул подпись. Ученый продолжил: — вы слыхали что-нибудь о сомнологии?

— Впервые слышу это слово.

— Это наука о сне. Фрейд разделил сны и сновидения. Во всяком случае, в них нет ничего мистического. Однако есть теория, пока не доказанная, что

наше сознание — часть общего сознания человечества — сохраняется и после смерти. Академик Вейн в семидесятые годы создал большую лабораторию, мы тут тоже немножко занимались сном. Особенно нас интересуют случаи, когда людям снятся их умершие родственники. Очень хочется, подтвердить теорию. Или как-то объяснить. Ваш случай довольно редкий, увидеть во сне родственника, о существовании которого вы даже не подозревали. И когда коллега Забатар сообщил мне о ваших ярких сновидениях, я предложил попытаться вам помочь. Вы определились, что вы хотите?

— Я хочу знать, что он хочет?

— Кто? — мозгоправ Левин удивился.

— Женя — мой дядя. Погибший на войне. Я ведь вижу во сне все его глазами. И все так реально, что будто бы не сон, а реальность.

— А что может хотеть умерший? — повторил ученый мой же вопрос. — Я материалист. Все что вы видите, порождено вашим мозгом, вероятно, инициировано какими-то флюктуациями в ЕЭИП. Но как вы понимаете, все это только гипотеза. Вы понимаете?

Я кивнул. Со шлемом на голове это было нелегко.

— Я в 1993 году не стал защищать кандидатскую по теме «Флюктуации свободных электронов в кристаллической решетке…» в общем, я физик-твердотельщик. Это сейчас я — коммерсант. Превратности судьбы. Так что, можете объяснять, я многое понимаю.

Михаил Моисеевич удовлетворенно улыбнулся.

— Это сильно упрощает задачу. Я могу лишь сделать так, чтоб вы пообщались со своим же отражением — Женей. Поймите, это не ваш дядя. Это вы, воплощенный в его памяти. А точнее остатки его памяти, почему-то сохранившиеся в информационном поле планеты, нашли именно вас. А вот как она к вам попала, как вообще происходит выбор — я не могу объяснить, пока не могу. Пока не доказана теория поля единого сознания. Это уже удел трансцендентности. Впрочем, мы попробуем зацепить этот элемент вашей психики.

— То есть я увижу его?

— Не его, а его глазами все окружающее. Поймете, что с ним случилось? Вы нам расскажете, что и как увидите. Я не могу описать, как это будет. Сейчас я вам сделаю укол, вы будете часто и глубоко дышать, закружится голова, но вы не перестанете дышать, а потом... потом вы уже будете там. Вернетесь — расскажете. Готовы?

Я кивнул.

— Да. Я готов, даже если не вернусь.

Часть II.

— Андрюш, проснись!

Отец потряс меня за плечо. Я — сова. До трех ночи писал диплом. Это громко сказано — писал. Пока сочинял ядро — главную тему. Рука у отца жесткая, будто пассатижами защемил плечо. Я попытался выдернуться. Пустое дело. — Проснись, тебе письмо!

Я приоткрыл глаза. Под левой мышкой у отца зажаты Красная звезда, Правда, Известия, а в руке обычный конвертик.

— Чево за письмо? — я тупил.

— От Анны Савельевой из деревни Мамоновщина. Кстати, кто это?

Я затупил еще сильнее. А кто это? Че за деревня такая?

— Па, а кто это? — я протер глаза кулаками.

Отец пожал плечами.

— Я думал — ты знаешь. Письмо — тебе. Видишь, написано: "Александрову Андрею Викторовичу". И адрес наш.

Я окончательно проснулся. Это еще что за незнакомые селяне? — Хочешь, я прочту?

— Нет уж! — не хватало еще, чтоб там было что-то вроде: "помнишь стройотряд?" Сколько их тогда было Ань, Люб, Кать... Отцу не обязательно знать о моих приключениях. Я вскрыл конверт и выдернул письмо. Отец продолжал стоять рядом. — Па, спасибо, я прочитаю.

— Ну, мне же интересно! — я аж поперхнулся от такого нахальства.

Че тебе интересно? Письмо-то — мне!

Отец кивнул, сделал понимающие глаза, но с места не сдвинулся.

— Читай свои газеты! — я нарочно не разворачивал тетрадный листик.

— Не груби отцу! — сказала мама из кухни, — завтракать иди, все остыло!

Я ждал, зажав листок в руке. Отец сел в кресло в моей комнате и демонстративно развернул "Красную звезду". Я расправил листок и уставился в несколько строчек:

"Здравствуйте Андрей Викторович. Пишет вам ветеран войны Савельева Анна Николаевна. Сообщаю Вам, что ваш родственник Ефимов Евгений погиб в марте 1942 года и похоронен не в братской могиле у д. Мамоновщина, как значится в архиве военкомата г. Демянска. Я покажу вам могилу, когда вы приедете. Приглашаю в любые выходные. 12 марта будет пятьдесят лет со дня его казни. Проезд поездом до г. Осташков оттуда между городним автобусом на Демянск, сойдете у поворота на д. Мамоновщина, а там 2 км пешком. Савельева А.Н. 1/III-91 г."

Я перечитал десять строчек. Первый вопрос: кто это Женя Ефимов? Вопрос второй: При чем тут я?

"ДОБАВЬТЕ ПОПЕРЕЧНУЮ ИМПУЛЬСАЦИЮ НА ТАЛАМИЧЕСКУЮ ЗОНУ!"

— Мам! — отец всегда так обращается к моей маме, — Какая-то женщина написала, что знает, где могила Жени!

Мама появилась в дверях.

— А мне сказали, — она вытирала руки передником, — письмо из Демянского военкомата, что он захоронен в деревне Мамонтовка или как-то.

— Мамоновщина, — прочитал я адрес с конверта. — Так вот, некто Анна Савельева пишет почему-то мне, что знает, где похоронен Евгений Ефимов, но это не могила в Мамоновщине.

— А почему — тебе? — мама взяла конверт и письмо. Я пожал плечами, а отец смотрел на нас поверх газеты "Правда". Мама прочитала письмо и поглядела на папу. — Отец, надо ехать.

— Может, подождем, пока подсохнет? Все-таки март на дворе. Там наверняка такая каша под колесами будет. Уверен, что за полвека дороги лучше не стали.

Я оживился. Про брата мамы Женю, который погиб, а точнее — пропал на войне, я ничего не знал. И вот определилось, что он казнен, погиб в 42 году где-то в новгородских лесах в краю Селигерских озер.

— Па, на Ниве пройдем. Давайте в эту субботу махнем? — Отец поглядел на маму, та пожала плечами.

— Езжайте, ты ж знаешь, у меня черная суббота. И поменяться не с кем.

— Не хочешь навестить могилу брата? — отец не упускал возможности подцепить мамулю.

— Хочу! Но не могу вот так... — мама всплеснула руками, — Очень хочу, но вот вы съездите, все разузнаете, а я с вами уже на 9 мая и съезжу, поклонюсь Женечке, цветочков отвезу.

Я молчал. Не выспался, письмо — черт знает, откуда, сижу в трусах и разговор какой-то непонятный. Будто сон не кончился, а перешел в какую-то полуреальность. Вот сейчас я рванусь, открою глаза и окажется, что спал. А мне все это приснилось.

"ОСЛАБЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ, ПУСКАЙ РАСТОРМОЗИТСЯ!"

Наша Нива катится на север по заснеженной дороге в объезд Осташкова. Я за рулем, отец — рядом, прикрыл глаза и только, когда на слишком уж жестких ухабах стукается головой о стойку и приоткрывает левый глаз.

— Не устал? — я покачал головой. — Может, поведу? Давай, я на грунтовке возьмусь?

— Ладно, за Селищем поменяемся.

Опять ощущение, что все происходит во сне, ирреальность, будто я сразу в двух местах. Только никак не пойму где еще. Дежа вю, я тут был? Нет, точно не бывал.

Боже мой... Дрын-дрын-дрын... стиральная доска. Рвеницы! Гнутище! Я откуда-то знаю эти места. Жестяная табличка с указателем — стрелкой: -> Мамоновщина 2 км. Вон она!

Надо быть полным кретином, чтобы поехать сюда в марте. Полный привод, пониженная передача и отключенный дифференциал. «Нива» прорвется. Уже полдень. После полудня. Дети в школу? Нет, уроки закончились. Мы с ревом и хряпом, плюясь глиной из-под колес, вползаем в деревню. Краем колеи идут школьницы. Я подбираюсь к ним. Девчонки посторонились, чтоб глинистая вода со снегом не захлестнула резиновые сапоги. Одна поворачивается ко мне.

— Аня! — Это она! Глаза, губы... нет, та была бледная и слезы, а тут румянец во всю щеку, кровь с молоком.

"ДЕРЖИ ЧАСТОТУ! ОН СРЫВАЕТСЯ! НЕ ДАВАЙ ЕМУ УЙТИ ЗА ГРАНЬ"

— Вы меня знаете? — девчонки замерли. Одна удивлено приоткрыла ротик. Я опустил стекло, хотел открыть дверь, но понял, что вылезать придется в гигантскую лужу.

— Ты похожа... — я запнулся.

— Говорят, я похожа на бабушку. — Девушка Аня говорила без смущения, кокетства. Но девчонки — подружки хихикнули. Я вспомнил, что мне двадцать один, и могу быть вполне в их вкусе.

— Да, именно, я ищу твою бабушку. Она мне письмо прислала.

— Вы — Александров? Андрей? — осведомленность девушки удивила. Отец помалкивал, улыбаясь, предоставил мне отдуваться. А девушка почему-то покраснела и закрыла рот рукой.

— Да. А что удивительного?

Она нервно хихикнула. Подружки зашипели чего-то.

— Мы думали — вы старый. Бабушка говорила... — она поправилась, — говорит. То есть, когда рассказывала про солдата Женю.

Мне стало неудобно разговаривать через окошко.

— Может быть, поговорим в доме? Пригласишь?

Девчонки подхватились. "Ой! Конечно! Пойдемте, мы покажем!". Они поскакали через лужи, а мы на малой передаче, рыча и плюясь грязью, поползли следом.

Большая изба — пятистенок. Двор, забор, сарай, кобелек хриплым лаем встретил нас. Аня погладила его. Заскулил, хвост как пропеллер. Косится на нас. Буркнул что-то.

— Да вы проходите в дом, — сказала Аня, прицепляя песика. — Он добрый, лает для виду. Бабушка скоро придет. Она утром поехала в Печище к тете. — Аня проворно накрывала на стол. А мы с отцом осматривали комнату. Скромное жилище. Если в сенях попахивало мышами, то здесь скорее травами и немножко пылью. Неуловимый запах пожилого человека. На стенах пожелтевшие фотографии, лампочка на витом шнуре под оранжевым абажуром с бахромой, белые х/б занавески с красными петухами — ручная вышивка. Все просто, не богато. Но от этой простоты защемило в сердце.

— Тетя Маруся старая, так бабушка к ней ездит — прибраться помочь, приготовить, да и просто поговорить. Зовет к себе, а баба Маруся не хочет, говорит, там родилась, войну пережила и помру там. — Аня отошла от стола и как-то странно сделала руками, вроде как пригласила к столу и поклонилась. Любопытный жест. Я его понял, как "милости просим!".

— А что она про солдата Женю рассказывала? — спросил отец, присев к столу. Аня наливала ему чай в фарфоровую чашку.

— Вам покрепче? — отец кивнул, — Да не много, она как начинает рассказывать — всегда плачет. Жалко ее. — Аня вдруг оживилась, побежала куда-то за занавеску и вернулась с красной коробочкой. — Вот! Это ее.

В коробочке лежал орден боевого красного знамени.

— Она воевала?

— Партизанила. Тут было много партизан. А этот орден ей дали в пятнадцать лет, она целую армию наших солдат через болота провела, и они немцам прямо в зад ударили! А потом еще она тоже водила, из окружения, но уже поменьше. Ей этот орден после войны дали. — Под орденом оказалась желтая вырезка из газеты: "Награда юной партизанке". Аня возбужденно рассказывала: — а про бабушку хотели рассказ писать — из серии "Пионеры-герои", даже писатель приезжал, расспрашивал. Баба Аня ему много рассказывала. И про вашего Женю. — Аня пожала плечиками. — Может быть вам молока налить? Парное! У моей мамы корова, так молоко утрешнее, хотите?

— А дедушка где-же? — перевел тему отец.

— Ой! — Аня по-бабьи махнула рукой, — сбег он. На целину. Я его и не помню. Только фотокарточки видела. Баба Аня говорила, что поехал лучшей жизни искать и пропал.

— В пятьдесят седьмом, — негромко сказал отец. — Немудрено, что ты его не помнишь.

Я произвел в голове несложные расчеты. В 42-м — 43-м бабе Ане — 15 лет, в 57м — 29, взрослая женщина, и сейчас ей не так уж много, около семидесяти. Ездит тетке помогать.

— Да вы ешьте-пейте. — Я взял краюху, зачерпнул из масленки янтарного масла. — Это наше масло, не магазинное.

— А ты в каком классе? — спросил я.

— В девятом! У нас — десятилетка. Большая деревня. — Аня вдруг покраснела. Чего-то застыдилась. — Я в техникум буду поступать, — сказала вдруг, — в Твери.

Я невольно улыбнулся. Тщательно скрываемый комплекс девочки все-таки прорвался. А отец опять решил сменить тему.

— Так что же бабушка про Женю рассказывала?

Аня отнесла орден и присела к столу.

— Я без подробностей расскажу, ладно? А то... — она как-то нервно сглотнула.

— Расскажи, как можешь. — Я жевал бутерброд с маслом и запивал крепким чаем из большой кружки с отбитой ручкой. На дне никак не мог раствориться кусок рафинада.

— Бабушке было тогда как мне — пятнадцать. Это весной сорок второго, она тоже была в Печище — у тети Маруси. Немцы их сгоняли на работу. Укрепления строили, землянки. Солдат наших много там погибло. Немцы были злые очень. Если раненого находили или разведчика — сразу стреляли. А один раненый во двор заполз, так всех повесили, кто в доме жил и взрослых и детей. Я представить себе такого не могу. — Аня рассказывала как-то спокойно.

— И не надо представлять, — хрипло сказал отец. У меня тоже горло перехватило. — Фашисты — они и есть — фашисты. Звери. Ты — про Женю...

— Ну вот. Женя ваш, он разведчик, их там схватили троих, а одного отпустили. Женя говорил — он выдал их. Привел прямо в засаду. Так предателя того — расстрелял командир. Бабушка точно знает. — Я улыбнулся. Снова накатило ощущение раздвоения, да этот солдатик мне не нравился. Все время шептал нервно...

"ДИСПЕРСИЯ! СТАБИЛИЗИРУЙ КАНАЛ! СРЫВАЕТСЯ ПО СРЕДНИМ ЧАСТОТАМ!"

— Значит, их предали?

— Да. Бабушка говорит, что их пытали, а потом Женю вывели и кинули у сарая. А пока с другим занимались, она хотела ему помочь, руки развязать. А там проволокой было так скручено. Женя ей говорил. Бабушка, говорит — бредил. Так все несвязно. Шептал.

— Она запомнила?

— Ну да. Вот адрес ваш шептал. Бабушка наизусть запомнила "Москва, улица Кунцевская дом 1 квартира двадцать три. Александрову Андрею Викторовичу." Только он почему-то сказал ей написать письмо в девяносто первом году. Наверное, умом тронулся.

— Как видишь — нет. В своем уме был. — Сказал отец хмуро. — Откуда он только узнал? Мы эту квартиру в 86-м получили. Ты что-нибудь понимаешь? — Я пожал плечами и покачал головой. — Мистика!

— Вот и бабушка не верила. Она три раза посылала письма и три раза они возвращались — адресат не значится. А вот сейчас вы приехали. Значит, все правильно?

— А что он еще шептал? Что бабушка рассказывала?

— Ой! Что шептал — не знаю, бабушка больше ничего не говорила. Сказала, что ей в НКВД велели молчать. А вот потом их повесили. Бабушка поглядела, куда их немцы закопали, и они с теткой ночью перенесли к ней в огород и там захоронили. Вот.

— Значит, его могила в Печище?

— Ну да. Только она не оформлена как могила. Бабушка сказала, если не найдет вас, перезахоронит уж. А вы вот — нашлись!

Во дворе загромыхало, ухнуло. Истошно-радостно залаял пес. Застонал в рыданиях, торопясь рассказать все новости на собачьем языке.

— А вот и бабушка! — Аня сорвалась и выскочила в сени. — А у нас гости! — весело объявила она. — Из Москвы!

"ДЕРЖИ КАНАЛ! СРЫВАЕТСЯ!"

Еще совсем не старая женщина вошла в комнату, всунула ноги в обрезанные валенки с подшитыми кожей задниками. Присела на лавку у самой двери, и устало поглядела на нас.

— Машина у ворот. Номера из Москвы. Все, значит — правильно? Ну — здравствуйте, гости дорогие. И кто из вас Александров Андрей? — она поглядела на отца. — Вы? Больно молоды. Он говорил — товарищ его.

— Александровы мы оба, — сказал отец. — Я — Виктор, а он мой сын — Андрей.

Женщина дернула рукой, словно сомневаясь, но довела крестное знамение.

— Вот как, стало быть? Чудны дела Твои, Господи! Я уж не знаю, что и подумать. — Она вдруг вспомнила про жадно глядящую на нее внучку. — Чего уставилась, егоза! Уроки марш делать! Накормила гостей? — Аня истово кивнула. — Молодец! Вот что еще… вот тебе пятерик — сбегай-ка в сельмаг, возьми бутылочку.

Девочка схватила деньги и пулей вылетела за дверь.

— А ей дадут?

— Расскажет, что у меня за гости — дадут, да вы располагайтесь. Разговор долгий.

— Мы за рулем, — сказал я. — Нам еще ехать домой.

— Завтра поедете, — сказала женщина так, что спорить с ней, мы поняли — бессмысленно. — Вот что, дорогие мои. Не знаю уж чему верить, но коль вы — тут, значит, он не бредил. Много чего говорил. Но главное — вот что: "Надежде — сестре отправил последнее письмо. Скажи Андрею, чтобы забрал. Там про него. Восьмого марта отправил. Выходной". Я тогда не поняла его. Выходным то восьмое марта стало уж после войны. А это он, значит, чтоб вы поверили, что правду говорит. Откровение ему было перед смертью. Я так понимаю теперь. А тогда что ж? Вот вы понимаете: "Трехпалый Борис развалит союз"? Что это значит?

Я пожал плечами. Отец помрачнел.

— Так и сказал?

— Да. Трехпалый Борис. Это кто? Вы понимаете?

Отец промолчал.

Прилетела Анюта, за пазухой поллитровочка — бескозырка — «белая головка».

— Валька не хотела давать, говорит: «соплями не вышла». А я ей рассказала, что люди у нас из Москвы... так она сразу и дала. Сказала, что обязательно придет. Только магазин закроет.

— Ну вот, гости дорогие, кто ж вас теперь отпустит? — Женщина улыбнулась. Вся деревня придет.

— Зачем? — не понял я.

— Все правильно, — сказал отец. — Мы остаемся. На могилу завтра поедем.

Кажется, они с Анной отлично поняли друг друга.

"РЕЗОНАНС НА АЛКОГОЛЬ! НИВЕЛИРУЙТЕ, ЕЩЕ! РЕЗОНАНСА НАМ НЕ ХВАТАЛО!"

Анна Савельева правду сказала. Народу набилось — человек двадцать или тридцать. Кто не мог сидеть — стоял. Рассказывали о войне, плакали, пили не чокаясь, принесли еще... я отключился после третьего стакана фронтовых 100 граммов. Запомнил только две граненых стопочки накрытых черными горбушками и две свечечки желтеньких вставленных в плошку с перловой кашей. Свечки, треща, горели, воск стекал в кашу. Потом пели, протяжно, грустно...

Давно я не был у тети Нади. Сестра моей мамы, сестра дяди Жени. Ей он написал последнее письмо. Только я был уверен, что последнее письмо он писал 4 марта, а не восьмого.

Разговор с теткой Надей получился сложный. Упреки, что все племянники ее забыли. Что родная сестра знать не хочет. Под такой соус говорить, что приехал за письмом, значит нарваться на фигулю. Поэтому, я выбрал тактику примирения и рассказал, что мы нашли могилу дяди Жени. Эта новость тетю Надю пробудила от обид. Она заинтересовалась. Потом ударилась в воспоминания. С ее слов выходило, что Женя пошел добровольцем вместо отца — деда моего Ивана Алексеевича.

Я осторожно подвел тетку к последнему письму.

— Тетя Надя, вот какая ерунда выходит, у мамы хранятся его письма, так последнее от четвертого марта сорок второго, а Анна Савельева говорит, будто Женя ей сказал, что последнее отправил вам восьмого. Вы его получили?

Наступила долгая пауза. Тетка вышла на кухню, вернулась с беломором и пепельницей. Курила молча, потом сказала.

— Глупость какая-то. Я тогда подумала, что он заболел. Умом повредился от войны и страха. Как это цензура пропустила?

— А что там такого?

Она пожала плечами. На мундштуке беломорины отпечаталась помада. Тетка двумя пальцами правой руки держала папиросу. Едучий дым щипал глаза.

— Я не знаю. Я вообще думаю, что писал не он и не мне. Но сохранила этот бред.

— Я могу взглянуть? — Я внутренне напрягся. — Анна Савельева уверена, что перед казнью на дядю Женю сошло Откровение, и он много чего непонятного наговорил.

Она замяла Беломор в пепельнице, поднялась и вышла в спальню. Вернулась, держа в руке желтый листок. И снова у меня пошло двоение в глазах, будто через стекла смотрю.

— Я сама не знаю, почему тогда же не сожгла его. Может быть, хотела, да забыла, а потом когда стало ясно, что он пропал без вести… решила сберечь. Все-таки, это его последнее письмо.

"ДИСПЕРСИЯ! СВЕДИТЕ КАНАЛЫ! УБИРАЙТЕ ВТОРУЮ ВОЛНУ"

Пламенный красноармейский привет!

Здравствуй, дорогая моя сестра Наденька! Не удивляйся, что рука не моя. Я чистил тут оружие и немного порезался. А завтра, наверное, пойдем в бой. Так что письмо пишет мой боевой товарищ Александров Андрей. Ты не волнуйся, воевать эта пустяшная рана мне не помешает. Ель тут надо мной огромная, знаешь Цинандали вспомнил, как пили, а ты помнишь? Серега — Предатель, напился и Развалился под ногами учителя, да как захрапит на Всю страну! Когда вернешься в Москву, тебя найдет Андрей Александров, расскажет, где я, да как... Передавай привет Боре Березе, Толику Чубику — зазнайке, как вспомню его огненную шевелюру смех разбирает. Все, тут не айс, но мы держимся, немцев бьем, их обязательно нужно всех убить, но если этого не сделать, нас расстреляют из танков. В октябре у тебя день рождения? Могу не успеть.

Да, чуть не забыл, они осенью собираются у Толика на Пятницкой, там их всех сразу можно найти. Андрюху Козыря и Гусь будет, и Лис. Обнимаю, тетка (зачеркнуто), прости, сестренка! Надеюсь свидемся, если вернусь — забиру.

Наденька, сбереги это письмо, если я не вернусь. Наследникам отдашь. Твой верный брат — Женя-туннельный диод.

8/III-42г.

Меня прошиб холодный пот, когда дочитал до конца. Тоннельный диод — это мое студенческое прозвище, за худобу и тему диссертации.

Почерк — мой. Это я писал. Я... с ума сойти!

"РЕЗОНАНС! ДАВАЙТЕ ВЫВОДИТЬ! На СЧЕТ ТРИ..."

Я открыл глаза. Теплый ветерок из кондиционера ласкал волосы и взмокшее лицо. Кто-то осторожно снял с головы шлем. Увесистая штука, похожие на золотистые дреды — короткие толстые витые антенны. Полумрак.

— Андрей Викторович! Вы в порядке? — ассистент Юра по прозвищу Юро-Кей — в своем репертуаре. Заразная это штука — американские боевики. Я никак не отойду от ощущения, что нахожусь в другом месте. Должен находиться. И оборудование кругом слишком уж современное. Ощущение, что садился в более старое кресло и шлем был с толстым шлейфом проводов. Впрочем, ощущение, похожее на дежа вю. Будто после очень яркого сна.

— Юр, а чего-то я периодически слышал какие-то команды — фразы?

— Какие фразы, Андрей Викторович?

— Дисперсия! Резонанс! Сдвиньте частоту! Ты с кем тут?

Юра вытаращился на меня.

— Андрей Викторович! Я тут один и я молчал. Да и чего говорить, вы ж сами настраивали блок ФАПЧ, чего мне вмешиваться? Вот все записано, протокол в отдельном файле. Время эксперимента — час двадцать три минуты. Все параметры в норме, давление, пульс, КГР, дыхание. Было пару раз отклонение — то сердечко зачастит, то дыхание. А в целом все о-кей. Так вы в порядке?

— Абсолютно. Видно, крепко я поспал. Значит, мне приснилось.

— А что снилось?

— Да так, сумбур всякий. То война, то мирное время. Отца видел во сне, маму. Дядьку — на войне погибшего.

— На какой войне? Афганской?

— На Великой Отечественной.

— Ого!!! — Юра болтал, но дела делал. Сложил распечатку протокола, прошил степлером. — Ну, и как там?

— Страшно. И жестоко. — Я открыл холодильник и достал бутылочку газировки. — Юр, ты иди, я еще посижу. Нужно подумать, все обмозговать. Отчет опять же написать. Вот что, Юр… ты, пока не ушел, поройся-ка в сети, найди мне там двух человек, любые сведения. — Юра сделал стойку. — Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев.

— А кто это?

— Если б я знал, наверное, не просил бы поискать материалы. Все, что в открытом доступе.

— Хорошо, Андрей Викторович. Это срочно?

— Ну, вот сделаешь и дуй домой. — Юра ушел к себе.

Сон, вызванный экспериментом — необычайно яркий, сочный, смесь реальных воспоминаний и ощущения ирреальности — сна во сне. Чья-то чужая и в тоже время моя биография. Я — не я. И рубеж — осень девяносто третьего. Да это год, когда я остался без отца. Год трагический, тяжелый, но там — в той жизни из моего сна это год фатального перелома в жизни, когда я не мог найти работу, когда мы остались без денег, и пришлось бросить аспирантуру, а начались шоп-туры, челночество, рынки и контейнеры, крыши

и откаты. Деньги, деньги, я ни о чем не мог думать кроме денег. Я просыпался с мыслями о деньгах, что заработаю за день и засыпал с мыслями, что чего-то кому-то должен. Это страшно. Ни на мгновение не расслабиться. Не отвлечься. Да, я неплохо раскрутился. Но я жил без друзей, потому что бизнес не терпит доверия, а дружить и не доверять нельзя. Знакомые, приятели, собутыльники, дистанция и мера доверия. Выплыла из памяти сценка из комедии Гайдая — Деловые люди: Акула Додсон — и фраза "Боливар не выдержит двоих!". Да. Бизнес, настоящий бизнес — это всегда удел одиночек, умеющих сколотить под собой команду, систему...

Я открыл глаза и выдохнул. Ощущение будто я вывалялся в помойной яме. Господи, неужели, действительно есть реальность, где люди ни о чем не могут больше думать? Где все на свете решают только деньги?

Да, в марте мы с отцом ездили в деревню, и нашли могилу дяди Жени. Да, тетка отдала мне странное последнее письмо, и я ломал над ним голову, а потом отец забрал листочек и оно забылось, как забываются странные события, ответа на которые найти не можешь. А дел накапливается столько, что думать о всякой несущественной информации уже некогда. Был только один разговор с отцом: "Почему письмо подписано тобой?" — спросил он. Мне нечего было сказать. Да и что можно было объяснить? Совпадение? Я пошутил: "Послание из будущего? Почему так сложно?". Отец задумался. Бывший военный летчик, штурмовик, полковник авиации, после ранения ушедший в отставку. Во время ГКЧП в августе девяносто первого он был в Белом доме, а у меня начиналась дипломная практика на одном из заводов БИСов в Зеленограде, и когда я рванулся на площадь Восстания с ним, он жестко сказал: "Хватит меня одного в этой мышеловке, занимайся дипломом!" С того времени он все время был рядом с Руцким. До самой смерти.

Состояние двойного сознания сохранялось. Танки в ряд на мосту перед белым домом. Этого не было! Не было! Верховный совет принял решение об отставке президента Ельцина и передаче власти на остаток срока вице-президенту. Александр Владимирович доработал срок, потом еще четыре года и передал правление новому президенту Глазьеву, а я в то время уже получил лабораторию в НИИ микроэлектронники. Сказывалось знакомство и покровительство Руцкого. Он нас не забывал. Я кстати, так и не узнал, как погиб отец. Александр Владимирович пригласил меня через месяц после похорон и вручил орден, которым наградили посмертно "За заслуги перед отечеством 1 степени". А когда я спросил, за какие, он грустно улыбнулся в усы и сказал: "Это секрет".

Все... все. Не хочу я знать чужих воспоминаний. Не реальность, а какой-то апокалипсис. Словно последний укол — черный вторник августа девяносто восьмого! "Больше трех машин в одни руки не отпускаем!". Смешно.

Мама парализована! Я потряс головой. Нет... я только утром с ней говорил. Старенькая она, конечно, но сохранная. Жена и дочки за ней присматривают. Приходилось сделать огромное усилие, чтобы придавить это ощущение двойственности. Путин — премьер, Медведев — президент России. Кто эти люди? Откуда они вдруг взялись?

Стойкая цепочка альтернативой истории, которую я вынес из погружения в собственное сознание. Моя лаборатория занимается созданием систем связи, и новейшие разработки это трансцендентное поле. Мы взяли термин психологов, хотя ничего такого запредельного делать не планировали. Всего-то и нужно — мысли оформить в символы и образы — обработать и передать по мобильной сети в аналогичный прибор, который выведет все на обычный дисплей. Сегодняшний эксперимент должен был показать образы моего сознания. А самые яркие образы получаются во сне. В качестве

инициации сна взяли стандартную аппаратуру для наркоза — электросон, а потом просто стабилизировали порядок образов с помощью блока фазовой автоподстройки частоты.

Я вспомнил письмо из моего сна, последнее письмо Жени Ефимова — там упоминались Березовский, Чубайс, Козырев, Гусинский, Лисовский, но все знают, что они погибли в результате страшной катастрофы в октябре 1993, когда в дом, где они проводили ночное заседание, врезался бензовоз. Сгорели даже кирпичи. Опознать не удалось никого. Официальная версия — пьяный водитель заснул за рулем. Несчастный случай. Я пожал плечами. Вот уж бред, будто они подтолкнули первого президента пойти на преступление против своей страны. Одно он совершил — подписал беловежское соглашение, когда распался СССР, народ этого ему не простил. Всей власти хватило на три года. Что-то было об этом во сне... что? Забыл.

Вошел Юра.

— Андрей Викторович. По Путину — почти ничего. Был проректором в СПГУ, потом исчез. Откуда взялся и куда делся — непонятно. Если только это именно тот, о ком вы спрашиваете. А вот Дмитрий Медведев — декан экономического факультета СПГУ, пишут, что станет проректором или даже ректором. Активный блоггер в Твиттере. Пишет обо всем как из пулемета, от сколько раз в день ест, до случки его кота Дорофея с какой-то Муськой Кастанеда из Испании. Редкая порода. Я еще нужен?

Я покачал головой.

— Иди.

Рабочий день окончен... я смотрел на экран монитора, там автоматически рисуется график частотных зависимостей. Сдвинь я чуть-чуть диапазон навязанных импульсов, и, может быть, не было б этого сна... глупость какая-то снится. Завтра нужно поработать на других частотах.

***

Ефимов Евгений Иванович погиб 12 марта 1942 года в деревне Печище Маревского района Новгородской области. Был захвачен во время разведки и казнен фашистами через повешенье. Местными жителями захоронен близ д. Печище как неизвестный солдат вместе с другим разведчиком. В 60-х годах все могилы погибших в боях в этом районе были перезахоронены в братскую могилу близ деревни Мамоновщина.

В рассказе использованы реальные письма солдата. Изменены некоторые имена.

Вечная память погибшим героям Великой отечественной войны.

Редактор:
Е. Жмурко (Германия)

Редакционная коллегия:
Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия), Ирина Жураковская (Украина), Борис Левит–Броун (Италия), Татьяна Щеглова (Россия)

Редакционный совет:
Евгений Витковский (Россия), Ольга Кольцова (Россия), Евгений Кольчужкин (Россия),
Леонид Зорин (Россия), Виктор Каган (Германия), Ян Паул Хинрихс (Нидерланды),
Наталия Крофтс (Австралия)

Художник: Татьяна Давидова (Германия)

Copyright © 2013–2015 Зарубежные Задворки

ZA–ZA Verlag: www.za–za.net
Dusseldorf, май 2015 – 263 стр.
Гарнитура «Verdana»; кегль «11»
Отпечатано в типографиях: LULU, USA и ООО «Книга по требованию», РФ